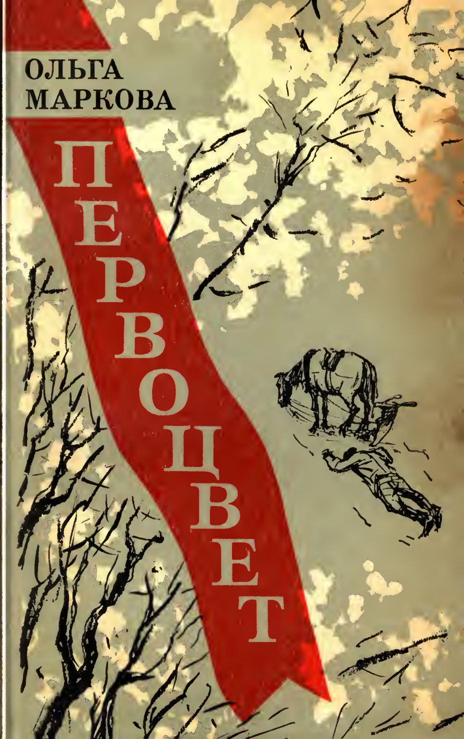


ОЛЬГА
МАРКОВА

ПЕРВОЦВЕТ





ОЛЬГА
МАРКОВА



ПЕРВОЦВЕТ

РОМАН



МОСКВА
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
1977

Р 2
М 26

О. Маркова (1908—1976) — автор многих книг: «Улица сталеваров», «Половодье», «Облако над степью», «Разрешите войти» и других.

В «Первоцвете» — новом романе О. Марковой — рассказана история алтайской сельскохозяйственной коммуны, созданной питерскими рабочими в 1918 году, с согласия и с помощью В. И. Ленина.

Коммуна оказалась в кольце кулацких восстаний, организованных белогвардейскими бандами. Многие коммунисты погибли в борьбе за правое дело. Оставшиеся в живых стали проводниками нового в таежной деревенской глуши.

Художник Н. А. Шеберстов

М $\frac{70302-199}{083(02)-77}$ 101—77

Памяти героев-коммунаров,
основателей первой
российской коммуны,
посвящаю





ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

Поезд огнями прокалывал темноту, часто останавливался в снегах, словно желая набрать сил, тяжело пыхтел, отдувался и снова полз, пробираясь все дальше, через тайгу, в глубь страны.

Печки-буржуйки, докрасна накаленные с вечера, быстро остывали. Двери обносило мохнатым искрящимся куржаком.

Язычок огня в фонаре трепетал при толчках, облизывал стекла, порой исчезал совсем и вновь дрожал, теплился, чуть живой.

По лицам лежавших на нарах людей бегали бледные тени.

Как и в прошлую ночь, Константин Кришанин не спал.

«Теперь уже успокоились,— думал он.— А что было несколько дней назад на обуховской ветке, когда грузились в теплушки! Провожающих-то пришло — яблоку не упасть... А когда состав тронулся и город и огни точно сдернуло, в вагонах плач поднялся: уезжаем из Питера навсегда».

Константин Васильевич поежился. Он все время был неспокоен: казалось, что-то обязательно произойдет, вот сейчас, сию минуту, тревожное и непоправимое... Может отцепиться вагон с лошадьми или с тем добром, что собрали питерцы им на новую жизнь, или кто-нибудь отстанет от поезда.

Тихо, чуть слышно, ныл ребенок Верстаевых.

— Ну пореви, пореви громче,— шепотом умоляла мать.

Сердце Кришанина сжалось: недавно матери кричали на детей, чтоб те замолчали, надоело слушать их рев, а теперь просят, чтоб плакали.

Поезд остановился. Константин Васильевич поднялся, накинул на плечи полушубок, отодвинул дверь и спрыгнул вниз. Темнота была усеяна редкими огнями. Подмерзший к ночи зернистый снег хрустел под сапогами. Константин перебежал к соседней теплушке, взобрался туда, подсел к дежурному, гревшемуся у печурки, начал расспрашивать о настроении людей. И вздохнул с облегчением: все спокойны, событий особых нет, разве только детей долго не могли уложить с вечера спать: есть просили, а пайки на сутки все вышли.

Откинув голову, спит Ян Кланверис, которого все зовут просто Иваном.

Константин уже который раз ловит себя на радостной мысли: большевик Кланверис, слесарь Обуховского завода, едет с ними!

Продолговатое, заросшее лицо коммунара Кланвериса измождено: сказываются царские тюрьмы, голодание последних дней.

Поезд застрял на тесном полустанке. Константин выскочил и перебежал в следующий вагон.

Здесь дежурил председатель коммуны Матвей Сергеевич Пискунов. Рядом сидел, склонившись над книгой, его сын Федор, парень лет девятнадцати.

И отец и сын — кузнецы. У обоих кожа на лицах потрескалась, черные волосы опалены.

«Крепко себя разметили!» — улыбнулся про себя Кришанин.

Матвей Сергеевич время от времени громко кашлял, будто наглотался дыму на всю жизнь.

Черная борода и насупленные брови его всклокочены, цыганские глаза испуганно окинули Кришанина.

— Аль случилось что?

— Ничего не случилось, сиди.

В полумраке Матвей показался Константину Васильевичу мертвецом: впалые щеки, впалые виски, обтянутые сухой кожей.

— Подозреваю я, что ты свой паек сыновьям отдаешь! — упрекнул он.

Федор буркнул:

— Я ему то же говорю... Он все младшим отдает...

Матвей отодвинулся, освобождая место, ворчливо отозвался:

— На Алтае отъемся. Зачем пришел?

— У меня в вагоне печка прогорела, у тебя погреюсь.

Константин присел, поглядел на тлеющие в печке сырые дрова, взял книгу из рук парня. Чернышевский «Что делать?». Он с любопытством взглянул на Федора.

— Все думаю я, Константин, как нас поддержали? Весь Петроград поддержал! — заговорил Матвей.— Всего насобирали, чего надо и чего не надо. Динамо-машину дали — это хорошо. Посуду... Но вот пианино-то зачем нам? Тащим через горы и леса такую телегу. Для чего? — Пианино не давало ему покоя. Он начал заикаться, как всегда при сильном волнении: — Ну, библиотеку, буквари тащим, доски грифельные — это пусть. Балалайки разные — тоже пусть: ребята позабавятся. А пианино — это же сколько пудов!

Пискунов, как и Кришанин, был беспартийный.

Степенный, знающий хорошо деревню (жил когда-то в Орловщине), он и работая на заводе кузнецом с нею не порывал. Знание деревни придавало ему уверенность, в какой многие из коммунаров нуждались.

Кришанин был огорчен: хотелось, чтобы люди всем были довольны; едут, их горячо проводила столица. Хотелось, чтобы каждый коммунар верил: жизнь они построят такую, что питерцы будут ими гордиться.

Он возразил:

— Детей музыке учить будем, Матвей Сергеевич.

Пискунов не любил спорить, заговорил успокоительно:

— Слышно, в Москву правительство перебираться собирается. А жаль. Наш Питер кровью освящен.

— Надо!

— Я думаю, это потому, что немцы Псков взяли... От Питера близко. В Финляндии гражданская война идет.

Вот, наверное, почему в Москву... Там и к губерниям ближе. Вот я как думаю...

Кришанин вздохнул:

— Эх... сколько сейчас трудного и интересного!

Они с гордостью взглянули друг на друга, почувствовав себя участниками больших и ответственных событий.

Кто-то с нар прикрикнул на них:

— Тише вы, спать не даете!

Поезд шел в темноту, предупреждая о себе пронзительным ревом. Слабые отражения окошек вагона бежали по снегу.

Пискунов поднялся, полушубком прикрыл спящую жену.

Неспокойно спит Елизавета: мечется, стонет.

— Верно, снова видит во сне, как Павлушка погиб...— прошептал он.

Кришанин понял, что и сам Пискунов не может успокоиться, не переставая думает о гибели сына. Вот он открыл печку, от дыма часто замигал, снова закашлялся.

Кришанин был свидетелем смерти Павла.

...Контрреволюционный мятеж юнкеров 29 октября. Бой шел у Владимирского училища.

Кришанин попал в бой случайно, только потому, что где-то здесь Вера перевязывала раненых. Отпускать жену одну он не решался в это смутное время.

Рабочие с матросами вели осаду. Звенели стекла.

Среди убитых были женщины, дети. На большом проспекте валялись трупы лошадей. Юнкера с победными криками выбегали из училища, стреляли и, встреченные залпами, отступали.

В полдень, когда они выбросили белый флаг, к ним направили парламентеров. Двадцатилетний Павел Пискунов, парень с гладким девичьим лицом и ясными глазами, привязав на штык белый платок, шел впереди.

И вдруг Павел упал, точно споткнулся. Юнкера открыли огонь.

Кришанин попытался поднять его, но тот был уже мертв.

С тех пор и мечется женщина, боится за оставшихся в живых троих сыновей, за мужа.

— Разве я Павла на смерть растила? Каждый день хлеб ему нарезала... Зря, значит? — все спрашивала она.

Кришанин подозревал, что и в коммуну на Алтай Пис-

куновы поехали, желая спасти сыновей от войны и от голода, бежали от самих себя, от воспоминаний.

А сыновья у них — три красавца. Один читает, воруя время у сна. Двое младших спят безмятежно на нарах. Мать обхватила их длинной костлявой рукой, точно оберегая.

Поезд снова остановился. Кришанину захотелось вернуться к себе, посмотреть на своих детей, на жену, узнать опять-таки, не случилось ли чего.

Вера Степановна разжигала печку. Как только муж сел, зябко поежилась, склонившись к нему, зашептала:

— Проверил?

— Проверил.

— Все в порядке?

— Все в порядке.

— Неугомонь! — упрекнула она.— Изведешься, не доезжая до места. Наверно, о коммуне говорил?

— Говорил. Посиди со мной, Веруся.

Она присела рядом, с улыбкой глядя на мужа.

— Знаешь, какое мы хозяйство построим! — продолжал он, точно стараясь уверить себя.

— Знаю. Нас полторы тысячи человек. Свой театр у нас... школа, все будут учиться! Мастерские...— Вера повторяла его же слова.

Константин, не понимая шутки, слушал с заблестевшими глазами.

— Да-да! У нас же всякие профессии есть!.. Здорово мы подобрали людей! — подхватил он.— Смотри, даже тетя Катя с нами поехала!

Кришанин с нежностью посмотрел на спящую Катерину Важенину.

Катерина Ивановна недавно потеряла мужа. Детей у нее не было. Может, поэтому именно всем детям она почитала себя матерью или бабкой, в дороге развлекала их сказками и бывальщинами. И сейчас, во сне, она обнимала Саню; молоденькую учительницу, белокурую и хрупкую. Короткий нос Катерины с глубоко вырезанными ноздрями громко выдыхал воздух.

В коммуне Катерину назначили экономкой.

— Вчера она сказала нам: «Уж и кормить я вас буду!» — с коротким смешком сообщил Кришанин.— Ее спросили: «А чем кормить-то, тетя Катя?» — «Я, гово-

рит, всю жизнь воду подсаливала, тем и выжила. А теперь, около деревни, и бог подаст».

Вера раздумчиво произнесла:

— Люди хорошие едут. Надежные. Беда только — половина их сельского хозяйства в глаза не видали! Скажи, на каком дереве пшеница растет?

— Оставь, сами научимся и людей научим, Вера! — горячо выкрикнул Константин.

Кто-то простонал во сне.

Кришанин снизил голос до шепота:

— Клубы свои будут, больница!

— Да, больницу построим. И ты первый туда ляжешь.

— Ну что ты, Вера! Я с тобой серьезно...

— И я серьезно. Иди спать. Живо.

Кришанин посмотрел на жену, тронул пальцем на ее виске голубую извилистую жилку, погладил по голове и послушно направился к нарам.

В переполненном вагоне душно. Вера Степановна приоткрыла дверь, жадно вдохнула морозный воздух. Свет мечом скользил по рельсам встречных путей, по шпалам.

— Застудишься,— прошептал с нар Константин, не сводя с жены глаз.

Вера Степановна закрыла дверь: она никогда не проявляла упрямства по пустякам. Все думали, что она мягка и сговорчива.

Кришанин с гордостью отмечал, что жена много успевает: растит сыновей, работает фельдшером, учится, учит.

Когда-то Надежда Константиновна Крупская направила Веру руководить рабочим кружком на Обуховском заводе. Там и состоялось знакомство Веры и Константина.

В Петрограде весна уже смело входила в город, оголились выбитые ногами в боях мостовые, наливались на деревьях почки. Март. А в вагоне холодно. И чем дальше коммунары проникали в Сибирь, тем становилось холоднее.

Скоро Омск.

От Омска до Усть-Каменогорска по Иртышу еще при Петре I были созданы пограничные посты для защиты населения от набегов кочевников. Пять крепостей, заставы и укрепления.

«Все проспим»,— пронеслось в голове Константина.

И он уснул.

Поезд ползет, упруго раскачивается теплушка. Плещется в ведре дымящаяся вода. Визжат колеса. Тем, кто не спал, ночь показалась очень долгой.

2

От резкого толчка потух фонарь. Поезд снова остановился. Вдоль состава проскакал верховой. Под копытами лошади звенел наст. Тоненько и непрерывно, как комарик, плакал ребенок.

В стенку теплушки забарабанили.

Кришанина вскочила, прикрывая грудь пуховым платком, раздвинула дверь. Понизу белым дымом пополз мороз.

— Кто здесь? Что нужно?

Послышался срывающийся молодой голос:

— Если вы за советскую власть, берите винтовки и идите с нами очищать дорогу от белобандитов. Рельсы разворочены... Верховые окружают... Будите всех.

За спиной Веры Степановны кто-то шумно задышал. Плач ребенка стал громче, надсаднее. Промурлыкал низкий женский голос:

— Спи... спи... Это Дед Мороз ходит... вагоны считает...— И вдруг сорвался голос на визг: — Закройте вы двери! Напустили стужи!

— Вставайте, люди! Беда...

В темном вагоне стало тесно.

— Окружены, говорят... Белобандиты...

— Кришанин, оружие доставай!

Старший сын Кришанина Геннадий тряс за плечо отца:

— Папа, проснись... Да проснись ты, папа!

Вера Степановна подошла к фонарю, вывернула фитиль, чиркнула спичкой.

...Кришанины посмотрели в глаза друг другу.

Словно почерпнув от жены силу, Константин отодвинул дверь теплушки, исчез; и снова появилась в проеме его голова. Брови сдвинуты, будто связаны ниткой. С трудом двигая задеревеневшими от мороза губами, он произнес:

— Генка, подавай оружие!

Быстрый и ловкий в движениях, Геннадий полез под нары, извлекая оттуда обернутые в мешковину винтовки.

Русые, как и у матери, кудри мешали, он то и дело отбрасывал их назад. Вера Степановна развертывала оружие, подавала мужу. За ним толпились коммунары, выхватывали винтовки, скрывались в темноте.

Геннадий выпрямился, взял последнюю, посмотрел, как и отец, в глаза матери и исчез из вагона.

Послышался голос Константина:

— Пискунов! Эй, председатель, открой вагон с лошадьми.

Щелкнули затворы, заржал конь.

Вера Степановна, осторожно спустившись, побежала к вагону Пискуновых.

Елизавета, как клушка, обхватила руками сыновей и что-то шептала черными губами. Бесцветное, почти стертое лицо. Запавшие глаза, полные тревоги.

Пискунов копошился в вещах, что-то разыскивал.

Вера Степановна нашла в тряпье его шапку, подала, поглядела на председателя требовательно и строго. Наконец он выпрыгнул из теплушки.

Федор вырвался из рук матери и, мгновенно одевшись, стремительно выскочил следом. Елизавета, тихонько заскулив, начала молиться.

Пугающе потрескивала печка-буржуйка.

— Пойдемте-ка в наш вагон... соберемся все, не так страшно будет ждать.

В первом вагоне было уже много женщин, прибежали сюда и подростки.

Вера Степановна по-хозяйски усаживала всех на нары, то и дело куталась в пуховый платок. От него чуть слышно пахло духами, которые когда-то подарил ей Константин. И этот запах наполнял ее нежностью и печалью.

Кто-то из женщин громко спросил:

— А ну перебьют наших, что мы делать будем?

«Вот откуда эта печаль: могут убить. И зачем я Геннадия отпустила?» — в отчаянии подумала Вера Степановна. А вслух почти весело произнесла:

— Хорошо, что правление мы еще в Питере выбрали, видите, какая дисциплина: сразу все поднялись. Смотрю я, нам нечего бояться. Мужчины у нас всякую беду отгонят.

— Отгонят! — зло вступила в разговор Зинаида Верстаева, покачивая на руках ребенка. Ее острый подбородок посинел. На лбу и шее залегли резкие, словно прорезан-

ные ножом, морщины.— Тебе хорошо: у тебя младшему десять лет, на своих ногах. А вот как такой-то мерзнет всю дорогу да голодает, что делать? — Она так крепко сжала губы, что их совсем стало не видно. Неожиданно выкрикнула: — И зачем только я поехала в эту коммуну?

Саня отозвалась с нар:

— Зря ты так... Хорошо у нас будет! Разве не понимаешь, у нас и учителя, и врачи, и кузнецы! — Спрыгнув на пол, она направилась к двери.— Взгляну, пособия для школы целы ли...

— Не выходила бы, Саня... Ничего твоим пособиям не сделается...

Но учительница уже неслышно выскользнула из вагона.

Кришанина подложила в печку дров. Вагон осветился слабым мерцанием.

Елизавета Пискунова стонала:

— Священника не взяли... А как без священника? Умрет кто или что...

Тревожно и глухо шумела тайга. Издалека доносились выстрелы.

Мальчишки шептали:

— Пулеметы грохочут...

Близко послышались одинокие осторожные шаги. Женщины притихли.

Мужской приятный голос окликнул:

— Вера Степановна, вы здесь?

Кришанина открыла дверь. В вагон влез Рыжов, второй фельдшер, высокий и тощий, с кудрявой светлой бородкой. Он вкрадчиво зашептал, поводя испуганными глазами:

— Нужно, пожалуй, приготовить бинты, инструменты, йод... Может...

Кришанина скупо ответила:

— У меня все готово...

— А вдруг убитые...— Рыжов говорил все громче, стараясь не выдать испуга, часто с тоской посматривая на большие ручные часы.

Кришанина приоткрыла дверь. Тонкие, блестящие, как стрелы, рельсы убегали вдаль. Мохнатые звезды дрожали в вышине. Бесшумно и быстро поднялась в вагон Саня, улыбнулась и села у печки.

Напряженно молчали. Верстаева удивленно произнесла:

— Умер ведь он... умер... Сыночек. Ванечка! — и истошно завыла. К ней бросились несколько женщин.

Длинное лицо Верстаевой вытянулось еще больше, глаза ввалились. Вера Степановна развернула одеяльце. Ребенок уже остывал. Молча выскочила Кришанина из вагона с ведром, зачерпнула снег, снова взобралась обратно.

— Ну чего ты его качаешь? Давай одежку, обмывать и снаряжать надо...— Нельзя молчать, нужно заставить мать действовать.— Положи его! Сундук твой где? Открой!

Женщины молча сидели на нарах, Пискунова молилась, часто шевеля серыми губами.

Вера Степановна обтерла тельце ребенка мокрой мешковиной.

— Рубашку достань... Пеленку... Не эту! Белую, белую достань...

В окошки стала видна стена сосняка с седыми от снега верхушками. Недобрая ночь кончалась.

За вагоном послышались возбужденные голоса, веселое ржание лошадей. Дверь кто-то молча рвал снаружи и не мог открыть. Аркадий Пискунов легко отодвинул ее и рассмеялся от удовольствия.

Молодые коммунары с багровыми от холода лицами в лихо заломленных шапках полезли в теплушку.

— Как они подрапали!

— Я одного ранил! Видел, как в седле качнулся!

— А я рельс креплю, а сам боюсь: вот пальнут из леса...

Слушая хвастливые рассказы парней, фельдшер Рыжов вдруг сморщился, затрясся, задохнулся в плаче.

Мужчины смотрели на него в удивлении.

— Хороший мы устав коммуны выработали, шестьдесят пунктов.— Кланверис улыбнулся, глядя на всех младенчески чистыми глазами.— А вот о борьбе с белобандитами там ничего не сказано. Лошадей еще купить нужно будет... Что семь лошадей? Лошадей обязательно еще купить нужно! — Потухшая трубка оттягивалась книзу, отчего казалось, что Ян непрерывно смеется.

Вера Степановна указала глазами на Верстаеву, застывшую над ребенком.

— Умер...

Голоса стихли. Терентий Верстаев подошел к жене, положил ей на плечо руку и зашептал что-то. Усы его казались серой кочкой, которая шевелится от ветра. Зинаида подняла руки, растерла грудь.

Громко вздохнула Таня Орлова, молодая работница:

— Нелегко быть счастливым!..

Кришанина, найдя в углу вагона заступ, молча подала мужу. Тот вышел. За ним вышли и другие мужчины. Вера вынесла ребенка, обернутого в одеяльце. Верстаеву вели женщины.

Из соседних теплушек неслись песни.

Белый лес был неподвижен.

Возле трех дружно стоявших сосен выкопали могилу. Ребенка опустили в землю. С криком рвалась из рук женщин Зинаида. Земля, перемешанная со снегом, бугром лежала у ног коммунаров. Чтобы обрести обычное спокойствие, Вера Степановна вдыхала и вдыхала аромат, исходящий от своего платка.

Поезд пополз дальше. Ветер выхватывал из труб теплушек искры и расстилал их вместе с дымом по белой дремотной земле.

В сумерках утра мелькали серые деревни. Загадочная тайга глухо шумела.

3

Каждое утро, как только поезд останавливался, Федор Пискунов уходил в вагон к Кришаниным. Видеть родителей за утренней молитвой было невыносимо, стыдно перед товарищами. Он ловил насмешки за спиной отца, страдал от них. Даже уважительное молчание коммунаров принимал в обиду. Молитвы шепотом, скорбные взгляды, поклоны и кресты — все колебало веру во что-то большое, новое, все лишало самостоятельности, расслабляло. «Не понимает отец, что революция все смела, все понятия о боге теперь перевернулись. Необходимо раз навсегда покончить с «опиумом», как называли религию на митингах в Питере». Так думал Федор, сердито шагая по шпалам. «Нам нужна сила... Не ослаблять людей надеждой на бога! Пусть надеются на себя, на коллектив... Другое дело — Кришанины. Вокруг них всем все ясно, все уверены, что справедливость наступила, что они едут на большое дело, в котором победят».

Федор торопился: вдруг дадут отправление? Хоть бы несколько остановок проехать в теплушке с другими! У Кришаниных едет Таня Орлова. Не хотелось ему признаваться, что торопится он, чтобы увидеть задорную курносую девушку.

«И почему к нам в вагон никого посильнее не поселили? Понадеялись на отца — председателя. А с ним нужно спорить. Я вот сам займусь этим! Думают, что он никому не даст пошатнуться, а ему самому подпорка нужна!»

Дверь теплушки была широко раздвинута. Из глубины несся добрый голос Веры Степановны:

— Выходите! Проветрим.

Люди послушно начали сбрасывать на платформу одеяла, цветные подушки. У других вагонов тоже засуетились.

Федор увидел, как Таня в стороне трясет одеяло, бросил в нее снежком. Не попал, бросил еще и снова промахнулся. Подошел ближе, взял у нее одеяло и начал трясти сам.

— Да не хлещи его о снег-то, порвешь! — хлопотала довольная девушка.

В хвосте состава играли на гармошке «Барыню», лихо вскрикивал женский голос, видимо в плясе. Слышался порхающий отрывистый смех.

Женщины мыли в вагонах полы.

Вот и Кришанина неожиданно швырнула в мужа снежок. Константин грозно закричал:

— А-а, ты на меня! — и бросился к ней, схватил ее на руки и опустил в высокий сугроб.

Сыновья прыгали вокруг родителей, старший помогал матери выбраться, младший кидал в отца снежками. Кришанин жмурился, увертывался от летевших в него комков. Мать извлекли наконец из сугроба, поставили на ноги, начали счищать с нее снег.

Выбивая подушки, Федор невольно думал: «Вот бы мне таких родителей!»

Кришанин вдруг начал поворачивать перед собой жену, разглядывая ее бархатную шубейку, вытертую, с рыжим облезлым воротником. Эту шубейку она носит все годы.

— Парни, купим матери пальто? — крикнул Кришанин.

— Купим! — хором ответили сыновья.

Геннадий тоже обошел вокруг Веры Степановны, оглядел ее со всех сторон и заявил строго:

— Я куплю. На первый заработок.

Разные сыновья у Кришаниных. Вытянувшийся, большеносый, с тонкой, как у девушки, талией Геннадий похож на отца. Младший, Сергей, неулыбчивым красивым лицом — на мать. Он мог в одну минуту передразнить кого угодно, подражал всем в семье, подражал товарищам.

Отец смеялся:

— Откроем в коммуне балаган. Сережа за клоуна сойдет.

Таня уносила подушки и одеяла в вагон, подбрасывая Федору новые, и он добросовестно тряс все, что ему попадало под руку.

Кричала недалеко мать:

— Федька, ты что чужим помогаешь, у нас одни бабы остались?..

А он выколачивал пыль и думал: «Все от вас убегут... Всех молитвами зашептали».

Он увидел, что Кланверис любуется, глядя на Веру Кришанину, следит за ней со стороны и улыбается. «Наверное, удивляется, что шутят. Хорошие люди — верные люди. Невеселые люди — неверные. А эти...»

Вот Кланверис и сам схватил горсть мокрого снега, прищурив острые, глубоко посаженные глаза, запустил в Веру Степановну. Та оглянулась и нахмурилась.

У вагона-склада шла выдача пищи на день, оттуда доносился голос старого Пискунова:

— Одна, две...

— Мне маленькая картофелина досталась! — возражал женский голос.— Таких за одну две надо...

Каждая семья получала по числу едоков картошку в свое ведро, каждая варила особо: пока трудно было наладить общий стол.

— Куча мала! — завизжали девушки, напав на Федора, свалили его в сугроб. Он задохнулся от колючей прохлады.

— Ребята, сегодня спевка,— объявила Саня,— собирайтесь к нам. Кто не придет, того отошлем обратно в Питер.

Федор разбросал по сторонам девушек, наседавших на него. Поднялся, отряхиваясь. Татьянка не играла с ним,

2*

деловито уносила в вагон вещи. Кришанина громко сказала, обращаясь к Кланверису:

— Саня целый вагон песен да стихов в коммуну везет... Очень нам нужный человек Саня!

И Федор подумал: «И что она ему Саню нахваливает? Татьянка не хуже».

Он снова поймал взгляд Кланвериса, брошенный на Веру Степановну, и насторожился: «Не Саня и не Татьянка ему нужны. Неужели?..»

С выбившимися из-под платка коротко остриженными русыми кудрями, с раскрасневшимся радостным лицом, невысокая, Вера походила на девушку.

— По местам! Через три минуты отправление! — кричал Кришанин.

Со смехом, подсаживая друг друга, девчата бросились в вагон. Тетя Катя проворчала:

— Опять из других теплушек к нам? Сесть некуда...

— У нас же спевка! — возразила Саня.

— А мне книжку надо. Дай мне, Саня, другую книжку,— требовали ребята, и Федор требовал от нее новую книгу:

— Не понимаю, почему тебе библиотеку доверили? Прошу по совести: дай мне «Овод».

— Нет его у меня, Татьянка Орлова читает.

— Она, как выехала, все эту книгу читает!

Федор, сердитый, встал на нары, к окну, закурил и начал смотреть на мелькавшие березовые рощи, на сопки, которые все чаще вставали на горизонте.

Падал и падал снег, косматый, пушистый. Струйки дыма от папиросы поднимались к прокопченному потолку, образуя сплошное облако.

Пахло вареной картошкой.

Катерина Важенина и Саня ели, одна со старческой осторожностью пережевывая обжигающую мякоть, другая — с брезгливой гримаской подносила картофелину ко рту, кокетливо отставив мизинчик.

«И зачем нам эти неженки? — думал Федор, стараясь не глядеть на Саню.— Книжку не дает! Собрала на спевку, а занялась едой! — И озабоченность Татьянки, и взгляд Кланвериса, брошенный на Кришанину,— все его сердило сейчас.— Как не стыдно заглядываться на чужую жену! Ведь в одной коммуне будем...— Настроение портилось. А думы о родителях не отходили, были совсем близко,

готовые каждую минуту все отодвинуть.— Как не стыдно им? Неужели не понимают, что позорят нас?» Ему казалось, что он ненавидит мать за ноющий голос, за то, что она так оберегает сыновей от каждого ветерка. Дома Федор как-то этого не замечал. А в поезде, за восемнадцать суток пути, мать стала невыносима. Он постоянно испытывал ее мелочное внимание и опеку, чувствовал себя виноватым за то, что сердился на нее, но не сердиться не мог.

«Переделаю я их. Все равно переделаю!» Федор начал мечтать, какими станут его родители. Мать не будет дергать детей по пустякам. Отец — ценный работник, гордость коммуны, первый ее председатель.

Федор вспомнил шумные и веселые улицы Питера, и сердце его заныло. Какая при заводе библиотека! Сейчас на родной окраине еще ночь. Газовые фонари на площадях мигают голубыми огоньками, деревья качают черными сучьями.

К нему подошла Саня, посмотрела в лицо.

— О чем думаешь? — спросила она и, не дожидаясь ответа, продолжала: — Хотелось бы тебе походить на Овода?

Вопрос смягчил его тоску. Походить бы на Овода... на Рахметова или быть как Базаров, уметь так же отдаваться делу. Надо учиться жить для других... Каждой минутой жить для других... Вот для них, для всех... и тогда не будет тоски.

— А на Кланвериса? — все допрашивала Саня.

— На самого себя походить и то хорошо,— насмешливо отозвался он, провел рукой по волосам, по лицу, долго вдыхал привычный и дорогой запах железа. Он любил свою работу. Нет ничего слаще — видеть результаты своего труда. Под молотом из раскаленного куска металла выходит нужная вещь, обретает форму и грани.

— А ты что о Кланверисе вспомнила?

Саня улыбнулась и отошла от него, не ответив.

— У всех есть слова песни? — закричала она. Ее тотчас же окружили девчата.

Ветер лениво раздувал за окном дым паровоза. Сосны, казалось, плыли.

Саня стояла посреди вагона, махала рукой.

— Дружно! — и первая начала песню высоким нежным голосом:

В Петрограде, за Невской заставой,
Обуховцы всю ночь, до зари,
Собирались под тополем шалым,
Все сердца сюда, мысли несли.

На остановке из соседней теплушки Кланверис принес Сане какую-то пьесу. Черная кожаная куртка комиссара, как всегда, расстегнута. Трубка оттягивала угол рта. Маленькие добрые глаза с удовольствием окинули молодежь. Саня вспыхнула, смолкла: он не любил этой песни, там упоминалось его имя, и он всякий раз хмурился, смущался. Саня, принимая от него пьесу, попросила:

— Расскажите нам, как к Ленину ходили.

— Да я уже вам говорил...

— Просим, дядя Иван. Вы все старшим рассказываете, а не нам...

— Ну, пришли мы... Он руку нам подал... Каждому...

— Нет, сначала, как шли вы...

Ян оглянулся на Кришаниных. Те тоже, улыбаясь, ждали, и он несколько растерянно повторил:

— Ну, шли мы...— И засмеялся, поймав себя на том, что именно так он каждый раз и начинал.— Неясно еще нам тогда было, какую коммуну строить. Понимали, что труд будет общий, а цель у всех разная была. Большинство от голода спасались. С кем советоваться? Только с Владимиром Ильичем: дело-то новое. Я видел Ильича раньше, а товарищи — нет. Идут, переговариваются. Думали, что он обязательно высокий, широкий в плечах.

На площади перед Смольным обгорелые дрова торчат из-под снега: в ночь восстания костры здесь жгли.

— Ощипали тогда орла двуглавого,— бросила с нар тетя Катя.

Кланверис продолжал:

— Постояли мы у одного такого костра потухшего... Идти дальше — оторопь брала: боялись, что не удастся увидеть Ленина, да и идти к нему было неловко: человек революцией занят, а мы мешаемся, не верили, что о коммуне говорить время наступило.

В коридорах Смольного и по лестницам людей полно — солдаты, вооруженные рабочие, матросы. Прошли в боковое крыло.

Федор Пискунов слушал Кланвериса не мигая, вздрагивал, поеживался. Казалось, что он вместе с ходоками вошел в комнату, где сидела маленькая горбатая девушка-

секретарь с умными черными глазами. Вот дверь в кабинет Ильича. Дежурят красногвардейцы. И все работники и дежурные деловиты. Все доступны каждому посетителю, отвечают на вопросы, спрашивают сами. Иначе не могло и быть. Словно сам Федор сел на скрипучий стул в неуютной проходной комнате. Она перегорожена двумя деревянными диванами.

«Не могли у буржуев для Ленина мягкие диваны взять! Позор!» — возмущался про себя Федор, прикрывая глаза: так лучше вообразить то, что видели товарищи в Смольном.

Кланверис смолк, волнение сжало горло.

«И чего он тянет?» — нетерпеливо думал Федор.

— Товарищи потом удивлялись,— продолжил наконец тот.— Ильич не высокого роста, а даже ниже среднего... Я-то раньше его видел,— снова повторил Ян.— Поздоровался он с нами за руку и сказал: «Присаживайтесь».

Федор снова представил себя в Смольном. Именно к нему близко сел Ильич, соприкасаясь с ним коленями, немного нагнулся вперед, улыбнулся. Был на нем коричневый старый пиджак. Брюки собрались в складки.

— Мы сказали, что завод наш стоит... Владимир Ильич потер лоб, прикрыл глаза, а потом говорит, что заводы не работают, потому что заказы прекратились, это и есть саботаж буржуев, которые экономически еще не разбиты.

«Вот и тянет, и тянет! Интересно ли, что пол в кабинете без ковра? Только сердце надрывает. Ясно, недосмотр за Ильичем. Не могли ковер под ноги ему положить. Ведь дует же!»

— Правый глаз прищурен, а левый остро всматривается в каждого. Ленин быстро, очень быстро понял, что решили мы, рабочие Обуховского завода. Спросил: «А почему вы хотите ехать на Алтай? Разве мало, говорит, земли под Петроградом?»

— Ну, а вы что? — жадно подалась вперед Катерина Баженина, хоть и знала дословно весь разговор товарищей с Ильичем.

— Что? Известно что! Под Петроградом голодно... И работы нет... А Ильич тут и сказал...— Память Кланвериса удержала каждую деталь знаменательной этой встречи.

Словно сам слышал Федор приглушенный голос вождя, видел карие узкие глаза.

— Сказал он нам, что влиять на крестьянство необходимо. Отпускать его нельзя, нужно к революции приобщить. Кроме того, на Алтае много нехоженой земли и много безземельных крестьян. Нужно поднять всю землю, заставить ее плодить. Вот что он сказал тогда.— Кланверис замолчал, будто следуя за мыслью Ильича, участвуя в его исканиях.— А как держаться нам, это Владимир Ильич ясно выразил в январе на съезде крестьянских депутатов, когда говорил о работе в деревне.

— Записку-то о нас помнишь? — спросила Вера Степановна.

Федор отвернулся, чтобы не видеть, как Кланверис взглянет на нее. Но голос того был спокоен, ровен, немного мечтателен:

— Записку я наизусть помню. Написал Владимир Ильич такие слова: «Помогите, пожалуйста, подателям советом и указаниями... насчет того, что и где достать земли. Почин прекрасный, поддержите его всячески». И подписался — «Ленин».

«Как, говорит, будете с крестьянами там держаться?» Об этом как раз мы избегали говорить. «Думали? — спрашивает.— Крестьянство разнородно. Кулаки вас примут враждебно. Нужно будет поднимать нехоженые земли... И поднимать сознание крестьян. Учтите, что вы — рабочие. А рабочий класс — главный ответчик за судьбу нашего молодого государства. Нужно, чтобы крестьянство поняло нашу революцию. В этом сейчас важная задача».

Федор вздрогнул, представив еще раз, как они будут жить на Алтае. «Главные ответчики! Вот в чем суть. Теперь все ясно. Мы теперь знаем, что делать».

— Он не успокаивал нас, жизни райской в коммуне не сулил,— продолжал Кланверис.— Прямо сказал, что будет трудно, что кулаки нас примут враждебно. Он особенно напирал на это. Будет борьба... Советовал связи с массами укреплять. Говорил о том, что нужно нам делать, чтобы стала возможна коллективизация сельского хозяйства. Говорил, что правительство поможет механизировать обработку земли. И через кооперативное товарищество смычка промышленности с крестьянами будет.

Кланверис помолчал. Лицо его смягчилось.

Кришанин, сидевший у печки, запальчиво крикнул:

— Не понимаю, Иван, какая борьба! Ты уже не пер-

вый раз говоришь: «Борьба, борьба!» Мы едем на Алтай с мирными целями. Мы не будем вмешиваться в жизнь крестьян, они увидят это сразу.

Лицо Кланвериса стало жестким. Он долго смотрел на Кришанина.

— Будет борьба! — наконец произнес он со злым упорством.— И к этому надо готовиться!

Вера Степановна и Саня восторженно смотрели на него. Федор тоже не спускал с комиссара глаз.

— А еще о чем вы с Ильичем говорили? — спросила нетерпеливо Татьянка.

— Меня он сразу латышом признал. «Акцент, говорит, ясный, особенно звук «л»,— сказал Ян устало.

Федор думал: «Все, что было для нас скрыто, все теперь ясно. Все приобрело новое значение. Теперь земля под нами твердая».

Кланверис говорил почти это же:

— Шли мы от Ильича уверенные, что хорошее дело затеяли, и мысли Ильича — наши мысли, и судьба народа в верных руках, вот что мы думали. Умереть нам за Ильича хотелось, вот как мы от него уходили!

Федор открыл глаза, оглядел коммунаров, набившихся в вагон. «И я готов умереть за Ильича... И все готовы!» — решил он.

Саня громко вздохнула:

— А вы не желали нам это рассказывать! Это же очень, очень важно! Вы и в других вагонах должны рассказать все так же подробно, дядя Иван. И особенно то, что нас могут принять враждебно. Что будет борьба...

И Кришанина подтвердила:

— Об этой встрече все должны знать до малейших подробностей!

Большое лицо Яна выражало теперь смущение. С улыбкой поглядывал он на всех, посасывая трубку.

Саня снова махнула рукой и крикнула:

— Продолжаем, ребята! Нужно, обязательно нужно нашу коммунарскую песню выучить.

Кланверис, пользуясь остановкой, исчез.

Федора обижало, что Таня как бы совсем не обращала внимания на него.

Челка расширяла и без того круглое ее лицо. Карие глаза были широко расставлены и всегда блестели.

Подпевали все. Только Зинаида Верстаева лежала ничком на парах. Около нее сидела опечаленная Вера Степановна.

«Интересно, поет Кришанина или нет?» — лениво подумал Федор и обернулся. Та что-то шептала Зинаиде и гладила ее по взлохмаченной голове.

«Все еще красавица... и очень похожа на Веру Павловну из Чернышевского...» — подумал Федор и отчего-то густо покраснел.

Девушки пели:

Собирались они не случайно,
А объяты идеей одной:
Перестроить все судьбы печальные,
Вместе жить пролетарской семьей!

Низкий грудной голос Татьянки красиво выделялся. Федор посмотрел на певиц и отвернулся от жарких, зовущих глаз Тани.

Колеса постукивали на стыках рельсов монотонно и спокойно. И Федор подумал еще, что каждую минуту, каждый час между людьми что-то происходит, как-то меняются отношения. И это простое открытие чем-то взволновало его. «Вот и Татьянка, то не глядит, то зовет. А я не обернусь к ней, вот так и не обернусь! Пусть не играет со мной». И Федор упорно смотрел в окно.

Татьянка крикнула насмешливо:

— Федя, сейчас молитву заведем, подтянешь тогда! Ты ведь на молитвах живешь.

Сердце сжал унылый холодок. Хотелось закричать от боли.

Все так же глядя в окно, он с ожесточением думал: «Вот этого я тебе не прощу, девочка... Ни за что не прощу!» Но сквозь уныние пробивалось что-то теплое и радостное, только он не мог понять, что это.

— Ну зачем ты так! — тихо упрекнула подругу Саня.

С ненавистью думал Федор о родителях: «Все из-за них. И почему только убили Павлушку, а не меня! Ведь я тоже ходил тогда на юнкеров! А Татьянке я не прощу насмешек. И чем она меня привлекла? Ну, много читала, с ней обо всем можно говорить. Но она злая и не похожа ни на одну героиню прочитанных книг. Надо мной все время подшучивает, хотя не отказывалась прогуляться со мной по городу. Вместе на туманные картины ходили. Дурак, конечно! Вишь как она измывается!»

А то хорошее, что радовало Федора, росло, поднималось. Он еще раз поднес к лицу ладони, вдохнул исходящий от них запах железа и огня и вспомнил: Ленин. Он доверил им судьбы людей, сказал, что они отныне ответственны за общую жизнь. Ленин.

Татьянка кричала:

— Чем у тебя руки пахнут? Смотрите, подружки, стоит и нюхает и нюхает,— а потом протяжно затянула, не отрывая смелого взгляда от Федора:

Со святыми упокой...

Саня сердито смотрела на нее. Кто-то засмеялся.

Озорное пение Татьянки прервал истошный вой: Зинаида, оторвав голову от подушки, запричитала:

— Сыночек мой! Зарыли тебя в чужой земле без священного отпевания!

Вера Степановна гневно замахала на Таню руками. Та смущенно смолкла.

Прижав голову Зинаиды к груди, Кришанина говорила:

— Поплачь... поплачь... Легче будет... Ведь не вернешь: что земля прикрыла, то уж пропало... Поплачь.

Федора распирала злая радость: оконфузилась, насмешница!

Поезд приближался к Семипалатинску — к конечной станции.

Смолк плач Зинаиды. Коммунары засуетились, собирая пожитки в узлы.

Федор снова подскочил к окну, но Татьянка, уже одетая в полушубок и повязанная цветным платком, оттянула его за полу пиджака:

— Дай и другим посмотреть.

Федор молча уступил место, отошел к двери, чтобы выскочить первым.

Девушки кричали:

— Подъезжаем!

— Татьянка, говори, что видишь?

Поезд остановился. Солнечные лучи пробились сквозь облака, залили заснеженный перрон.

Пока эшелон выгружали, все толпились у вагонов.

Матвей Пискунов с парнями держали в поводу семь лошадей — подарок петроградцев. Он что-то говорил членам правления.

«Распоряжается родитель! — с прежней неприязнью подумал Федор и вздохнул: — Громадный путь позади. Теперь начнется новая и обязательно счастливая жизнь».

В большом ящике громоздилось пианино. Рядом — длинные ящики. В них оружие — подарок Ленина, о котором правление умалчивало, держа открыто только несколько винтовок на случай. Коммунары знали, что в ящиках винтовки, хотя и делали вид, что не знают. И потому, что в Питере дали им оружие, Федор понимал, что на Алтае тревожно.

Ящики, ящики, узлы, узлы.

Мельком взглянув на Татьянку, Федор увидел, что она замерзла.

«Попрыгай теперь в сапожках-то,— усмехнулся он и тут же упрекнул себя: — Какой же я злой... и все по мелочам!»

Девушка посинела, часто перебирала маленькими стройными ножками. Подойти бы, обхватить широким объятием, согреть!

Но не Федор, а Геннадий Кришанин налетел на девчат вороном, разметал, расшвырял их меж узлов. Поднялся визг, смех. Молодежь веселилась.

Федор с завистью смотрел на расшалившихся товарищей.

— Чего разбегались? Сидите! — прикрикнул он на братьев.

Аркадий и Михаил присмирели, пошептавшись, отошли на другой конец перрона, и снова Федор увидел, как замелькали в толпе их шапки.

Саня опять затянула песню, сочиненную кем-то из коммунаров:

Наш Кланверис с завода поехал,
Про нас Ленину все рассказал,
Сам Ильич одобрил починанье,
Питер скоро вагоны нам дал...—

и поглядывала на Кланвериса, подразнивая. Чистый лоб ее сморщился от усилий, брови взлетели вверх: голосок у нее был маленький, звучал глухо. Девушка чем-то напоминала Федору Веру Кришанину: такие же ямочки на щеках, те же серые глаза. Только Вера Степановна была подстрижена, а Саня сохранила длинные светлые косы.

Кланверис нахмурился, услышав песню, смущенно поглядел на Кришанину.

Слова песни не входили в напев, громоздились, набегая друг на друга. Еще не все выучили их, путали, смеялись над ошибками, начинали снова.

На перроне появился незнакомый щеголь небольшого роста, в черной кожаной куртке и в папахе. Он поднял брови над фиалковыми глазами, врезался в толпу девушек, бросил Татьянке:

— Замерзла? Ничего, согреем... Где ваш председатель? — И объяснил подошедшему Пискунову: — Я Вавилов — председатель Семипалатинского Совета. Подводы поданы! Можно грузить!

Нося тяжелые тюки, Федор и Татьянка встречались как незнакомые.

«Ну и пусть,— думал Федор, поджимая губы.— Приедем на место, я буду в кузнице с отцом, Танька — на поле, и видеться не придется».

Погрузка окончилась, и девушка уже не мелькала то и дело перед глазами.

Вместе с мужчинами Федор сопровождал имущество коммуны на пристань, к складу.

4

— Наемся... все равно наемся...— громко шептала Елизавета Пискунова, когда их привели в какое-то просторное помещение и усадили за наскоро расставленные столы.

На столах горками громоздился хлеб. Он исчез с подносов раньше, чем подали горячее.

Коммунары торопливо глотали непрожеванный мякиш, прятали ломти и горбушки в запас. Казалось, они впервые видят столько хлеба.

— Наголодались! В Питере по полфунта хлеба получали...— виновато объяснил Кланверис Вавилову, который в этот день их не покидал.

— Знаю. Пусть едят вдосталь. Как бы только не заболели. До нас голод не дошел.

— А давно у вас Советы?

Вавилов смутился, провел ладонью по вьющимся светлым волосам.

— Отстали от столицы. Только с января... И Комитет охраны общественного порядка создали. Земельные коми-

теты аннулировали...— На слове «аннулировали» Вавилов молодо покраснел и споткнулся, видимо только привыкал к нему.— Теперь у нас земельные отделы местных Советов. Городской думы и управы тоже теперь нет...

— Мы много дней в пути... Ничего не знаем,— стараясь сдержать улыбку, сообщил Кланверис.

— Недавно мы железную дорогу национализировали.— Вавилов снова покраснел и улыбнулся.— Эшелон хлеба отправили горнякам судженских копей. Они помогли движение на дороге восстановить... и Питеру хлебушка послали.

— Что в столице? — спросил Ян, впиваясь глазами в Вавилова.

Тот ответил вопросом:

— Съезд при вас открылся?

— Нет. Мы накануне уехали...

— Седьмой съезд партии прошел. Партия наша теперь называется — Российская Коммунистическая партия большевиков,— сообщил Вавилов.

Коммунары жадно прислушивались, перестав стучать ложками.

Вавилов рассмеялся:

— Щи-то остынут. Налегайте.

— А вот семян у нас не хватит... Где здесь семян раздобыть?

— Советы должны обеспечить ссуду... Уездный съезд крестьянских депутатов решил ссуды крестьянам-беднякам давать... Седьмой съезд подтвердил решение о мире, но опять-таки англичан, американцев да французов мы очень обеспокоили. Хотят задушить нашу республику. В Мурманске войска высадили. Заваруха начинается. Это вы слышали?

— Нет...— гулко прозвучал в тишине ответ Кланвериса.

Коммунары молчали.

Вавилов вздохнул:

— Людей преданных у нас мало. Может, из вас кто здесь останется?

— Мы там, среди крестьян, вам помогать будем,— вступил в разговор Кришанин.

— Там — особая статья. Тоже нелегко вам придется: кулаки в Советах. Саботируют, вредят.

— К этому мы готовы,— вставил Кланверис.

— Нет, не готовы! — раздался звенящий высокий голос. Зинаида Верстаева вскочила с места и обожгла всех ненавистью в глазах.

— Не готовы! — повторила она.— Сынка мне никто не вернет! Голодать да подачками жить, вроде сегодняшнего обеда, мы с мужем и одни можем! Не поеду я с коммунией! Хоть режьте, не поеду...— Она смотрела на руководителей коммуны с враждебным спокойствием, исподлобья, заранее не веря ни одному их слову.

Кланверис, побледнев, выскочил из-за стола.

— Не любишь ты радостных людей... Не любишь жизни.

Зинаида подбежала к нему. Узкое лицо ее исказилось от злобы.

— А ты любишь, так что же моего сына вовремя не накормил?

Терентий подошел к жене, взял за плечи и повел к двери:

— Не ерепенься... Никуда больше не поедем.

— Посмотрим, как вы без нас! — крикнул Кришанин.

— А может, они с нами работать будут? — растерянно проговорил Вавилов.

— Зачем вам такие? — спросил Федор.

Терентий резко обернулся:

— Нет, дорогие товарищи, и с вами не будем. Мы одни. Так-то спокойнее. От англичан да французов не упасет ни Совет, ни коммуна. А мы с женой одни... Квартиру найдем. Мастерство в руках. Хлеб дешевый. Проживем...— Верстаевы вышли из комнаты при полной тишине.

И в этой тишине Елизавета, сидевшая с младшими детьми за столом, отчетливо произнесла:

— А вы, ребята, ешьте, ешьте, успевайте пока!

Коммунаров расселили в неприютных и просторных зданиях бывшей духовной семинарии и окружного суда.

Председатель мыкался туда и сюда, усмирял раздоры, которые все чаще вспыхивали между женщинами, как он считал — от безделья, хлопотал о закреплении земельного участка, бегал на мельницы, покупал семена и, приходя ночью, молился, крестясь на вставленные в стене семинарии иконы.

Так молился он и в этот вечер.

Спутанными волосами и всклокоченной бородой он походил на отшельника. Слезы скатывались на щетину серебристых его усов.

— Помоги, господи... Верстаевы вот отделились. Ненастоящие оказались. Сохрани мне людей, господи! Верстаев-то хороший кузнец... как мы без него?.. Кузнецов осталось двое: я да Федор. А сегодня бабы опять на рынок свои тряпки таскали... Голодно... я, господи, все вытерплю... Из пригоршни пообедаю... И какая это коммуна, господи: всяк свое ест. У одного густо, у другого пусто! И что тут делать? И Федька мой задурил: бегает по городу!.. Дома не сидит... Как бы не отбился и он... Помоги, господи...— И улыбался Пискунов иконам горькой, скорбной улыбкой, казавшейся чужой на его лице.

Двери семинарии не закрывались. Врывавшийся в них запах весны обдавал людей прохладой.

Матвей Сергеевич испуганно вскочил на ноги: около него стояли Кришанин и Вавилов.

— Кланяйся, Матвей, ниже! Скоро от поклонов-то горб вырастет,— криво усмехнулся Кришанин.

Оба они были бледны.

— На город шайка белобандитов напала... Нужно срочно выехать на ликвидацию... Кто из вас может? — спросил Вавилов.

Кришанин будил мужчин, тихонько трогая каждого за плечо, чтобы не побеспокоить женщин. Однако женщины все-таки проснулись и, к гордости Пискунова, не споря, без слов помогали одеться мужьям.

Только одна его жена подняла крик:

— Не отдам сына! И тебя не пущу! хватит с меня! Федька? Где Федька?

Федька услышал вопли матери и выскользнул на улицу.

— Вечно выроешь вокруг себя сто могил! — сердито говорил Кришанин Елизавете.

— Ну, ну, успокойся. Младшие твои еще малы, а Федора дома нет! — по-матерински снисходительно шептала Катерина Важенина.

— Сколько мы еще до коммуны потащимся? Вначале обедом нас здесь встретили, а теперь свое проедаем. Да на голодное-то брюхо еще воевать заставляют! — роптала та.

— Ничего. Поясок на одну дырочку подтянем и выдер-

жим,— произнес коммунар с ввалившимися глазами, наматывая на ногу портянку.

— Не отдам Федьку!

Неожиданно около них появилась Татьяна Орлова. Размахивая шапкой, сказала:

— Я поеду... За Федора Пискунова поеду, так и запишите: за Федора...

— Нечего зря языком болтать.

Пискунов-старший смущенно потирал большими узловатыми пальцами впалые виски.

Пока шла перепалка, Вера Кришанина успела снарядить в дорогу Геннадия. Сергей с молчаливой завистью посмотрел на брата и лег на топчан, накрывшись с головой.

— Ты, кудрявый, подрасти еще...— шепнул ему Кланверис, приподняв одеяло.

— Дядя Иван, я бы тоже смог на бандитов...

— Успеешь, дорогой. Видать, долго еще они нас в покое не оставят...

Кришанин тщательно осмотрел Геннадия, Татьянку и вышел из семинарии.

Вера Степановна проводила его взглядом.

Геннадий кивнул матери и выбежал за отцом.

Она быстро натянула брюки мужа, полушубок, схватила фельдшерскую сумку и бросилась вдогонку. Ее провожал вой Елизаветы Пискуновой.

Капала с крыш вода. У волостного Совета, двухэтажного кирпичного здания, отряд ожидали большевики города.

В полумраке женщины мало отличались от бойцов. В брюках, в шапках-ушанках, в полушубках, они лихо сидели в седле.

Весенние сугробы серебрились. Ледяно отблескивали винтовки.

— Я у бабушки на селе жила одно лето...— рассказывала Татьянка.— Гоняла лошадь на водопой и в ночное.

Сейчас под ней был серый, хорошо выезженный конь. Он, казалось, угадывал ее мысли: то оглядывался, когда Таня оглядывалась, то рвался вперед.

Громко и непоследовательно девушка говорила:

— Федор спрятался, достоинства своего не понимает, делает то, что хочет, а не то, что должно.— В голосе ее слышна горечь.— Все заняты, все хлопочут о семенах,

об участке, покупают лошадей, но все проходит мимо него...

Вера молчала, думая о своем.

— В Петрограде он рассказывал мне о коммуне, мечтали вместе... ехать на Алтай, вместе работать...

— Но вы и поехали вместе...— рассеянно вставила Кришанина.

— Я поверила ему, убедила мать отпустить меня на восток, надеялась, что вся жизнь с этих пор пойдет с Федором рядом! — почти крикнула Татьянка.

— Подожди... Все будет хорошо...

— Он ко мне не подходит... и сейчас с нами не поехал...

Впереди мужской голос затянул коммунарскую песню. Вера выпрямилась в седле, пытаясь разглядеть певца. Голос был знакомым.

— Уж не Федор ли?

Татьянка пришпорила коня. Сугробы смятого водянистого снега не пускали вперед.

Песня смолкла. Копыта лошадей отстукивали шаги по дороге.

Кланверис крикнул:

— Отряд, за мной! — Обернувшись, громко предостерег Кришанина: — Ты береги себя, не рискуй... подумай о Вере...

Кришанин бегло взглянул в его сторону, рассмотрел в полутьме смягченное нежностью лицо. Стало почему-то до боли жаль его.

— Вера всегда ко всему готова,— бросил Константин Васильевич.

Федор слышал этот их разговор и почти ненавидел комиссара за то, что в эту минуту тот помнил о Вере Степановне. Не понимал он и Кришанина: как он мог так спокойно говорить с Яном о жене, неужели не видит, что тот засматривается на нее? Надо сразу оборвать это не нужное никому чувство.

Жалея Кришанина, парень старался ехать рядом, все пытаясь начать разговор.

— Вере Степановне чужая забота не нужна.

Кришанин недоуменно посмотрел на него, покачиваясь в седле.

— Все мы теперь свои,— возразил он.

Отряд выехал на шоссе. Из ближайших переулков его начали обстреливать.

Пухлые пласты рябого снега, спрессованные санями колеи, заборы поредевших дворов по бокам — все, казалось, сорвалось и понеслось, понеслось. Припав к лошади, Татьянка мчалась теперь рядом с Федором.

Лошади напряглись, распластались над землей.

Четко защелкали затворы. Воздух наполнился свистом пуль. Кто-то впереди Тани рухнул с лошади. Пуля проскочила совсем близко, будто кто-то жарко дохнул в лицо. Вот еще, еще. Не удержавшись в седле, Таня перелетела через голову коня.

Кровавый туман поплыл перед глазами, закрывая светлеющее небо.

Больше девушка ничего не помнила: ни боя, ни того, как выбили с окраины бандитов, как раскатисто гремели запоздалые выстрелы, как несли ее коммунары на шинели к больнице, а Федор тряс ее за плечо и отчаянно шептал:

— Таня... Ягодка моя... Я все забуду... все, Таня! Я не сержусь...

Ян Кланверис заглядывал Татьянке в лицо, поправлял сползавшую с нее шинель.

— Заботьтесь о чужих женах,— грубо бросил Федор.

Тот строго взглянул на него:

— Что ты понимаешь, мальчик?

— А то... Я думал, вы революцию делали и во всем правы... А вижу, вы ни нужды, ни горя не нюхали.

Вера Кришанина отвела от Яна разъяренного парня.

— Опомнись! Да ты знаешь, какая у него жизнь? — шептала она.— Что ты такое сказал ему? Как ты смел?! Все вы, Пискуновы, какие-то чудные! Как же ты смел?!

5

Ян Кланверис из рассказов матери знал, что его отец был рабочим на строительстве Либаво-Роменской дороги. Знал он еще, что отца запороли: нечаянно поскользнувшись, он невольно подставил ногу немецкому барону, и тот упал на сваленные шпалы.

Мать осталась с огромной семьей. Ян смутно вспоминал родную реку Гауя и свой город Сигулды.

Подростком он работал в помещичьих хозяйствах, на металлургических заводах, на лесопилках. Замкнутый,

молчаливый, он раскрывался, сиял счастьем, как только оказывался в кругу семьи. Его всегда там ждали. И мать, и младшие братья, и сестры поверяли ему свои обиды и нужды.

Но вскоре старшая сестра Яна, поруганная немцем, повесилась. Мать умерла. Братья и сестры разбрелись по свету.

Яну не было еще двадцати пяти лет, когда в Риге начались волнения. Поводом послужило издевательство администрации над работницами джутовой фабрики.

Рабочим удалось захватить в городе власть. Несколько дней они были полными хозяевами. Но держались недолго. Забастовка была сломлена. Участников избивали поодиночке и группами, загнав в склады порта. Затем сослали в Сибирь.

Только на каторге Ян понял, что молодость незаметно ушла, ему под тридцать, а он все еще одинок. Случайные связи с женщинами оставляли в нем чувство брезгливости и стыда.

В 1903 году его освободили. Он вернулся на родину. А в пятом снова попал в ссылку за участие во всеобщей забастовке, вспыхнувшей после расстрела питерских рабочих 9 января. Из ссылки бежал в Петроград, работал под чужим именем слесарем на Обуховском заводе.

В февральские дни семнадцатого года начальник завода генерал Чорбо вывесил на заборы рабочего поселка приказ, где обещал отправить всех «бунтовщиков» на фронт, если они немедленно не приступят к работе. «Военный завод в военное время не может стоять ни одного дня».

Кланверис чувствовал себя на заводе необходимым ежедневно, днем, ночью — всегда: большевики были всюду нужны. Эсеры, меньшевики, анархисты стремились влиять на рабочих. Большевики же старались это влияние ослабить.

В конце февраля Кланверис вывел товарищей из цеха на демонстрацию. Сердце его радостно вздрагивало: обуховские рабочие заполнили весь Шлиссельбургский проспект.

Ян увидел в рядах Кришанину, которую знал по кружку давно. Повязанная пуховым платком, в бархатной шубке, Вера весело помахала ему рукой.

Когда за Станционной демонстрантов остановил Семе-

повский полк и солдаты взяли винтовки на прицел, Ян бросился к Вере, схватил за руку и потащил: ему казалось, что именно в нее направлялись дула винтовок.

Освежающая бодрость, ощущение полной свободы овладели Яном в тот день. Он пел:

Отречемся от старого мира,
Отряхнем его прах с наших ног.

И Вера Степановна высоко вскинула голову, словно клялась небу в том, что да, действительно она отрекалась от всего старого на веки веков.

Ян был уверен, что она сейчас пойдет на смерть, на пытки, если это будет нужно партии.

И когда у Александровского завода появился отряд конной полиции, никто не оборвал песни. Продолжали петь торжественно и строго. На конников смотрели спокойно. Те, подняв над головами сабли, ринулись на демонстрантов. Кланверис через дворы вывел Кришанину к центру города.

Тут на Яна налетел жандарм, сбил с ног.

— Нет, подожди, ты от меня не уйдешь! — прошептал Кланверис. И испугался ненависти, которая взбодрила его.

Жандарм занес над ним ногу. Гвозди, гвозди с белыми шляпками глядели на Яна с огромной подошвы сапога. С силой схватил Кланверис эту тяжелую ногу и дернул. Жандарм рухнул. Оба, усталые, с минуту лежали рядом на снегу. Стремительно Кланверис сел, схватил жандарма за горло.

После, вспоминая о драке, Ян дрожал от ненависти и гнева. Напряженное, побагровевшее лицо, злобный оскал зубов, вытаращенные водянистые глаза жандарма то и дело всплывали перед ним.

Вскоре рабочие Обуховского завода выбирали депутатов в Петербургский Совет.

...Ревел не переставая гудок. Над воротами впервые полоскалось красное знамя.

Восторженное настроение владело Яном недолго: хоть рабочие и победили, трон рухнул, но эсеры и меньшевики не переставали кричать и улюлюкать, когда называлось имя большевика.

Ян особенно возмущался тем, что в Совет от обуховцев прошел эсер.

«Ослабили тюрьмы да застенки нашу партию»,— думал он.

В годы войны завод разросся. Пришло много крестьян, которые не во всем разбирались, верили эсерам, что, свергнув царя, рабочие совершили главное и революционная борьба закончена.

На кружке, в старой кирпичной школе, Вера Кришанина говорила, что борьба продолжается. Именно она и сообщила, что скоро к ним на завод приедет Ленин.

Рабочие начали готовиться. Убирали помещение, украшали трибуну кумачом.

Одно за другим собрания, на которых разоблачали эсеров.

В день приезда Ленина большая башенная мастерская была переполнена. На станках, на недостроенных машинах, на дулах орудий — всюду стояли и сидели люди. Были не только обуховцы. Приезда Ленина ждали нетерпеливо.

Патрули сообщили, что Ленин едет. Уже близко. Вот он. Рабочие окружили старую машину с высоким верхом. Открыли дверцу. Вот он.

Дважды видел Кланверис Ленина. И каждый раз Ленин раскрывался для него по-новому.

Распахнуто потертое пальто. Под ним черная пара, белая манишка, черный галстук. Порывистым жестом Ленин приподнял над головой зеленую кепку и что-то сказал, улыбаясь. Движения его легки и быстры. Огромный лоб бледен.

Рабочие махали руками, платками, выкрикивали приветствия. Стоял шум, и первых слов Ильича никто не разобрал. Он тоже замахал рукой, чтобы приостановить приветствия.

— А ты говорил, что опоздает! Ленин никогда не опаздывает,— громко сказал кто-то рядом.

Пройдя по живому коридору, поднялся Ленин на трибуну, запихнул измятую кепку в карман пальто и оглядел высокие своды мастерской, улыбнулся людям значительно и сердечно.

Все были уверены, что с этого дня, вот с этой минуты на заводе все пойдет по-другому.

Ленин говорил. Слова звучали отчетливо, решительно. До самых отдаленных углов мастерской доносилось:

— Временное правительство всеми силами пытается

умертвить революцию, многое обещает, но ничего не дает, ведет предательскую политику по отношению к рабочим.

Голос сильный, звучный. Ленин чуть наклонился вперед, стал тверже, собраннее, скупой короткий жест рукой будто подчеркивал сказанное.

Рабочие сгрудились у трибуны так тесно, что было не видно рельсов узкоколейки, проходящей по мастерской.

Напряженная тишина была прервана резким свистом. Держась за дуло орудия, свистел староста станочной мастерской эсер Фигель, человек с наглыми, навыкате глазами. К нему бросились несколько рабочих.

Кланверис поймал его за ногу. Большой сапог с гвоздями на каблуке. Закружилась голова. Ненависть и гнев сдавили горло. Ян стащил с орудия эсера. Фигель шмыгнул в толпу.

Свист теперь летел из разных углов мастерской. Кто-то оглушительно бил о железо молотком.

Владимир Ильич, несколько склонив голову, продолжал стоять на трибуне. В лице его не дрогнул ни один нерв, как будто он заранее знал, что встретят его именно так, что будут мешать говорить, и заранее решил, как держаться.

— Шпион немецкий! — крикнули в задних рядах. Кто-то громко зааплодировал.

— Расскажи, как в пломбированном вагоне ехал?

Рабочие возмущенно шумели:

— Это хулиганство!

— Перестаньте! Глупости это!

— Не слушайте их!

А Ленин все стоял и молчал, следя за собравшимися. Всем было ясно, что он упрям и настойчив и что враждебный крик для него лишь минутная помеха. В энергичном лице, смягченном сейчас, не волнение, а скорее досада, что мешают напрасно; ни хулиганские выкрики, ни улюлюканье не сломят его волю — вот что увидел и понял в те минуты Ян, не отрывая взгляда от лица Ильича.

И он закричал:

— Не путайтесь у нас под ногами! Дайте говорить! Вождь говорит!

Эти его слова были нужны. Их, казалось, ждали и немедленно подхватили:

— Дайте говорить Ильичу!

— Пусть только попробуют еще!

И шум стих, снова наступила напряженная тишина. Ленин с гневом продолжал.

— Неужели вы не понимаете, что враги наши клевещут на большевиков, чтобы подорвать их силу, их влияние. Ни меня, ни кого другого подобные вымыслы не пугают. Я приехал на родину, чтобы занять свое место в рядах революционеров! — бросал он фразы спокойные, ясные и очень важные.— Что обещают народу эсеры и господин министр Чернов? Землю. Но их обещания лживы. Нам нужно самим взять ее незамедлительно! Не спрашивая на то повеления Учредительного собрания.— Резким движением руки Ильич, казалось, сметал с пути все, что мешало.

Оглушительно засвистел паровоз и въехал в мастерскую по узкоколейке. Ленин умолк.

Рабочие отступили в сторону, невольно освобождая пути.

Это был замысел врагов: не дать Ленину говорить.

Ян, расталкивая толпу, ринулся к паровозу. За ним бросились еще несколько человек. Лица их были страшны.

Гудок смолк. Машинист испугался и задним ходом вывел паровоз за ворота.

Не медля, Ленин заговорил:

— Война, которую продолжает Временное правительство, никому не нужна. Будем бороться против нее. Эсеры и меньшевики не в силах противиться нам. Мы — народ, они — жидкая кучка. Будем бороться. Обуховский завод должен стать большевистским. Мы превратим его в красный бастион, в бастион революции. Я верю, что пролетариат Обуховского завода не изменит революционным традициям.

Около самой трибуны стояла Кришанина, полуоткрыв рот, не мигая смотрела на Ильича. На ее лице отражались, казалось, все ее мысли. Полные губы были сини от гнева. Кланверис впервые подумал тогда о том, сможет ли взять ее руки в свои ладони, посмеет ли? Но тут же эти мысли заслонили ненависть к врагам и жажда мести.

«Я — революционер. Прежде всего революционер. Я должен быть в строю. Революция очищает путь будущему от всего устаревшего и несправедливого... И как же славно сказал Владимир Ильич: «Я приехал на родину, чтобы занять свое место в рядах революционеров!» — Эти

слова чем-то очень радовали Кланвериса.— Да, да! Я тоже революционер! Я никого никогда раньше не убивал, но и я убил вредного народу человека. Значит, я прав».

6

Давно Вера Степановна хотела рассказать мужу о чувстве Кланвериса к ней, но все не решалась: слаб Константин, как бы в запальчивости не наговорил Яну лишнего.

Что слаб он, женщина поняла еще в первые годы жизни с ним. Не хватало ему твердости, ясности. Да и знаний было маловато. Он старался стоять в стороне от политической борьбы. Однако жене не мешал ни в чем.

Каждодневный спор между ним и Кланверисом о политике в деревне всякий раз доказывал Вере, что муж боится всего, что может нарушить обычный ход жизни, и что он недальнозорок, готовясь только к мирной жизни, когда борьба неизбежна. Он уступает и сдается в спорах немедленно, как только она, Вера, выскажет свое мнение, как будто ее мнения достаточно на двоих. И даже когда Вера поддерживает Яна, как чаще и бывало, Константин немедленно присоединяется к ним.

Хотела Вера Степановна поговорить и с Кланверисом, но... боясь что-то утратить, молчала.

После слов Федора Пискунова в отряде разговор этот стал неизбежен: отношения Яна к ней стали уже заметны всем, и им нужно положить конец.

«Как не стыдно! — мысленно упрекала она Яна.— Дурной молве всегда верят. Для чего подавать повод неверным догадкам? Нет, я должна поговорить с ним».

Она только боялась, что с этим разговором кончится дружба.

То и дело она обращала внимание Яна на Саню. Саня — неопытная еще учительница. С осени начнет работать в школе, в их школе. Красивая, дружелюбная ко всем. С ней Яну будет хорошо.

В это утро, когда Константин и Кланверис собирались уходить, чтобы еще раз похлопотать о земле, Саня проводила Яна на улицу.

Вера Степановна видела из окна, как он перенес девушку через лужу, как они о чем-то горячо говорили.

Двигался он осторожно, как будто еще не полностью овладел своей силой, но чувствовал ее. Над его большой

головой — шапка темных волос. Во взгляде недоверие ко всему и любопытство.

Саня отстала. Он часто оборачивался, уходя, и махал ей рукой.

Это непонятным образом смущало и обижало Веру Степановну.

«Что со мной? — думала она растерянно.— Ведь не люблю же я его... Костя хороший и честный. Отец моих детей. Я не дам, ни за что не дам ему повода для тревоги. Да, он никогда не поможет мне перейти лужу, но в этом виновата я сама: слишком я с ним самостоятельна, не показывала никогда женской слабости. А так устала я быть старшей! Так хочется быть маленькой!»

Последние слова вырвались у Веры Степановны вслух. Но Саня, уже стоявшая рядом у окна, не обратила на них внимания. Она в нетерпении смотрела на дорогу. Ждала Яна. И это опять-таки какой-то стороной больно ударило Веру Степановну.

«Вот и хорошо! Пусть так и идет! Ведь сама же я этого хотела».

К ней подошел Сережа и сказал жалобно:

— Мам, заноза...

Да, в ладонь мальчика глубоко вонзилась заноза.

Кришанина рассмеялась над собой: дети все время требуют ее участия и забот, а она позавидовала молодому чувству Сани!

Но осадок горечи и непонятной грусти не исчезал.

Мальчику было больно. Однако губы его были сжаты. Он не морщился, не плакал и не отводил от ладони глаз. Такой силой веяло от детского лица, что Вере Степановне отчего-то стало покойно, почти весело.

Пока она возилась с занозой, в общежитии что-то произошло: часть коммунаров собралась в большую комнату, бывшую церковь при семинарии, там же оказался священник, и началась служба.

Саня пожаловалась:

— Служат молебен... Дядя Иван очень будет огорчен.

Кришанина с нетерпением посмотрела в окно.

Дороги разбухли, почернели. На мостовых блестели лужицы. Ветер бороздил их мелкой зыбью. В низинах еще лежали грязные струпья снега. Опьяняющей свежестью пахла вешняя земля.

Вот они идут, Кланверис и Кришанин, оба по-молодому взволнованные.

Кланверис разглядывает какую-то бумагу; бумага переходит в руки мужа, тот тоже на ходу заглядывает в нее.

Стеклянно звенит капель. Свистят, щелкают скворцы. Все словно поет от радости, что пришла весна, что светит солнце.

Тщательно вытирая ноги о рогожу, брошенную к крыльцу семинарии, правленцы оторопело переглянулись: из помещения неслось церковное пение.

Их встретил настороженный взгляд Веры Степановны.

Спиной к входу стояли коммунары, смотрели на старые иконы, истово клали кресты. Впереди священник в серебряной ризе размахивал кадилом и тянул:

Миром господу помолимся...
Многая лета-а! Многая лета-а...

— Что здесь происходит? — хрипло спросил Константин Васильевич жену.

— Молебен. Во славу победы над бандитами в волости и во славу нашей коммуны.

— Пискунов?

Вера Степановна кивнула.

Саня бросилась к Яну:

— Товарищи! Это же позор!

— Позор! — зашептал, стоя в дверях, Федор Пискунов.— Я с ними жить не буду... Я не хочу...

Молодежь волновалась:

— Прекратить это моленье... Собрание коммунаров надо!

— Бегите в окружной суд, зовите остальных! — приказал Кланверис.

Поднявшийся шум встревожил молящихся. Многие оглядывались. Священник с тревогой сверлил глазами столпившуюся у входа молодежь, но молебна не прекращал.

— Долой! — закричали ребята и засвистели.— Долой!

— Позор Пискунову!

У священника фанатично сверкнули глаза. Он громко провозгласил:

— Божий дом — добрый дом: в нем всегда рады грешникам! Молитесь, и да простится вам все.

Старухи окружили его. Священник стащил блестящую ризу, сложил в ящик кресты и кадило. Сопровождаемый старухами, направился к выходу.

Навстречу уже бежали коммунары, живущие в здании суда. Молча, недружелюбно сторонились, пропуская священника, затем ворвались в семинарию.

Вокруг Матвея Пискунова сгустилась толпа. Пристально всматривался он в цветные гневные лица богов на иконах. Впалые щеки побелели, седые брови нависли с укором.

— Один действуешь? — спросил Клаверис глухо.— Почему с правлением вместе не думаешь?

— Не надо нам богомаза в председатели!

— Константина Кришанина председателем!

Вера Степановна испугалась: вдруг в самом деле изберут Костю председателем? Он же не справится, он слаб... У него нет твердых убеждений. Она увидела, что Федор Пискунов, видимо тоже не ожидавший такого исхода, закусил губу и пошел к двери, где столкнулся с братом. Большие торчащие уши Аркадия были красны. Федор кивнул на толпу:

— Почему не молишься?

Аркадий заплакал, по-детски всхлипывая и пряча взгляд от ищущих глаз брата.

Матвей Пискунов стоял в толпе безучастный и серый.

Елизавета выступила вперед, визгливо крикнула:

— Священника требуем взять с собой в коммуну.

Ответом были общий смех и свист.

— Когда дела принимать будешь, Константин? — вяло спросил Пискунов.

— Мне не нужно их принимать. Я их знаю.— Кришанин потряс над головой бумажкой.— Землю дали! Пароход и баржу обещали...— Он достал из кармана другой лист бумаги, рябой от цифр, смету расходов на оборудование.

Вера Степановна, вся сжавшись, стояла позади: справится ли?

Ей памятны были давние споры с ним в Питере.

Когда поняла, что он не во всем разделяет ее веру, было поздно что-то менять. К счастью, у Константина Васильевича был ровный и спокойный, не очень настойчивый характер. Однако ее продолжала удивлять его политическая слепота: до сих пор он не понимал, что рабочие — это одно, а крестьяне — мелкие собственники — совсем другое.

Это его недомыслие и пугало Веру Степановну. Во многом он еще не разобрался. Пугало и за него самого, и за коммуну, которой он безрассудно согласился руководить.

В дверях семинарии появился Вавилов.

— Привет бойцам! — Он энергично врезался в толпу. Решительный, грубоватый голос его был слышен и в многоголосном шуме.

Стараясь сохранить бодрость, Вавилов сообщил:

— Товарищи коммунары, недавно высадился во Владивостоке японский и английский десант. А Временное правительство сформировало корпус из военнопленных чехов и словаков... Советы предложили этому корпусу сдать оружие и разрешили отправиться домой через Сибирь и Владивосток, через Украину нельзя: там немцы. Командуют корпусом белогвардейцы, эсеры и меньшевики. Они подготовили мятеж. Всем ясно, какая это сила — десант японцев, англичан и чехословацкий корпус? — Вавилов помолчал, оглядывая всех тревожными глазами.— Семипалатинск объявил запись добровольцев в ряды Красной Армии. Мы понимаем, что перед вами стоит большая цель — построить коммуну. Но, может, и у вас найдутся добровольцы? — Он говорил поспешно, словно боялся не успеть всего сказать. Вьющиеся светлые волосы, выбившись из-под папахи, прилипли к вспотевшим вискам.

С криком двинулась на него Елизавета Пискунова:

— Не дам сыновей!

А Федор уже стоял около Вавилова и требовательно смотрел на него. После ранения Татьянки, после своих грубых слов, брошенных Кланверису, он не находил себе места. Ему казалось, что все его считают мальчишкой, все презирают и всем будет легче, если он уедет из коммуны.

Федор повторял:

— Возьмите меня!

Вмешался Кришанин:

— Федор Пискунов останется здесь. Он нужен нам. Он кузнец.

Вавилов пробрался к столу, записывал фамилии добровольцев.

Геннадий Кришанин, дергая отца за рукав, твердил:

— И меня, пап, и меня. Мне уже семнадцать! Пап!

Кришанин глазами отыскал в толпе жену. Она молча кивнула.

— Запишем и тебя,— невнятно произнес он.

Один за другим подходили молодые коммунары к столу, громко называли себя.

— Через час сбор у меня,— распорядился Вавилов уходя.

Начались проводы. Быстро доставали мешки, белье, из всех комнат неслись голоса:

— Береги себя, сыночек...

— Письма пиши на Вавилова, он найдет нас.

— И чего этим иностранцам надо — не дают спокойно жить?

— Не доехать до коммуны, раздергают нас поодиночке.

Перед семинарией было людно.

Вера Кришанина стояла у подъезда перед сыном, уже одетым по-походному. Парень смущался: он всегда чувствовал себя перед матерью мальчишкой.

— Как же ты будешь жить там? — рассеянно спросила Вера Степановна, понимая, что спрашивает не о том, о чем нужно.

Геннадий ответил, не думая:

— Бегом!

— Бегом — путь короче,— вмешался в разговор Кришанин, обняв сына за плечи. Кругом засмеялись. К Геннадию прилип Сережа, глядел на брата и удивлялся: перед ним уже не товарищ по играм, а взрослый мужчина.

— Что бы ни случилось, учись только хорошему,— наставляла мать, стараясь отогнать от себя беспокойство.

Геннадий с улыбкой сказал:

— Я выбрал дорогу...— И, дотронувшись до головы матери, воскликнул: — У тебя седой волос! Совсем молоденький... Нежненький.

— Строиться! — скомандовал Кланверис.

Молодежь молча построилась.

В наступившей тишине прозвучал ворчливый, но уже успокоенный голос Елизаветы Пискуновой:

— Молебен дослужить батюшке не дали... Свой молебен завели! К смерти молодых парней позвали!

Вера Степановна шла за отрядом до поворота в какой-то тесный переулок. Здесь отстала, прислонилась к березе, растущей у дороги, все силясь разглядеть в строю сына. Отряд повернул к площади.

Геннадий оглянулся, махнул фуражкой.

Неожиданно около Кришаниной остановился Кланве-

рис, поглядел внимательно в лицо, будто хотел облегчить горе, отвлечь. Неужели он думает, что она позволит себе показать кому бы то ни было свою тоску?!

У вершины березы на ветке посвистывал скворец. Вере Степановне показалось, что и скворец и ветка — все мчится куда-то мимо свитых клубками белых облаков.

Она сказала:

— Оставь меня, Иван. Хочу побыть одна,— и побрела прочь, не разбирая дороги, мысленно следуя за сыном. Мальчик не поступит неосторожно или неправильно. Она верила в него.

Знала, что дети будут хорошие, если родители относятся к ним внимательно. Ей не приходилось этого доказывать мужу. Оба, не сговариваясь, прививали сыновьям любовь к труду и правде. Никогда не повышая тона, поощряли похвалой, не придирались к ним по мелочам, подсказывали, что нужно, незаметно и осторожно, стараясь не подавлять воли. И они выросли. В этот день Вера Степановна это особенно почувствовала. Когда Константин записал старшего в отряд, женщина гордо посматривала на всех: это она выпестовала такого орлика! И в то же время ей было грустно оттого, что мальчик отныне будет жить самостоятельно. Тревога за его жизнь ныла где-то глубоко, не выходя наружу. Вера Степановна возвращалась глухим переулком: нужно скрыться, чтобы никто не увидел слез. Пряча от встречных мокрое лицо, шептала:

— Сынок мой! Орлик мой! Где ты сегодня ночуешь? Не пожил ты еще у меня, не нарадовался. Трудно нам, мальчик.

Никогда ни одному человеку не сказала бы она этих слов. Ни перед кем не проявила бы слабости!

Солнце садилось. Слякоть шипела под ногами.

— Если ты понимаешь,— все обращалась женщина к сыну,— что иначе нам поступать нельзя,— тебе легче будет. Мы не должны прятаться. Так нужно.

Перед ее глазами стоял сын, качался, как стебелек. На лице улыбка сожаления и тревоги: «Мам, у тебя седой волос! Совсем молоденький... Нежненький».

Новый взрыв отчаяния всколыхнул тело.

«Не плакать... не плакать,— приказывала себе Вера Степановна.— Пора вернуться. Спохватятся. Ну успокойся, довольно...» Обмахивая опухшее от слез лицо ладонью, она повернула обратно.

7

Хоть и сказал Константин Васильевич Кришанин, что знает дела, но растерялся: нужно было до открытия навигации закупить семена, лошадей, плуги.

Кормить людей было нечем. Каждая семья питалась отдельно, меняя вещи на продукты. Но у одних имущества было больше, у других — меньше. Были и такие, которым менять было нечего. Это людей разобщало.

Новый председатель придумал выход: на собрании предложил коммунарам сдать в общую кассу ценные вещи. Поднялся шум.

— А у твоей жены обручальное кольцо на руке! Почему не с нее начинаешь? — кричала бойкая молодая работница.

Константин Васильевич прошел по рядам, остановился перед женой. Она молча сняла с пальца кольцо.

Катерина Важенина, отстегнув от ушей золотые круглые серьги, со стуком положила их на стол. Женщины наперебой предлагали:

— А я, Константин Васильевич, платье подвенечное отдаю. Атласное: второй раз замуж не собираюсь.

— Я — полушалок кашемировый жертвую.

— А я ничего не дам! Коммуна кормить нас должна.

— Тогда и я полушалок не отдам. Я за него пуд хлеба возьму да тебя, скрягу, кормить буду?!

Кланверис подбежал к столу, стащил с себя черную кожаную куртку.

— В шинели легче.

Мужчины один за другим выходили вперед.

На столе росла куча рубах, шинелей, сапог.

Отрывочные мысли мешались в голове Кришанина: «И почему мне страшно руководить? Народ хороший. С ним все можно сделать. Только вот беда: большинству сельский труд совершенно незнаком. Нам придется учиться работать».

Его раздумья прервал визгливый женский крик:

— Это куда ты одеяло-то несешь? Это я еще в приданое принесла от матери-отца. А ты отдаешь!

Женщина в длинном синем платье выскочила вперед и, схватившись за красное шерстяное одеяло, тянула его от мужа к себе. Тот, смеясь, отталкивал жену, вырвал и бросил одеяло на стол.

— А вы записывайте, правленцы, кто что отдает! Этак и растерять вещи можно! — крикнул рябой рабочий.

Его поддержал человек с узким лбом и маленькими глазами:

— Учет... Учет прежде всего! — и одиноко рассмеялся.

Кланверис поманил к столу Саню:

— Записывай, беленькая.

Кришанип думал:

«Люди. Каждый по-своему понимает коммуну. Иной может из-за старого одеяла ссориться. Другой отдает последнее платье. Один завидует, не доверяет. Другой отдает делу сердце, любит каждого».

Огромный зал семинарии набит битком. Люди все разные. «Люди. Вот они, все здесь. Знать бы, что двигало ими, когда снялись с места и поехали в неизведанную жизнь? Ведь у каждого своя цель».

У Константина Васильевича закружилась голова, застучало в висках: не страшна новая жизнь, если все идут к ней с открытыми глазами и чистой душой. Страшно то, что люди разные, и ему нужно, обязательно нужно создать одно целое, одну семью. Нужно следить за настроением каждого, чтобы ни один человек не оказался в стороне.

Константин Васильевич снова остановился перед женой:

— Понимаешь, кольца мало. Что бы еще отдать?

Она и он отдали самое дорогое — сына, который никогда не видел близко смерти. Он увидит смерть и раны, может, погибнет сам. Их роднила сейчас боль, которая у обоих поднималась, подступала к горлу.

Чтобы не закричать, Вера Степановна поспешно сняла с себя пуховый оренбургский платок, протянула мужу.

— Вот,— сказала она весело.— За него много хлеба дадут.

Константин Васильевич взял платок, прижал его к лицу и вдохнул запах сырой улицы и чуть уловимый, тонкий аромат давних духов. Рассмеялся и вернулся к столу.

«Хорошо... Ничего не заметил... Тревожить его не нужно. Я поплакала и за него...» — подумала Вера Степановна.

Когда сбор вещей закончился, Кланверис сказал:

— Задача трудная — удержать людей... Не дать уйти обратно в старый мир. Мы должны воспитывать. Предупредить раздоры, чтобы ничего не разъедало товарищест-

ва. Не обвинять никого, не упрекать, а воспитывать...— Кланверис посветлел, обрадовался, что нашел это слово — «воспитывать». Именно воспитывать, чтобы все как можно скорее усвоили, что такое коммунизм, к которому они первые прокладывают дорогу. Не спускать ни с кого глаз.

Вера Степановна подумала:

«А я хотела рассказать Косте об Иване. Да ведь это так разобщило бы нас всех! Нет, никогда ничего не скажу я ему!»

Кланверис продолжал:

— Предлагаю изучать труды Ленина по группам. Читать вслух и разбирать. Только когда усвоят ленинскую мудрость, не будет у нас ни собственников, ни трутней, ни завистников! — Он отыскал глазами Кришанину, кивнул и спросил: — Вам, Вера Степановна, не впервой вести кружок?

Уловив в голосе Яна осторожную вкрадчивость, Вера Степановна поняла: «Отвлекает... боится за меня» — и, тронутая его заботой, поднялась с места: пусть он не думает... пусть никто не думает, что она ослабла. Громко, на весь зал, произнесла:

— Я согласна...

8

«Я нужен! Нужен!» — твердил Федор. Слова Кришанина не выходили у него из головы. Он нужен! Теперь Федор каждый день вместе со всеми ходил к Иртышу, стараясь подкараулить ледоход.

Шла подготовка к празднику, и Федор в самом деле был нужен. Парней в коммуне осталось мало. И братья Пискуновы были нужны всюду. Они пели, читали стихи, старшие играли на гармошке, писали лозунги.

Утром Первого мая Федор проснулся с ощущением праздничного ожидания и непонятной радостной тревоги. Еще не поднимаясь, увидел, как Аркадий уходит в боковую комнату, откуда уже неслись звуки пианино. Играла Саня. Федор соскочил, крадучись пошел за Аркадием. Там был уже и Мишка, младший Пискунов, восторженно следил, как бегали пальцы девушки по клавишам. Аркадий порой и сам тыкал неловкими пальцами в клавиши, желтые от времени, тугие и холодные. Педаль скрипела.

Саня приостанавливала игру, приободряла мальчика:

— Ну, ну! Только не растопыривай пальцы. Ставь их, как будто яблоко держишь! Сколько раз я тебя учу...

— Не получается у меня...

— Учиться надо с детства. Теперь уже труднее. Я у тетки жила. Она меня и выучила.— Саня вздохнула, вспомнив, с какой радостью отпустила тетка ее от себя: с шеи груз!

— А если мне пятнадцать лет... я уже не научусь?

— Почему? Научишься...

Аркадий долго, сосредоточенно соображал.

— Научусь. Обязательно научусь,— заявил он наконец.

— Зачем тебе? — спросил Федор.

— Нужно,— кратко отозвался братишка.

— Музыкантом он у нас будет! — насмешливо поддразнивал Мишутка.

— Музыкант! — поддержал Федор.— С суконным рылом в калашный ряд!

Братья очень походили друг на друга. Только Федору и Аркадию достались черные отцовские глаза, а у Мишки — серые, от матери. Все трое круглолицы и румяны, с чуть вздернутыми носами. К Федору младшие относились с почтением, охотно выполняли его поручения.

Но теперь Аркадий при словах брата гневно вспыхнул.

— Ты что? — спросила Саня.— Обиделся? Зря, Федя ведь шутит.

Веселой стайкой направились они к Иртышу. Долго смотрели с крутого берега на почерневшую вздувшуюся реку, на кочковатый лед.

— Скорей бы уж он таял. Скорее бы нам добраться до места.

Было тихо. Над рекой висело набухшее небо. Кричали скворцы. Во всем: и в этом небе, и в пении птиц в палисадниках, и в притаившейся реке — чувствовалась особая тишина и настороженность. Казалось, все ожидает чего-то, напряженно подкарауливает какое-то чудо.

И вдруг чудо пришло: лед гулко треснул, раскололся поперек реки, разошелся. Никто еще не понял, что происходит, как послышался оглушительный грохот.

Ребята радостно переглянулись.

Щель расширялась. Края ее подламывались. Вода бурлила в проемах.

— Ледоход! Начался ледоход! — подпрыгнул Мишутка.

Берег заполнялся празднично одетыми горожанами.

Мелкий лед грудился. Осколки напирали друг на друга, вставали дыбом.

Любоваться ледоходом долго не пришлось: за ребятами прибежал Сережа Кришанин.

— На площадь выходим... Знамя достали! — сообщил он задыхаясь.

Сердце Федора колотилось. «Знала бы Таня, что уже лед пошел... И что Кришанин сказал обо мне: я нужен, я нужен!» — снова мелькнуло в его голове.

Сережа поглядел на него и неожиданно громко рассмеялся.

— Ты чего?

— Знаешь, ты какой сейчас, Федя? — Мальчик заложил руки в карманы брюк, вскинул кудрявую голову, прищурился и сложил губы в одну тонкую линию.

Портрет был так точен, что все захохотали. Смеялся и Федор: да, наверное, так выглядит нужный всем человек.

Шутливо он хлопнул мальчика по плечу:

— Ах ты, комик кудрявый... Изобразил.

Коммунары строились на улице. У домов грядой толпился народ. Старуха в цветной юбке, широко взмахивая рукой, крестилась. Бежали все в одном направлении, как подтаявшие льдины, налетая друг на друга.

Донеслось пение людей, двинувшихся к площади. Толпа бурлила, ее несло, словно поток.

— Ох и людно же!

— Плюнуть некуда...

— Жалко, Татьянка в больнице...

Федор впереди держал новенькое древко знамени.

Он не мог понять, как, откуда в грудь хлынула радость, какие-то слова затеснились в голове, слова о кровной близости к людям.

Девчата звонко запели:

Смело, товарищи, в ногу!
Духом окрепнем в борьбе...

Песни звучали в это утро по-новому, точно родились только что. Все усердно и радостно подхватили:

В царство свободы дорогу
Грудью проложим себе.

Степенные пожилые коммунары басили сзади:

Вихри враждебные веют над нами...

У многих на груди приколоты красные банты. Казалось, плывет весь город, красный шелковый город; плывут переулки, улицы, все к площади, к центру, где высится высокая трибуна, обвитая красным кумачом.

Через колонну коммунаров тянулись лозунги. На площади с рвением играл оркестр.

Уже запружены были все тротуары, а толпа все росла.

— Нагрудилось народу-то!

— Закипели силы!

Вдоль тротуаров журчали ручьи. Прошел Кланверис к трибуне.

По толпе словно пронесся вихрь, в воздухе замелькали шляпы, фуражки. Комиссар от имени питерских рабочих поздравлял семипалатинцев с праздником.

Знамена плескались над головами. Звучали песни, вспыхивая то там, то здесь.

Федор, не вслушиваясь в слова ораторов, оглядывал лица товарищей: все взволнованы, у всех блестели глаза.

Когда демонстранты колоннами двинулись по улицам Семипалатинска, Федор, тихонько выйдя из рядов, быстро направился к белому зданию городской больницы, в которой лежала Таня. Он часто ходил сюда, справлялся о здоровье девушки, но к ней его не пускали.

Казалось, в этот день произошло нечто важное, никто теперь не держит в сердце недоверия, все очистились от злобы, любят друг друга и понимают.

И Татьянка поймет, что отец сам по себе, а он, Федор, сам по себе; отец — старый человек, верит в бога, придерживается обрядов, а он, Федор, их отрицает. Отец и сын не одно и то же. Хотелось ему, чтобы Таня узнала о словах Кришанина: «Федор нам очень нужен!» Он постарается, чтобы эти слова как-нибудь дошли до девушки.

Хотелось видеть Таню в этот день. Однако Федор боялся злого ее языка и не знал, с чего начнет «переделывать» ее. Может быть, поэтому и шел он медленно, как бы плывя против течения, долго бродил вокруг больницы, заглядывая в забеленные окна. Наконец поднялся на крыльцо.

Маленькая хорошенькая сестра встретила его веселой улыбкой:

— Очнулась. Еще вчера. В бреду все вас звала. Сейчас можно ее и повидать. Надевайте-ка халат. Там у нее уже один гость сидит... Все тоже навертывался к ней.

Сердце Федора учащенно забилось. «Кто может еще наведываться к Татьянке?» — ворошилась ревнивая мысль.

Бесшумно открылась маленькая белая дверь в палату.

Девушка лежала у окна. Подстриженная голова, покрытая легким курчавым пушком, походила на мячик.

Около нее сидел Вавилов. Солдатская гимнастерка выглядывала из-под распахнутого халата, блестели узкие сапоги.

Он поглаживал белую руку Татьянки. Это Федор заметил прежде всего и попятился. Всплыла старая обида: «Надо мной смеялась... За грехи отца мучила...»

Таня тихо освободила руку и сказала прерывисто:

— Садись, Федя...

Федор сел на койку в ногах девушки. Белый халат на Вавилове плыл перед ним, как отражение в мутной воде, дробился, распухал. Фиалковые глаза его, снисходительные и живые, множились.

Таня быстро сообщила:

— Меня в окружком на работу с молодежью сватают... Уж который раз приходят...

— Значит, изменишь коммуне?

— Не знаю...

Его вопрос и уклончивый ответ Тани рассердили Вавилова.

— Как это, Пискунов, ты сразу,— отрывисто заговорил он: — «Изменишь»! Мы делаем с вами одно дело!

Таня, протянув руку к Федору, попросила:

— Рассказывай, как там у вас?

— Праздник сегодня... Готовились неделю, пели да плясали...

— Ой, как жаль, что я лежу! Пуля проклятая приласкала, вот и маюсь.

Федор чуть было не сказал, что и ему жаль, и всем коммунарам жаль, что ее с ними не было эти дни, но, взглянув на Вавилова, промолчал.

— Наши песни пели? Пусть знают их в Семипалатинске. А может, меня на днях выпустят?

— Не торопись...— посоветовал Вавилов.— Как бы хуже не стало...

Федор сдержанно смотрел в тонкое лицо девушки и ждал, когда Вавилов уйдет.

Видимо, и Вавилов ждал, когда уйдет Федор.

Их обоих попросила освободить палату сестра: лукаво посматривая, пригласила приходить в другой раз.

Федор сухо попрощался с Таней и, громко стуча сапогами, вышел, решая мысленно никогда больше не заходить к девушке. «Переделал!» — смеялся он над собой.

Город зажигал редкие огни, тонкие и острые. Лаяли собаки на окраинах, то сполошно, вспугнутые кем-то, то просто от скуки, добродушно-лениво.

Под ногами похрустывала подмерзшая к ночи колея.

Домой идти не хотелось. Далеко разносился от реки запах сосновых досок, рыбы, рогож.

Вокруг пристани тоже горели редкие фонари. Здесь и в праздник не прекращалась работа. Река металась в своем ложе, вздымала кверху желтую пену. Вспомнилась Нева.

Сердце сжалось от тоски по родному городу, где все было так просто и так ясно. В каждом всплеске волны Федор видел Неву, в каждом фонаре родную улицу.

Здесь и там, в новом месте, где они наметили строить жизнь, отец с его беднями будет мешать.

Никогда и ни к кому Федор не испытывал такой злобы, как сейчас к отцу. Злобы и стыда за него.

«Ничего старому не удается: землю отхлопотали другие члены правления, и семена получил не он, и пароход, и баржу... Отец только молился. Как повеселели коммунары, с какой надеждой следят за новым председателем! Да и мне ничего не удается. Вот Таня отвернулась. И зачем я ее ягодкой называл?! Слова от сердца отрывал... Ягодка-то горькой оказалась.

Нет! Не нужен я! Зря Кришанин сказал! Зря я надеялся. Не нужен! И о какой борьбе говорил Кланверис? Все мирно... Вот в борьбе я был бы нужен. А сейчас — нет».

9

Скворцы купались в лужах, крыльями обдавая себя водой. Высокими струями выбрасывался пароходный дым и развеивался, не оставляя следа.

Лодки у причала уже обновлены свежей краской, белые, голубые, розовые, чаще с яркой каймой. Шум волн

замирал на песке, сливался в один вздох. Вот волны отхлынули, в прозрачной воде видна гладкая галька, и снова вода наплывает на берег.

Недалеко от пристани — несколько сосен. Крепкие мшистые ветви шатром покрывали небольшую полянку. Федор долго лежал здесь в тени, ожидая отплытия парохода. Баржу уже погрузили, и он отдыхал.

«Может, не стоит ехать в коммуну? Пойти к Вавилову и взять направление в отряд?»

Воспоминание о Вавилове больно отдалось в сердце. Коварство Татьянки наливало тело тяжелой яростью. «Ручку он ей гладил! Как в волшебных картинках!.. Нет, не нужен я здесь! Не нужен!»

Федор сел, чтобы видеть пароход.

Вот он — небольшой, чистенький «Алтай», который скоро увезет их отсюда. За ним стояла баржа с просмоленными боками, низко осевшая под грузом.

Коммунары поднимались на палубу пароходика, хотя до отплытия оставалось еще много времени. Ребятишки бегали то на палубу, то на пристань.

«Вот если спохватятся, искать меня будут — поеду! Если забудут — пойду к Вавилову»,— загадал Федор. И опять сердце больно забилось: кудрявый и веселый Вавилов мерещился ему врагом.

«Пойду к нему и спрошу: «Как Татьяна Орлова поправляется? Я больше не заходил к ней — все некогда... другие утехи есть»,— думал мстительно Федор. Горе было ощутимо, комом поднималось в горле.

«Не позовут... Не позовут. Забудут...»

Он хотел, чтобы его на пароходе забыли, и был заранее несчастен, очень несчастен оттого, что забудут, обязательно забудут.

Не отдавая отчета в том, чего больше он хочет, Федор ждал. Степенно вошел на палубу Аркадий, неся на плече гармошку.

«Вишь ведь, музыкант мою гармошку несет»,— лениво подумал Федор.

Женщины визгливо окликали расшалившихся детей. В общем гвалте Федор различал высокий говорок матери. Растрепанная, с красным лицом, Елизавета Пискунова бегала, расталкивая людей, по палубе и звала:

— Федька, Федька, где ты?

Кто-то из мужчин ответил:

— К милахе прощаться ушел!

Слышался сердитый голос Кришанина:

— Значит, не поедете? Изменили? Из Питера такую дорогу выдержали вместе, а теперь остаетесь в городе? Деревни испугались? Так вот и остаетесь, и совесть не заговорит?

Кланверис вдруг тревожно и громко спросил:

— В самом деле, где Федор?

Федор вспыхнул от радости и гордости: вспомнили! И то, что вспомнил о нем именно комиссар, которого он обидел, особенно обрадовало его. Федор поднялся и не торопясь направился к пристани.

И снова в лицо ему били слова матери:

— Федька, где ты?

— Да вон он идет, вишь, и руки в карманы...

Видимо, долго и отчаянно искала его мать — шум на минуту стих: все обернулись в сторону Федора. Как только он не спеша взошел на палубу, пароход низко, утробно загудел. Сердце парня томительно дрогнуло. Гудок стлался по воде, дрожал.

Несколько человек из семипалатинцев присоединились к коммунарам. Женщины плакали, прощаясь с родными.

— Ну что тебя там манит, скажи? — все твердила остроносая женщина, обнимая мужа, маленького с робким взглядом человека, и растирала по красному лицу слезы.

— Все равно поеду...— не находя слов для объяснения, чем его и манит и пугает неизвестное, ответил тот.— Новая жизнь манит. Скоро я и тебя с ребятами потребую...

За пароходом потащилась баржа. Ее груз: семена, сундуки и инвентарь — все было затянуто брезентом. На площадке, огороженной жердями, стояли лошади, грызли жерди, щипали их желтыми крупными зубами.

Пароход, шлепая плицами и густо дымя трубой, преодолевал течение, пыхтел и тряся.

Навстречу, бороздя реку, мчался холодный ветер. Прибрежные голые кусты походили друг на друга. С лесистых холмов стекал запах мокрой хвои.

Пристань, набережная, крыши блестевшего под солнцем города — все отходило.

Вода упруго раздавалась, пропуская суденышко вперед, однотонно журчала вдоль бортов.

Желтая палуба, затертая сапогами, была полна людей.

Все вглядывались вперед: что-то ждало их за этой обещающей зыбкой далью? Предчувствовалось только хорошее. Только хорошее сулили сияющий день, ясное небо и сверкающая вода.

Федор тоже всматривался вперед, словно угадывая то новое, что их ждет. Они построят коммуну! Говоря о коммуне, многие думают о земле, о хозяйстве. Это неверно. Коммуна — это люди. Особенные, отличные от всех, умеющие все делать, бесстрашные перед будущим и не ведавшие зла. Красивые душой люди. И они будут такими. Они всех сделают счастливыми. И работа будет радостью каждому. Любая работа, от которой идет хоть какая-то польза, будет утверждать их в жизни и прославлять их.

Взволнованный Кланверис стал рядом с Федором и спросил:

— Едем?

Федор ответил, задыхаясь:

— Едем.

Оба рассмеялись.

— О чем ты мечтаешь? — поинтересовался Кланверис, пристально вглядываясь в лицо парня.

— О хорошем.

— Я тоже. Я думаю о том, что мы... только предчувствуем это хорошее. А люди потом будут очень счастливы.

Федор склонил голову, стыдясь недавней своей нерешительности, своих сомнений.

На берегах лежали камни, черные и неуклюжие. Рыбаки конопатили, смолили лодки. Деревни и села спускались с пригорков к реке. Первые желтые и синие цветы прорезались сквозь прошлогодние листья. Саня вздохнула:

— Татьянку жалко!

Федор, почувствовав острую боль потери, оглянулся. Кришанины, обнявшись, молча смотрели на ослепительную реку, похожую на взбитый снег. Семьями сидели, стояли коммунары. Молодежь, сбившись в кучу, притихла, подавленная красотой берегов, неба и сияющей реки. Девушки тихонько запели.

Федор взял гармошку, заиграл весело, бесшабашно. Все быстрее, быстрее строчила песня, оглашая берега, плескалась вместе с волной. Девушки подпевали, окружив гармониста.

Федор увидел улыбающиеся мечтательные лица, увидел опечаленные глаза семипалатинца, которого провожа-

ла жена. Хотелось для всех сделать что-от большое, взять на себя всю тяжесть того, что их ждало, умереть для них.

Федор отставил в сторону гармошку, огляделся счастливыми глазами, раскрыл руки, прошелся, расширяя круг.

— Пойте, девушки!

И как только зазвучала быстрая звонкая песня, он выкрикнул:

— Эх, умру, а своего добьюсь! — и завертелся по палубе.— Обязательно добьюсь,— твердил он, притопывая ногами, коленцами, лихостью разукрашивая простой ритм песни.— Теперь мне ничего не страшно.

Почему не страшно и чего он должен страшиться, что произошло и изменилось в эти минуты, он не знал. Знал только, что отныне он наполнился верою в свои силы. Отныне и навеки.

«Для вас... для всех!» — билось у него в голове.

Тени бродили в нагих кустах по берегам. Коммунары притопывали ногами, хлопали в ладоши. Федор плясал не уставая.

— Согреться не может! — шутила Саня.

К реке со всех сторон сбегали сопки, тесня друг друга. Вода спиралью свивалась у скал. Пихты и кедрачи высились, отражаясь в прибрежной воде.

С присвистом, с гиканьем носился Федор, склонясь, ударял ладонью по истертому полу, кружился волчком. Аркадий с завистью и удивлением следил за братом, вздрагивал, поеживался от напряжения.

Пароходик спокойно плыл вперед. В нем чувствовалась надежная тяжесть.

Федор завершил пляску веселым вскриком.

— Ну и горазд!

— Сила! — раздавались голоса.

— Федя, мы тебя на концерте выпустим...— говорила Саня.

Все еще взволнованный и счастливый, Федор отошел к Аркадию, который с восторгом смотрел на него.

— Что же ты, братишка, не сплясал?

— Не умею,— застенчиво отозвался тот.

— А ведь хотелось?

Аркадий кивнул.

На берегах перекликались птицы. Пронзительно кричала кедровка.

— А где ты, Федя, так научился плясать?

Федор рассмеялся:

— А нигде не учился. Своим умом дошел, без отца-матери. Вот так же маялся, как ты, томился да робел. А потом топнул ногой и пошел.

— А когда же ты ногой топнул?

— Сегодня. Когда плясать пошел.

— Не понимаю я тебя...

— Я и сам, брат, себя не совсем понимаю,— вздохнул Федор.— А пойму. Скоро пойму.

10

Пароходик плыл, держась правого берега, обходя пороги и подводные камни.

Река расплеснулась в обрывистых берегах, широко и грозно. К вечеру над ней разостлался пар. Волны облизывали чистенькие борта «Алтая», набрасывались одна на другую.

С шипением, вытянув шеи, опустились в прибрежные камыши утки, принялись нырять и плескаться.

Вспугнутые пароходом, снялись, полетели низко, словно запутались лапами в тумане. Берег то тянулся низкой полосой, то выступал из воды зазубренными скалами.

Каменистые острова темнели, как распластавшиеся черные киты.

Аркадий Пискунов, все время стоявший у борта, закричал:

— Смотрите, скала навстречу плывет!

Так казалось всем. Плыли навстречу в синих сумерках скалы, мельницы, кожевенные да пивоваренные заводы. До парохода доходил запах сыромятной кожи, хлеба, вина.

Семипалатинец Оглоблин, зябко поеживаясь, сказал:

— А я другое усматриваю. Нас по берегам верховые провожают... Фуражки в алых околышах. Казаки. То вынырнут, то скроются... Давно вижу... И с той, и с другой стороны.— Маленький, невзрачный, с невидным лицом, на котором горели огромные черные глаза, он дышал неровно и тяжело.

Теперь уже не только молодежь, а и взрослые столпились у борта, переходили со стороны на сторону. Но или верховые были осторожны, или их не было совсем, только никто их не заметил, и возглас Оглоблина никого не встревожил.

Пароход шел и шел, глухо шумя и дрожа, маленький плавучий мирок.

Ночью, когда темнота стерла признаки жилых мест, пароход остановился.

На нем тесно. Коммунары вынесли несколько палаток на берег, поставили их, разожгли костры, начали варить ужин. Запах дымка, пряной земли, воды, тихие песни девчат — все было дивно, полно новизны.

Семипалатинец рассказывал ребятам у костра:

— Там вот прииртышская равнина тянется... Степь, называется Бель-Агачская.

— А какие цветы растут здесь? — спросила Саня.

— Какие же? Мало я их знаю... Ну, ковыль... конечно, есть. Типчак... полынь горькая. Скоро вот пионы распустятся.

Серое нездоровое лицо Оглоблина оживилось.

— Пионы,— повторил он и задумался, печально глядя в огонь. Потом по-женски всплеснул руками: — Диво: Николай Оглоблин о пионах заговорил!

Руки его были покрыты ссадинами. Он разводил ими в удивлении:

— Пахнут они, эти самые пионы, или нет, я даже и не знаю. Я весь кожей прокоптился. Отмыться за всю жизнь не могу. Вон зелень поднимается на берегах. А я зеленого листочка не видал. Вокруг нашего завода вся жизнь вымерла. Привезут партию шкур — мертвым запахнет. Работаем в подземелье. Свалим эти шкуры в чаны, в воду гнилую. Согнемся над деревянной колодой — очищаем кожу. Дышать нечем. От вони дыхание сопрет, молчим. Всю жизнь молчим. У меня и ребятишки молчаливые.— Оглоблин задохнулся, закашлялся, схватился руками за грудь.

— Интересно то, что Россия, страна кожи, вывозила в другие страны полуфабрикат. Там его выделывали и к нам готовую кожу присылали,— вставил Кланверис.

— На ветер сила уходила! — хрипло выкрикнул Оглоблин.— Я вот не наговорюсь никак. С вами я на свежем воздухе поживу.

— А птицы и звери? Какие птицы? — допытывался Аркадий.

Оглоблин чуть заметно улыбнулся: птицы и звери — это он знал и мечтал зимой охотиться, впервые побродить по тайге.

— Зверей здесь множество. Около озер — кабаны. Лисица, хорек, горностай, волки — всяких зверюшек хватит. А о птицах и не говорю: привольно им здесь. Даже дрофа — самая большущая и то есть. Орел, жаворонки. И чайки у озер есть: рыбы в озерах и реках невиданно, вот они и кружат... Ну, осетра да стерлядь из реки чайке не взять. Нельму, муксуна, окуня — тоже. А вот гольца в озере она истребляет...

Смолкли голоса. Угоревшие от воздуха, уставшие коммунары устраивались на ночлег.

Спать долго не пришлось. Под утро всех разбудил крик Оглоблина:

— Баржу у нас отсекли... Баржу, товарищи!

Все бросились к пароходику.

В слабом рассвете видна была уплывающая вниз по течению баржа. На ней в загоне из жердей метались лошади.

Берега здесь сблизились. Большие камни выступали из воды. За ними тянулись белые хвосты пены.

Кланверис, стараясь сохранить спокойствие, проговорил:

— Шлюпки... Кто поплывет? — Голос его сорвался.

Добровольцев оказалось много. Некоторые побежали берегом.

Пароход тихо поплыл. На берегу остались дети и женщины.

— Сердце стынет... Утонет все наше добро...

Елизавета Пискунова громко молилась.

Баржу задержали у поворота: еще минута, и ее бросило бы на камни.

Подтянули ее к берегу, усеянному золотым курослепом.

Кто-то, сбросив с баржи сходни, выводил на берег лошадей. Кто-то кричал испуганно:

— Руль сломался! Эй, люди, руль сломался!

На баржу кинулся Матвей Пискунов и скоро вернулся помрачневший:

— Руль цел, не расхлестало его, окантовка железная спасла. А вот ось хрустнула,— сообщил он заикаясь.

Молодой красавец капитан, стрельнув на девчат острым взглядом, громко произнес:

— Придется отцепить баржу; поломку здесь не поправить.

— Не торопись, моряк,— остановил его Пискунов.—

А ну, коммунары, слушайте: несколько человек за мной идите на баржу. А ты, Аркашка, с ребятишками чурки, дрова по берегу собирайте да разжигайте костер. Вот здесь, на камнях.

Уже со сходней крикнул:

— Сучьев в костер не кладите: от них угля нет.

— Знаю! — весело отозвался Аркадий.

Скоро с баржи притащили наковальню, мехи, молоты, клещи, кожаные фартуки, рукавицы. Наконец вынесли два неровных конца оси — длинные железные стержни, отполированные до блеска в местах зажима.

Дети складывали в кучу дрова. Матвей Пискунов разжег костер. Он то и дело покрикивал на ребят:

— Вали в середину... в огонь... еще, еще!

Пламя поднялось высоко, металось под ветром вместе с дымом, а кузнец все бросал в костер плахи и чурки. Кольцо людей, смыкавшееся вокруг, все расширялось. Молчали, не совсем понимая действия Пискунова. Он уже облачился в прожженный кожаный фартук, натянул кожаные же рукавицы, взглянул на сына. Федор понял его, тоже надел фартук и рукавицы. Он не спускал с отца веселых глаз, видимо, на этот раз гордился им.

— Еще, ребята, еще! — кричал старик.

Местные крестьяне наблюдали за коммунарами из кустов.

— Этак и лес наш спалите...

— Да и село недалеко... Огонь перекинется...— зашумели голоса.

Матвей, не оборачиваясь, ответил:

— Следим, сами видите! — и закашлялся.

Уже не подметало пламя рыжим помелом небо, сникло, только угли пылали жаром, звенели и рушились.

Пискунов всунул в них оба конца оси. Федор, склоняясь и выпрямляясь, начал раздувать мехи, направляя на ось струю воздуха. Фартук на нем топорщился, сковывал движения.

— Очеп бы! Веревкой легче мехи двигать,— снова, уже мирно, сказал кто-то в кустах. Там начали открыто обсуждать поведение коммунаров.

— Куда его здесь повесишь, очеп-то?

— Не сварить им ось! Где же на костре сваришь?

Угли горели сине-лиловым светом.

Лица кузнецов блестели, казалось, плавились от огня. Оба были сосредоточенны.

— Кто посильнее, коммунары, становись!

К наковальне встало несколько человек.

— Бросай дуть,— приказал отрывисто кузнец сыну.— Берись!

Они вытащили клещами обломки оси, концы которых были раскалены добела и роняли искры. Стремительно наложили их один на другой. Два молодых коммунара клещами же поддерживали ось с обоих концов.

Равномерно били молоты: раз-два, раз-два, впечатывая концы один в другой. Матвей Сергеевич хрипло кричал:

— Крути... поворачивай.

На глазах ошеломленных крестьян из двух концов оси вырастал один стержень, округлялся на месте перелома.

— Да-а, мастаки робить...

Крестьяне давно уже вышли из своей засады, сжимали кольцо, вытягивались, чтобы лучше увидеть работу кузнецов.

Ближе подошли они к берегу, следуя за коммунарами, которые несли на баржу остывшую, уже готовую ось.

Женщины и дети заливали костер водой из ведер. Угли шипели, серели, покрывались пеплом.

Коммунары унесли на баржу рукавицы кузнецов, фартуки, наковальню и молоты.

Утро. Крестьяне не уходили. Наконец баржу подкрепили к пароходику, два парня налегли на рулевое бревно, и караван пошел по реке. Крестьяне долго смотрели ему вслед.

Не могли успокоиться коммунары, гадали, действительно ли канат обрубили. А может, он оторвался сам?

Под неярким солнцем верхушки берез загорались, вода засветилась, будто в нее воткнулись сотни сияющих игл. Опрокидывались в воду отражения пихт. Из темной глубины реки ползли волны сырого воздуха. В высоком небе летели голубые стаи гусей.

...Третьи... четвертые сутки тащится пароход.

После Усть-Каменогорска река расширялась, кипела, словно подогретая со дна. Здесь впадала в Иртыш Бухтарма. Парни на барже чистили лошадей, задавали им корм. Они долго привыкали к чудному названию, склоняя его на все лады:

— Бухтарма... Бухтарму...

Пароход причалил к берегу большого казачьего поселка Гусиное.

Видимо, население уже знало о прибытии коммунаров: навстречу высыпали толпы людей. Мужчины были в самой разнообразной одежде. Одни в синих шароварах с алыми лампасами, в черных мундирах, на головах высокие фуражки тоже с алыми тульями, другие в сермягах, в штанах из домотканого холста; мелькали и полосатые халаты и войлочные шляпы казахов. Сновали босоногие ребятишки. Девушки лузгали орехи, посмеивались:

— Пожаловали!

— Только вас и не хватало!

Коммунары, степенно поздоровавшись, начали слаженно выгружать баржу: отсюда надо было добираться до места лошадьми. На берегу быстро выросли палатки. Ветер колыхал ненадежные стены. Семейные втискивали туда пожитки.

— Гли-ка, мужик, баба и ребятишки... А говорили, что бабы у них всех обслуживают...— слышалось вокруг.

— Гли-ка, гармонист!

Это Кришанин вывел из палатки Федора с гармошкой, усадил на каменную глыбу.

— Шепчутся... гли...

Кришанин действительно прошептал:

— Я слово скажу, а ты сразу песню заводи...— и громко обратился к толпе:

— Товарищи! — и смолк, видя смятение в толпе, будто одним этим необычным словом нарушил он многолетний покой.

Зашептались — одни возмущенно и зло, другие с радостью повторяли это слово и подвигались к Кришанину ближе.

Он продолжал:

— Мы —петроградские рабочие. Приехали на Алтай для того, чтобы совместно, одной семьей, обрабатывать землю, строить коммуну...

По толпе снова прошел гул. Мужик с острой серой бородкой бросил со злобой:

— Разодрал горло-то! Не рабочие, а воры!— и юркнул в толпу.

Кришанина передернуло.

Федор, растянув гармонь, заиграл боевую песню, серьезно и деловито, как следует выполнять задание старшего.

Толпа разошлась только ночью. Кланверис сидел у костра и задумчиво говорил:

— Враждебно нас принимают. Будет трудно.

Федор Пискунов отложил в сторону гармонь, вскочил:

— Нам будет легко... Мы уже видели борьбу в Питере... Мы знаем.

Кланверис улыбнулся. Детски чистые глаза его наполнились печалью.

— Кто знает, какие формы примет здесь борьба. Вот баржу обрезали... Нам все время надо быть начеку.

Кришанин возразил:

— Баржа, может, сама оторвалась... Борьба! Какая борьба? Все ты выдумываешь... У нас мирные цели. И это крестьяне поймут... Борьбы не будет. Нам только не нужно вмешиваться в их жизнь.

— Чудак! Да ведь среди крестьян тоже идет борьба. И мы должны будем принять сторону бедноты.

Земля притихла. Нет-нет треснет за спиной в густой тайге сучок, проскрипит птица, нежно-нежно заворкует скворец, успокаивая скворчиху в гнезде.

Слышались из леса шорохи, словно трава поднималась только по ночам.

По спокойной земле плыли звуки, наполняя сердца людей тревожным ожиданием. Волна за волной стихали они, и снова не шевелился лес, не росла трава, будто замирало все до нового порыва ветра.

От костра по воде стлался трепещущий убегающий след, пересекая реку.

Мечтательно глядя в огонь, Кланверис тихо говорил:

— Поселки — Гусиное, Таловка, Никольское, Гирево... Здесь нет партийных ячеек, но всюду есть солдаты, которые знают, какую роль сыграли питерские рабочие в революции. Кулаки, конечно, будут шипеть, небылицы распускать всякие...

— А нам не страшно. Пусть распускают.

— Пусть шипят.

Кланверис с улыбкой смотрел на ребят. Он хотел сказать, что не знают они жизни, не знают, до чего может дойти озлобление классового врага, у которого уходит из рук власть и богатство. Но произнес другое:

— Пусть шипят. Мы все равно выиграем. Сейчас все смотрят на нас. Нам нельзя бояться... Мы должны выиграть. Хоть кое-кто из нас недооценивает всего, что проис-

ходит. Баржу отрубили — считают, что она сама уплыла. Что враждебны к нам, тоже не видят. А борьба уже идет. И мы обязательно ее выиграем.

И ребята хором заверили его:

— Выиграем.

Кришанина взорвало. Он понял слова Яна как намек на себя. Но сдержался и еще раз повторил:

— Напрасно ты, комиссар, нервируешь людей. Никакой борьбы не будет. Перед нами мирная цель: строить коммуну.

— Будет борьба! — жестко повторил Ян.— И трудная борьба!

11

Утром, как только рассвело, коммунары вышли на берег. Босые ноги щекотал остывший за ночь галечник.

Ныряли с покатых обрывов, прыгали в воду с увальчика. Откуда-то к палаткам набежали веселые и шумные собаки.

Кришанины шли к воде степенно.

— Я знаю, о чем ты думаешь,— сказала Вера Степановна, заглянув мужу в лицо.

— Нет... наверное, не знаешь,— рассмеялся Константин Васильевич.— А ну-ка?

— Ты думаешь, какую-то сегодня мы получим землю...

— Угадала.

— Ах, как трудно угадать!

— Не только о земле. Я думал и о том, что ты у меня совсем как девушка. Шубу сняла и помолодела.

— Не ври. Об этом ты сейчас не думал. И незачем тебе врать. Мне и без этого счастья хватит до гроба.

— Я не вру, Вера... В самом деле! А вот ты от меня что-то скрываешь...

Вера Степановна рассмеялась:

— Очень много.

— А что?

— Скрываю, что тревожусь за Геннадия. Скрываю, что новый председатель коммуны недооценивает нарастания борьбы с кулаками...

— У тебя даже и слова-то не твои: «Недооценивает»,— упрекнул Кришанин жену.

— А чьи же?

— Сама знаешь.

— Костя, поссоримся. Ну-ка, взгляни мне в глаза! — Вера Степановна взяла мужа за плечи, с силой повернула к себе.— Никогда, слышишь, никогда мне не говори ничего такого. Повнимательнее ко мне ты должен быть, понял? — Она быстро накинула на голову полотенце и лукаво спросила: — Какого цвета у меня волосы? Ну, отвечай!

— Русые... И один волосок седой.

— Неужели помнишь?

— Неважно, какие они. Важно, что мне без тебя не прожить ни одного дня.

Со стороны глядя на Кришаниных, нельзя было заподозрить, что они ведут ничего не значащий разговор, так задумчивы были оба. Казалось, что у них было то настроение, какое редко достается супругам: все надежно, все доброе и нужное, все славно, и любое событие только усиливает их счастье.

Они умылись прохладной водой у поросшего мхом камня и вытерлись одним полотенцем.

Так же медленно и степенно вернулись Кришанины к табору.

По зеленому сверкающему небу мчались громады облаков, похожие на северные льдины. Журчали ручьи. Синей талой водой наполнялись прибрежные овраги.

Несся запах реки, деревьев и обомшелых камней, кисловатый и волнующий. Девчата заводили на берегу граммофон, смеялись, пели.

В этот день правленцы должны были идти в Гусиное знакомиться с земельным участком. Коммунары были измучены неизвестностью.

Вера Степановна вслух размышляла:

— По-моему, Костя, двадцать тысяч десятин... это много. Голова закружится...— Как всегда, они думали об одном.— Но вы берите все, что дадут... Нам и сенокос нужен...— Женщина сжала руки. Прядку волос выхватил и трепал ветер. В голосе звучало нетерпение. Она хотела проводить мужа, но, увидев, что за Кланверисом пошла Саня, вернулась на берег, где молодежь разожгла костер.

Ее здесь ждал сынишка. Мальчики нашли в лесу гнездо. Наперебой рассказывали, что какая-то птица уже высиживает птенцов.

Вера Степановна углубилась с ними в чащу посмотреть на гнездо.

Лес дышал сырой прохладой. Под ногами сухо потрескивали иглы хвои. Хвоя запуталась и в сухих паутинах. Пахло мхом и костром. На дереве вдруг лопнула почка, и измятый листок задрожал под солнечным лучом.

— Мама, это что за дерево?

— Не знаю, дети.

«Маруся отравилась, в больницу повезли...» — хрипло выводил на берегу граммофон. Одна пластинка сменяла другую.

Вот и гнездо, свитое прямо на земле, в ямке,— здесь и мох, и сухие листья, и стебли. Оно обложено корешками. Над гнездом — навесик, а внутри, среди волоса и пуха,— шесть яиц. Птицы не было. Женщина взяла одно яйцо, подержала на ладони. Кремовое с серыми пятнышками и точками.

— Вот она, мама, птица, на ветке!..— закричал Сергей.

— Вишь какое гордое дерево выбрала,— сказала Вера Степановна и положила яйцо на место.

Да, на ветке березы, совсем близко от гнезда, сидела оливково-бурая птичка с белым брюшком и рыжей головкой. Она без тревоги, будто с любопытством смотрела на людей.

— Что за птица? — допытывался Сергей.

Вера Степановна развела руками:

— Не знаю, сынок.

Сергей недоуменно взглянул на мать: второй раз за утро он слышал от нее это слово. Как могла мама не знать чего-нибудь, она, спокойный, ненавязчивый друг? Непостижимо.

Кришанина с отчаянием думала о том же. Она не знала! Никто из них не знал. Горожане приехали в деревню перестраивать жизнь, а многие до этих пор никогда не выезжали из города. Всю жизнь оторванные от природы, они теперь попадут в зависимость от нее. Не знают не только птиц, зверей, рыб, не знают земли, ее законов!

До ее сознания вдруг дошло, что сын все еще продолжает о чем-то спрашивать, требовательно и сердито.

— Не знаю, сынок... Нам все надо начинать заново.

Теперь с берега неслись звуки гармошки. Веселый плясовой напев почему-то вызывал тревогу.

Вера Степановна медленно пошла из леса. Ребята плелись за ней. Вере стыдно было оглянуться.

Холодный галечник на берегу нагрелся.

Как и вчера, к табору сбежались крестьяне.

Местные парни и девчата жались друг к другу в стороне, шептались, лузгали орехи.

Чернобровая красавица со связкой прозрачного бисера на шее застыла от удивления, оглядывая коммунаров, палатки, разбросанные по берегу. От густых ресниц серые глаза казались черными. Большой белой рукой она то и дело поправляла в волосах роговую гребенку.

Вера Степановна заметила, что Федор Пискунов, побледнев от волнения, глядел на красавицу, словно встретился с чудом.

Она уже не могла уйти, села недалеко, тоже глядя на сероглазую. Смутная тревога поднималась в сердце.

Вот Федор сунул братишке гармошку, поднялся.

Верхушки деревьев с первыми ядовито-зелеными мелкими листьями качались. На них качались и посвистывали птицы. Аркадий заиграл неумело, путая лады. Федор, не замечая музыки, вприпляс прошел по кругу.

«Ой, опасная девка!» — думала Кришанина, следя, как Федор начал плясать, все приближаясь к красавице. Дошел, ударил каблуками и, оттолкнувшись, бросился по поляне, приседая и кланяясь.

Местные девушки пели свои плясовые припевки:

Уж я черпала черпальце,
Уронила в воду зеркальце...

Гармошку заглушили голоса. Аркадий отставил ее в сторону. Девушки выводили все чаще и громче:

Оно пало — не расшиблося...
Полюбила — не ошиблася.

Федор, как бы потягиваясь, выстукивал подковами, озорно и лукаво заманивал каждую в круг.

Пошла барыня плясать,
О порог ноги чесать...
«Весела тогда бываю,
Когда с миленьким пляшу...»

Сероглазая девка смотрела на Федора робко и горделиво. Время от времени она вздрагивала.

— Иди, Окся, потанцуй! — подтолкнула красавицу локтем сидящая рядом подруга тоже с бисером на шее.

В глазах Федора была мольба. Вот-вот сейчас он притронется рукой к плечу девушки, обхватит, закружит.

Вера Степановна, все более тревожась, с любопытством следила за этой борьбой.

— Хотите, мы вас «Ойру» танцевать научим? — задорно крикнула Саня.

Крестьянские девушки стыдливо прятали в платки лица и как будто не слышали вызова.

— Ну хоть спойте нам,— настаивал Федор.

У него прерывалось дыхание. Девчата посмотрели на Оксю. Та опустила глаза, неестественно выпрямилась и вдруг запела:

Ходила девица по лесу-лесу...
Нашла-нашла девица купарец-деревце.

В голосе ее было что-то дикое, необузданное.

Отливал золотом песчаный берег. Его хлестали перехваченные белыми гребнями волны. В лесу свистел ветер, трепал листья тальника у реки. А голос, дикий и гордый, плавал над землей.

Девки пронзительно и заунывно подхватили слова песни:

Купарец-деревце...—

и смолкли, ожидая. Окся продолжала:

Я у тятеньки, у маменьки
Разъедина доченька была.

И снова подхватили девки:

Разъедина была...
Я от солнца, я от непогоды
Лицо бело берегла.
Лицо бело берегла...

Девушки-коммунарки сидели притихшие. Саня побледнела от волнения и тоже, как Вера Степановна, следила за Федором. Он, полузакрыв глаза, слушал, покачиваясь как пьяный.

От худой славы-напраслины
Никуда млада я не ушла.
Никуда я не ушла...

Последняя нота, высокая и тонкая, истаяла в небе.

Саня крикнула, вся подаваясь вперед, к песенницам:

— Нам надо поближе, девушки, познакомиться... Мы хоровой кружок знаете какой создадим?!

Вера Степановна поддержала:

— В песнях все друг другу рады.

Шумно вернулись к палаткам правленцы.

Местную молодежь точно сдуло — все куда-то исчезли, попрятались по кустам. Скрылся за Оксей и Федор. Кришанина снова подумала:

«Не было бы беды!» — и пошла навстречу мужу.

Растрепанное облако зацепилось за солнце. По небу вниз прошли серые полосы. Это ли, необычная ли песня крестьянок — только Вера Степановна поежилась от дурного предчувствия.

Константин был невесел. Глаза окружили усталые морщинки.

— Земля негодная. Сплошной песчаник.

— Вот и приехали! — выкрикнул визгливый женский голос.

— Хорошо там, где нас нет.

— И песчаник надо хватать. Нам только зацепиться.

Теперь на берегу понуро сидели взрослые, глядя на воду, точно ожидая переправы. Облако совсем закрыло солнце, вода была черной и холодной.

Кришанин опустил голову, сжал коленями руки.

— Нужно казаков собрать. Просить отрезать участок в другом месте.

Кланверис с сомнением покачал головой, напомнил:

— Казаки тебе и отвели песчаник. Им царь землю пожаловал, так нам кричали сегодня: «Царь пожаловал, да вам земельку и отдать?!» Живут здесь и иногородние. Слыхал, советовали: «Просите землицы у «российских»!» Вот это и есть иногородние. Переселились из России еще в пятом году. Им и жить в станицах запрещается. Видали дома из самана, километра за полтора от Гусиного? Это и есть поселок «российских». «Просите землицы у «российских»!», а у тех у самих ее нет, арендуют у казаков...— Оглядев помрачневшие лица коммунаров, Кланверис улыбнулся: — Владимир Ильич сказал, что на Алтае нас встретит опасный враг — кулак. Мы поклялись Ленину не отступать в борьбе. Почему же от первой неудачи головы

склонили? Казаков собирать не для чего. Они не помогут...— Кланверис был, как всегда, спокоен.

Кришанина мучили сомнения: где видит Кланверис врагов?

— Может, и земли хорошей не дают, потому что в Гусином в Совете кулаки сидят,— сказала Вера Степановна.— Вспомните баржу... Не надо быть слепым.— Она говорила с упреком, обращаясь к мужу.

Он возразил:

— В Совете нас встретили приветливо... усадили... расспрашивали о Питере... В земле хорошей отказали с жалостью, это было видно. Почему не верить, что земли действительно нет? Это Иван мутит всем головы. А ты? Да, ты?.. Ты почему? — Ревнивое чувство заставило его вздрогнуть. Но, взглянув в ясное лицо жены, он рассмеялся над собой.

Женщины от палаток в смятении бежали на берег, иные плакали.

— Может быть, разделиться нам и семьями устраиваться отдельно, кто как сумеет?

— Пропадем иначе...

— Помолчи...

— Силой надо участок захватить! — кричали одни.

— А мы не поедем дальше! И так многое в этой коммуне снесли... Мы останемся в Гусином. Наши руки и здесь работу найдут! — шумели зло другие.

Кланверис не мог сдержать возмущения:

— Кто сказал? Вы сказали? От вас веет плесенью! — Он обратился к Кришанину: — Надо снять их с питания! Нам подневольных не надо! Пусть остаются где хотят! — Он обвел коммунаров глазами.

Кришанин прошептал:

— Зачем ты так, Иван? Надо осторожно... Беречь людей надо...

— Нет. Пусть нас будет меньше, но останутся только лучшие. Нам предстоит борьба.

— Опять за свое! Мы никого не трогаем и не собираемся трогать. Мы будем создавать свою коммуну.

— В том-то и дело, дорогой, что коммуну не все потерпят.

Дети беззаботно лазали по камням и увалам, скользили, падали с хохотом и шумом. Кто-то срывающимся голосом крикнул:

— Эй, ты, землю не расшиби! Слышь, ее и так нам не дают...

Женщины из семей, остающихся в Гусином, суетливо вытрясали постели, сматывали узлы, стирали белье у реки. Кусты кудрявой ольхи были унизаны пестрым тряпьем.

Кришанин стоял, широко расставив ноги.

— Кто это не потерпит? — спросил он.— Голову вешать — не по-рабочему, это верно. Не одни казаки-богатеи живут на Алтае, сам говоришь, есть и честные «российские», они помогут.

— Тебе об этом и говорят. Нам нужно бедноту поднять...

Мало-помалу коммунары веселели, с надеждой смотрели на правленцев.

Много уже раз радовались они тем, что живут в эти необыкновенные дни, не отстают от общей борьбы, строят новую жизнь. Они ее построят, чего бы это им ни стоило. Вот что поняли в эту минуту все.

И когда кто-то из молодежи восторженно выдохнул: «Ух ты, как интересно жить!» — все облегченно зашумели, послышался смех, общий говор.

Вера Степановна взяла об руку мужа и спросила, заглядывая в лицо:

— Ты разобрался, глупенький мой?

— Я и верно глупенький, Вера, ударь меня.

12

Окся Вислова спешила попасть вовремя на постоялый, где они с отцом остановились, и все-таки опоздала. Однако отец на этот раз не ворчал на нее.

— Не ела? — вторгся в ее думы ласковый его вопрос.

— Ничего, тятенька. Я хлеб сжевала... водицей запила.— Она не могла понять, что с отцом: всегда строгий, неулыбчивый, на этот раз он улыбался.

Росла Окся без матери. Мачеха, огромная и толстая, с вылупившимися злыми глазами, взятая отцом из-за приданого (мельница, о которой Прохор давно мечтал), возненавидела Оксю с первого дня за ее диковатую красоту. Когда отца не было дома, мачеха заставляла падчерицу делать черную работу, кормила вместе с батраками. Как

только возвращался с мельницы отец, Окся могла приодеться, садилась за стол с отцом. Выходить из дома Оксе разрешалось редко. Обнов ей не покупали.

— Красоте всякая тряпка — шелк,— говорила мачеха.

По настоянию отца сшила мачеха падчерице подвенечное платье из белого атласа, уложила его в пустой сундук. Туда же положила рушники, холст да завязанные шнурком лопнувшие царские деньги. Это было приданым Окси.

Иногда девушка хотела спросить мачеху: «За что ты так невзлюбила меня?» — но та была неприветлива, и Окся не решалась с ней заговорить. Она не жаловалась, да и не понимала, на что ей можно жаловаться: мачеха есть мачеха. Нарядами Окся не тешилась. Работу по хозяйству любила. На посиделках и гульбищах держалась скромно. Обиды стали привычными.

Вначале Окся готова была полюбить мачеху. Но любовь прошла, как только она увидела мачеху такой, какой видели ее все. Теперь она смотрела на эту женщину трезвыми глазами и все чаще и беспощаднее думала: «Для чего я терплю? Чего ради прощаю ей все? Вон она какая — груди по ведру, брюхо на коленях!»

Сейчас мачеха была на сносях, подобрела, реже заставляла Оксю работать с батраками. И опять девушка не старалась объяснить себе — почему. Да и как ей было понять, что, ожидая сына, мачеха надеялась оттягать наследство у Окси, которая жила как во сне и оживлялась только тогда, когда слышала песни или пела сама. С закрытыми глазами выводила она дикие напевы, и рисовались ей зеленые поляны, залитые цветами, голубое небо, бурливые реки. Только под песню она и начинала жалеть себя. И никто не мог понять, отчего вдруг заплачет девушка.

Подруги и парни сторонились ее.

В шестнадцать-семнадцать лет девки выходят замуж. Оксе — девятнадцать, но к ней никто не присватывался: боялись взять жену из богатого дома без приданого, да и характер ее отпугивал.

Мачеха уже звала ее вековушкой.

Полная луна стояла высоко, заливала дорогу зыбким белым сиянием.

Трясясь на телеге рядом с отцом, Окся думала о том, что с приездом коммунаров что-то изменится. Любопытст-

во к людям начало беспокоить ее. «Жизнь мне с детства изнанку кажет... Может, сейчас...»

Полуседая, будто грязная, борода отца дрожала. Костлявый лысый череп с запавшими висками блестел.

Как только, миновав ущелья, повернули на дорогу к родной Таловке, отец с усмешкой спросил:

— Бегала небось на питерских табашников смотреть? — и вздохнул.

Девушка живо отозвалась:

— Ага... Все побежали, и я...

— Все кинулись, верно... Ярмарка пустая была... Весь берег обложили...

— А ты откуда знаешь?

— Знаю.— Отец не хотел признаться, что и сам он, как многие с ярмарки, украдкой пробрался на берег, посмотреть на невиданный холстяной поселок, на приезжих.

— Диво мне... Табор они разбили под звездами, как цыгане... У них, тятенька, ящик есть с трубой, и из него всякие песни льются...

— Это граммофон называется... Подожди, я куплю тебе такой... и самовар куплю в приданое... Я тебя с хорошим хозяйством выдам... Ну, а еще что ты видела там?

Окся долго молчала, думая о Федоре: «Наверное, уже на часах стоит, говорил, когда провожал, что сторожить ночью станет, семена оберегать. Может, также на луну любуется?»

Окся неожиданно развеселилась:

— У них все не как у людей, тятя... Экономка есть, тетей Катей зовут. Кухни на улице тоже, как у цыган, поварихи у каждой кухни дежурят. Диво! Учителка Саня детей собрала, и больших и маленьких, игрища с ними устроила... И ребятишки только с ней, к большим не лезут... Фершела два. Старший — Рыжов. С бородкой... А вторая-то баба. Тоже с ребятишками в лес зачем-то ходила. Строгая такая. Хоть и кудрявая. Жена самого старшего. Парни и девки не стыдятся друг друга. Песни дружно поют. А один — Федором звать — все плясал, да так, как у нас ни один парень не спляшет...

Отец вдруг рассердился, ударил лошадей и хрипло прошептал:

— Любовь как ветер: слепая... куда захочет, туда и дует. Парни у нас не хуже, об ихних не думай!

«Да как же не думать, если он мне в глаза глядел-

ся?» — хотела вымолвить Окся, но, скосив взгляд на хмурое лицо отца, промолчала.

Больше он ни о чем не расспрашивал. Ехали молча, думая каждый о своем.

Непонятная обида глодала девушку. Почему-то вспоминалась Саня — беленькая, ласковая. «А вдруг Федор... О господи!»

— Да скажи ты чо-нибудь, тятенька! Вздохами-то сердце изжалил!

Отец произнес:

— Больше к коммунии этой не бегай!

Уже видны были крыши домов. В окнах горели огни, и это чем-то озлило Прохора.

— Чего ради все керосин жгут, как в Христов день?

Перебегали от дома к дому какие-то тени, украдкой исчезали в калитках.

— Взбаламутились...— ворчал мельник, чутко вздрогнул, прислушался.

У ворот дома их встретили батраки. Мысей, старый бобыль, и Кузьма Полозков, молодой хмурый переселенец, с бронзовым лицом, недавно вернувшийся с фронта. И то, что они стояли у ворот, еще больше рассердило Прохора.

— Вам что, дела нету?

— Все сделано! — отозвался Кузьма.

— Распрягайте!

Батраки широко распахнули ворота, ввели лошадей под навес и, засветив фонарь, начали распрягать. Уже в сенях, поднимаясь за дочерью по ступенькам, Прохор услышал, как Кузьма, задыхаясь, говорил Мысею:

— И все у них будет поровну: и земля, и труд, слыхал? И все-то они делать умеют: и плотничать, и кузнечить, и любое мастерить. Жизнь себе смастерят!

Прохор обернулся. Кузьма раскрыл перед Мысеем пустую ладонь и продолжал:

— А у нас полон кулак мозолей. Впереди ничего нет...

Прохор вошел в освещенную избу и крикнул сердито:

— Давай ужинать!

Из горницы осторожно вышла Пелагея, поддерживая отвислый живот.

Рот и глаза у нее были четырехугольными. Во взгляде — боль и страх. Она простонала:

— Проша, у меня началось... Бегите за Анкой!

13

Всю ночь промаялась Пелагея. Анна Полозкова, жена батрака, суетилась около нее, все более страшась: Пелагее — под сорок, ребенок — первый.

Украдкой от хозяина, хмуро сидящего в горнице, Анна позвала мужа:

— Кузьма, не справиться мне. За доктором бы съездить, а с хозяином об этом заговорить боюсь.

Батрак смело прошел в горницу, сел рядом с Прохором, помолчал, прислушиваясь к истошным крикам Пелагеи, и вздохнул:

— Трудно ей будет... Старуха уж... Доктора бы вывезти из Гусиного...

— Вывезти доктора — надо заплатить. Он, доктор-то, известно, как ломит... А у меня — хозяйство... Каждая копейка играет.— При новом крике жены Прохор вскочил: — Ты вот что, Кузя... Доктора не надо... Ты сгоняй к этим... как их, табашникам-то питерским. У них, говорят, фершел-баба есть, вот ее и привези...— Смолк, увидев, какой радостью засияли глаза батрака. Неожиданно выругался: — Сволочи!

Кузьма Полозков быстро гнал коня. Хотелось скорее посмотреть на коммунаров, понять, можно ли надеяться на них. Он давно слышал о том, что к ним в уезд едут питерские рабочие, давно слышал много рассказов о них и потерял покой: все искал повода ускользнуть от хозяина, шатался по избам соседей, ловил все, что шепталось о коммунарах. Он видел: иные приезда питерцев испугались, даже заговорили шепотом. Иные же начали вдруг надеяться на что-то и непонятно кому грозили:

— Теперь мы им покажем!

Кому «им», что собирались показать — Кузьма не знал. Но понял одно: жить, как жили, никто больше не будет.

Как жил до сих пор сам Кузьма Полозков? Мальчишкой пришел на Алтай вместе с родителями. Родители, измученные длинным голодным путем, скоро умерли. Кузьма рос сиротой, батрачил, пас свиней. Сначала встречал все с открытой душой, с возрастом становился все недоверчивее, потом — злее. К людям относился с насмешкой. Был

замкнут, молчалив. Считал, что у хозяина живется хорошо: были харчи, была работа, к праздникам дарили обновы. Кузьма работал, радуясь тому, что все умеет.

Смолоду он был красив, замечал, что девки заглядывались на него, но хмуро обходил их стороной, не думая о женитьбе: некуда привести жену. Когда влекло его на девичьи песни, на смех, он бросался на работу, чтобы заглушить желания.

Однажды, захватив по пути с ярмарки ссыльного, Кузьма услышал:

— Эх и замордовали же тебя! Слова не вытянешь!

Он огрызнулся:

— Мне живется хорошо. Ем сколько хочу! Высыпаюсь. Хлеб сею каждый год!

— С тоской пополам!

— Себя пожалей. Таскают тебя, наверное, по всем дорогам. Может, хозяин мне землицы даст...

— Жди. Нож сам себя не порежет.

Разговор этот долго занимал мысли Кузьмы: «Замордовали!» Кто замордовал? Зачем?

Стараясь проникнуть в тайный смысл слов, Кузьма невольно пересматривал свою жизнь, жизнь окружающих и смутно начал понимать, что жизни у всех разные. Сам он не может ни в чем распорядиться собой, даже испрашивает разрешения, чтобы пойти в церковь.

— Гляжу я на тебя, Кузя, и дивуюсь: я вот в холостяках удаляшший был, на полатях запою, под окном хоровод заводят! А ты... такой разудалый молодец, а девку ни пощекотать, ни подманить не умеешь! — сказал раз хозяин. Тонкие, недобрые губы его кривились. Маленькие глазки прицеливались метко и осторожно.

Кузьма молчал. Лишь побелел высокий лоб, покрытый оспинами, ноздри широко раздулись: хозяин задел больное место.

Тот смотрел на него с усмешкой.

— Жениться тебе надо.

Это было так неожиданно, что гнев Кузьмы сменился удивлением и растерянностью.

— А куда я жену приведу?

— Вот чудак человек! Да неужто я твоей жене места не найду? И поесть найдется! Ну, а соль купишь. Одну соль купить можно. Ты ведь у меня с детства, прижился.

Вон малуху выбели, да и живите. Я тебе и невесту высватал.

В малухе, старой избенке из горбылей и тонкого леса, снаружи вымазанной известкой, в желтых подтеках от дождей, стоявшей на огороде Висловых, хранилась сбруя, пахло кожей, дегтем и парным молоком.

Что же, и сбрую чинить, и сепаратор держать можно в сарае. Но вот невеста? Чего ради искать хозяину невесту для батрака?

— Кого это? — хрипло спросил Кузьма.

— А вот и не угадаешь! Анку Неверову. Уж с матерью ее договорился.

Кузьма онемел. Анка Неверова, белобрысая работящая девушка, дочь вдовы, из кабинетских крестьян, бедная, но завидная для батрака невеста.

Вечером Кузьма побежал к ней.

Хозяин смеялся:

— Усвистал!

На другой день Полозков выбелил малуху.

Дал хозяин ему широкую деревянную кровать, добротный на толстых ногах стол, два стула, посуды. Чем больше дарил хозяин вещей «на обзаведенье», тем недоверчивее становился Кузьма.

«Убью Анку в первую же ночь, если она...»

До брачной ночи батрак подозревал и ненавидел хозяина:

«Подсунул мне свои объедки».

Однако Анка оказалась чистой и жаркой женой.

Когда прошла первая радость и гордость тем, что он, Кузьма Полозков, бездомный парень, женат, как все добрые люди, и у него есть свой угол, он сказал жене:

— Все-таки хозяин наш — человек божеский, Анка. Я ведь после женитьбы-то на высоком каблуке хожу.

Анна мечтала об одном: заработать денег на одеяло, сатиновое, с ромашками. Оно чудилось ей во сне и наяву.

Нашлось в доме хозяина место и для Анны: с утра до ночи она металась по хозяйству.

— Анна! Подай из погреба квасу!

— Анна, где ключи от кладовки?

К вечеру Полозковы встречались в малухе. Вялая, безучастная Анка слабой улыбкой отвечала на ласки мужа.

— Ты как неживая! Не по любви, что ли?..

— Что ты, Кузьма, я давно тебя высмотрела. Только ты гордый, никогда на окна мои не глядел.

— Боялся шибко, вдруг ослепну. А чего же ты вялая такая?

— Не знаю.

— Давай-ка поспим. Нам с тобой только во сне и жить! — Кузьма весело смеялся.

Анна краснела и отворачивалась.

Вскоре они нашли объяснение ее вялости: «понесла».

Родился первенец, но ничего в их жизни не изменилось. По-прежнему с утра до ночи слышалось:

— Анка, где ты?

На минутку забегала она покормить ребенка и, оставляя его одного, исчезала в доме хозяина.

Скоро она «понесла» вторично.

Хозяйка ворчала, завидуя:

— Опять кого-нибудь обронишь! И зачем от меня бог отнял, а тебе дал? Мне наследника надо, а тебе едока.

«Теперь успокоится,— думал Полозков, покачиваясь в седле.— Наследника-кулачка на нашу шею посадит».

Подъехав к табору, Кузьма спешился и, ведя лошадь под уздцы, приблизился к палаткам.

— Стой! Кто идет? — остановил его звонкий окрик.

— Свой, свой, не знаю, как и сказать,— оробев, тихо отозвался Кузьма.— Из Таловки я, фершела у вас просить.— Он еле различал в темноте человека.

Послышались шаги: это подходили часовые от других палаток. Кузьма восторженно рассмеялся:

— Порядок у вас, как во фронтовом лагере!

Его осветили спичкой, осмотрели. Один из часовых побежал в сторону и вернулся с Кришаниным.

— Я — председатель. В чем дело?

— А я — Кузьма Полозков...— назвался тот и начал объяснять долго и путано, зачем приехал.

Выслушав, Кришанин сразу согласился:

— Сейчас я разбужу жену. Фельдшер она.

Кузьма еще дорогой решил просить фельдшера-мужчину: с бабой толком не поговоришь, она ничего не объяснит. А узнать Кузьме о коммуне хотелось много.

Он возразил:

— Трудно ночью ехать по ущельям. Лучше бы дали вы мужчину. Говорят, есть.

Председатель молча вошел в одну из палаток.

— Рыжов, спишь? Василий, вставай, в селе помочь надо... Верховой прискакал... Роды, слышь, трудные...

— А почему жену не посылаешь? — спросил тот спросонья.

— Тебя просят. Вставай... Плату с них не бери. Слышь, нам надо крестьян завоевать. Седлай Гнедка...

...И снова ехал Кузьма узкими скалистыми тропинками. Сзади, на привязи, шла спотыкаясь лошадь со всадником. Когда тропа расширялась, Кузьма попридерживал своего коня, заговаривал с фельдшером.

— Где вы пахать думаете, товарищ Рыжов? — допытывался он.

— Дадут где-нибудь земли,— беспечно ответил тот.

— А верно, что у вас бабы общие?

— Нет, не верно. У каждого своя. А скажите, мил человек, это ваша жена рожает?

— Хозяйка моя, а не жена.

— Значит, батрак? А богат твой хозяин?

— Коров одних семь штук... лошадей... А посевов! Мельницу держит...

— Значит, накормит меня хорошо? А может, и денег даст.

Полозков молчал. Злость шевельнулась в сердце. Насмешливо отозвался:

— Хозяина потряси...— Он уже не стремился ехать рядом. Он жалел за что-то себя и того высокого, председателя коммуны, которого обманывают.

Подпрыгивая на тонких ножках, Рыжов вошел в кухню. Полозков при свете внимательно оглядел его: мелкие черты лица, острый нос, светлые волосы. Фельдшер походил на хорька.

Батрак пропустил его в открытую дверь горницы. Анна выбежала в кухню, взяла таз горячей воды и опять убежала.

Уж когда совсем рассвело, Анна вымыла руки и устало сообщила мужу:

— Сын у хозяев... Спасли. Иди сам-то отдохни. Я сейчас фершела с хозяином кормить буду. Сидят уже, самогонку хлещут и все шепчутся, шепчутся...

Батрак сплюнул и вышел во двор. Окся выглянула из окна своей комнаты и спросила:

— Кузя, ты в коммунию ездил?

— Ездил.

— А не видел там Федю Пискунова?

— Что, уже дружка завела? У тебя брат родился, наследник, приданого теперь тебе не видать. В самую пору тебе в коммунию идти.

— У меня брат родился? Брат...— Окся тихонько рассмеялась.

«Сердце-то еще гладкое»,— подумал Кузьма и пошел было со двора, но Окся крикнула:

— А что касается приданого, то еще посмотрим! Пусть меня не доводят, а то...

Кузьма оторопело остановился, внимательно поглядел на девушку. На ней было надето подвенечное платье. Белый атлас блестел, как птичье оперенье. Вот Окся упала на кровать, зарыдала. Подушки, лежавшие одна на другой до самого потолка, посыпались на пол.

«Томится... Замуж пора, вишь нарядилась. Платье не берегот...— подумал Кузьма.— «Что касается приданого, посмотрим»,— говорит. И в ней кулацкая порода скажется. Все они из-за приданого горло друг другу перегрызут... Вишь ты, посмотрим, говорит!»

14

Федор Пискунов дежурил. Стук колотушки летел в спутанную вечернюю мглу. Кочки под ногами брызгали влагой. На увале земля была сухая, но меж палаток стоял туман, и казалось, что табор качается. Рядом плескалась река. Лопались клочья пены с коротким шипящим звуком.

Федор бездумно запел.

Из палатки тотчас же выскочила Катерина Баженина и, подойдя к нему, сказала:

— Помолчи-ка, парень. Пусть люди поспят: неизвестно, какой день завтра выдастся.

Как только она ушла, мимо Федора прошмыгнула темная фигура.

— Кто идет? — негромко окликнул он.

— Это я, Федя...— жалобно отозвался мальчишеский голос. Федор узнал Аркадия.

— Куда ночью?

— Хочу поудить... С вечера удочки наладил. Червей накопал...

— Да ведь тебя любая рыбешка в воду утянет... Ты удочку и держать не умеешь.

— Умею... Вчера рыбаков видел, долго за ними смотрел. Все уяснил. Пустишь?

— А мать знает?

— Не-ет, разве бы она пустила!

Федор рассмеялся. Одурачить мать, которая даже младшим в семье надоела опекой, эта озорная мысль была отрадна.

— А Мишку что не взял?

— Ну-у, еще проболтается! Значит, пустишь, Федя?

— Иди...

Федор снова остался один. И опять стал думать о том же: «Вспоминает ли обо мне Окся?»

Ее глаза возникали из темноты, встречались с его глазами и манили.

Окся плыла перед ним перламутровым облаком, гордо повертывая голову, усмехаясь одними губами, зрелыми и немятыми.

Рядом с ней возникла вдруг Таня, весело блеснула зубами, насмешливо прищурилась. Облако расплывалось, очертания его нарушались, таяли.

В небо, прямо над головой, выплыла луна. Сонный лагерь, и река, и лес — все окрасилось в прозрачную сияющую кисею да так и застыло. Застыл и Федор, удивленно глядя вокруг.

К лагерю подъехали верховые. Федор узнал в одном фельдшера и не окликнул, только подошел поближе.

Рыжова снимал с седла Полозков из Таловки, что приезжал ночью. Фельдшер еле держался на ногах.

— Что это с ним? — спросил было Федор и подхватил Рыжова, но, услышав запах самогона, отпрянул: — Напоили! — Он с негодованием посмотрел на Полозкова. Тот переминался, держа коня за узды, и молчал смущенно. Федор крикнул: — Тетя Катя, выйди-ка!

Из палатки начали выглядывать заспанные лица коммунаров.

Катерина Ивановна, на ходу застегивая кофточку, приблизилась, сразу все поняла и, обхватив Рыжова, волоком потащила его.

Вышел Кланверис, строго спросил Полозкова:

— Где он был? Кто его напоил?

— Хозяин мой, Вислов, его так отблагодарил,— ответил тот.

Кланверис, подобрев, отметил:

— Батрак, значит? Ну, как у вас на селе настроение? Расскажите... Федя, нашего коня в загон, а гостя Серого привяжи... Пойдем подальше, чтобы людей не побудить.— Взяв батрака под руку, Кланверис повел его к берегу.

Федор привязал коня к березе. Серой масти, статный конь тяжело дышал и вздрагивал.

— Не легко же тебе сегодня досталось... Нам бы такого... Всех лошадей наших стоит,— рассуждал Федор, таща за узду своего мохноногого рыжего коня к загону — небольшой, огороженной жердями полянке.

— Иди, коммунар! Скоро и у нас будут такие, как Серый...

Ударив колотушкой, отчего сонные лошади в загоне шарахнулись в сторону, Федор крадучись тоже направился к берегу: хотелось поймать батрака одного и расспросить, кто такая песенница Окся, какова ее семья.

На той стороне растроганно запел хмельной мужской голос. Федор усмехнулся: опять заворчит тетя Катя.

Оцепенело сидел Аркадий, держа над водой удочку. Леску снесло в сторону, поплавок кружило. Вот мальчик поднял гибкое удилище, выбросил на берег щуренка.

Рыба раскрывала усыпанный острыми зубами рот, судорожно глотала воздух, устало шевелила плавниками, холодная и упругая.

Федор улыбнулся, подумав: «Вон ведь как!» — и, отступив за дерево, неслышно прошел дальше.

Его остановил приглушенный голос батрака:

— Хозяин мой из кабинетских. Еще в крепостное право земли эти записали за царским кабинетом. Вся Таловка — кабинетская. За царем числилась... У меня уже трое детей было, когда война вспыхнула. Меня призвали — лобовой я оказался, и вот опять я не понимаю: хозяин — кулак кабинетский, а ко мне, иногороднему, добрый вроде. Утешал тогда: «Уезжай, говорит, не беспокойся. Что я, не человек, что ли? Пусть Анна — это жена моя — в малухе и остается». И дальше я тоже ничего не понял.

В день именин царицы в казарме у нас был молебен. После богослужения попа и дьякона ротный на обед пригласил. Они ушли, а ризы свои да кисти для окропления у нас оставили, забыли...

Ночью два солдата — веселые шибко были — нарядились в эти ризы и начали нас окроплять водой. Окропляли и пели: «Многи-ия лета-а...»

Суматоха поднялась, смех. Ну, а дежурный офицер об этом по начальству доложил. Утром товарищей наших расстреляли перед строем за оскорбление святыни.

С тех пор я молиться перестал. Даже в окопах думал о боге редко. А о хозяине не забывал. Хороший человек мой хозяин. Женил меня, сам невесту высватал, меня даже слеза просекала, когда я о нем думал. А товарищи меня всё донимали: «Чем он тебя кормил?» — «Всем, что у самих оставалось... И оболокал меня»,— говорю. «А платил,— спрашивают,— тебе?» — «Да какая же плата: я кормился, одевался вместе с женой и детьми...» — «А робили, говорят, ты вместе с женой и детьми сколько?» Вот и донимают и донимают! Да ведь в хозяйстве не посидишь! А они опять: «Вы, говорит, беднота, порознь думаете!» А что мы! У бедноты, как у солдатки,— ничего нет. Затревожился я, дорогой товарищ. В своей жизни неправду почуял... Об Анне тосковать начал. Она в письмах посылала поклоны «от бела лица до сырой земли». Как-то написала, что Краснуха отелилась, это корова хозяйская, что мерин на гвоздь напоролся, хромать начал, что дети живы, а батрака вместо меня не взяли: она заменила. Вот, думаю, не пишет, дура, что Краснуха принесла — быка или телку... И чего Мысей смотрит: Воронко ногу испортил! Письмо иной раз от злобы в лоскутки исщиплю. Прошу товарищей написать, спросить, прошла ли хромота у коня (такой конь как бы не пропал!).

Письма я диктовал одному солдату, Сергею Жаркову. Убили его после. Хороший был... На людей смотрел, как на солнышко щурился.

Хоть одно бы слово только мелькнуло в рассказе Полозкова об Оксе.

Федор бесшумно проскользнул меж сосен к посту. Ударил у палаток в колотушку и снова вернулся на берег.

Река тихо журчала. В ней струились тусклые отражения сосен: казалось, сосны падают и падают. Кланверис и Полозков, сидя на камне, тоже отражались в светлеющей воде и тоже, казалось, падали. Кузьма высекал из огнива искры. Кланверис зажег спичку. Оба закурили. Огонек, вспыхнув в воде, потух, уплывая.

— У нас спичек давно не водится, кремешок выручает,— затягиваясь, отметил Кузьма.

— Ну, дальше, дальше про Жаркова...— торопил Кланверис.

— Так что про него? Когда его призвали, у вагонов жандарм жену его толкнул, а у той ребенок на руках. Покачнулась жена, ребенок-то и выпал. Сергей выскочил из теплушки, выхватил саблю и срубил жандарму голову. Так будто. А взводный приказал Жаркову в вагон садиться. «Разберемся, говорит, на фронте, у нас дела поважнее!» Солдаты в окопе часто говорили: «За пустяк убивают, за убийство прощают! Нет порядка в нашей армии!»

Я все думаю да вздыхаю. Товарищи смеялись: «Вздохни да охни, об Анне сохни, а она о тебе так — не охти мне!» Жарков как-то сказал: «Спросим у Анки, как у вас на селе выборы прошли?» Да чего она понимает, Анка-то? Я и сам тогда понимал не много. Подпись свою рисовал, а не писал: грамоты не знал...

Опять, тихо ступая, Федор отошел, постучал у палаток колотушкой и вернулся.

15

Кланверис сидел против батрака, удивленно смотрел на него и то и дело подстегивал вопросом:

— Ну, а дальше... Что дальше?

— А дальше я совсем запутался: прошел слух, что царя сбросили и правит страной Временное правительство. Временно,— значит, не навсегда?.. На моих глазах убивали и калечили товарищей. А они что, товарищи-то, как и я, знали одно: стреляй и умирай! Своим умом я в ту пору недовольный был. Мучиться, бывало, начну: как мы смеем жить, когда идет такое зло — война! А то кричу немцам: «Ну, чего вы, стреляйте, вот он я! Лучше умереть, иначе я долго помнить буду! А помнить это страшно!» И Анну в мыслях я все спрашивал: «Скажи, как все это забыть?»

А то злость охватит: гонят нас, думаю, как баранов, на убой! А для чего? В окопах новые люди появились, собирали нас и кричали: «Во главу государства поставим президента. Он землю народу даст!» Эти люди дарили нам портрет опухшего человека — Александра Федоровича Керенского. А речи всегда кончали одним призывом.

Кланверис вставил:

— «Вперед до победного конца!»

Оба они рассмеялись.

— Ну, ну, дальше. Ты мне все расскажи, пожалуйста, все!

— Все и говорю. Вот мы и думали: «А Керенский сделает так, чтобы мужики оброков не платили?»

И другие ораторы пробирались к нам. Речи их дерзкие были: «Все — трудящимся. Заводы, земля и власть. Мы — большевики — не будем искать сообщничества у буржуев. Долой войну!» Вот я и не знал, кого слушать: всяк обмануть норовит. Вон про царя, говорят, наврали: не слетел он с трона, а уехал в гости... Анна ни на один вопрос не отвечала, я ее письма понимать перестал: «Не сдурел ли,— пишет,— ты в окопах-то? Какое неравенство? Какие пролетарии? И зачем ты листок печатный послал? Мы его разобрать не могли, и я его спрятала».

Вскоре я в госпиталь попал, где читать научился, а потом меня и домой отпустили. И только здесь начал кое в чем разбираться: вместо слов, которые я диктовал Жаркову, тот писал моей бабе совсем другие: «Солдаты не хотят воевать, война никому не нужна. Скоро пролетарии восстанут».

Только, что тоскую о семье,— это Сергей сообщал полностью, но так, как мне не могло и в голову прийти:

«Дорогая! Это счастье, что ты у меня, Анечка, есть, думаешь обо мне и ждешь меня. А что ты ждешь меня — я знаю! Ты — единственное мое богатство! Интересно, заработала ли ты уже одеяло, на котором спят ромашки?»

Перечитывал я свои письма и смеялся: хорошо подшутил надо мною старый друг! Выкамаривал в письмах-то! Да разве мне так написать? Я ведь слово говорю, а двадцать под языком запутаются. Да и некогда мне было такую басу выводить: онучи на ногах горели. А над таким письмом неделю думать надо!

Громко, весело оба рассмеялись. Смеялся в кустах и Федор.

— Вот что писал мой дружок за меня Анке. Так она меня и встретила. «Уж и писем я твоих ждала! — говорит.— И наревусь-то, как получу, до того ты жалостливо их писал. Уж так я ждала тебя! Так ждала!»

Сама высохшая, тощая, грудь впала, одета в старое облезшее платье. Губы даже сморщились, как есть озябли.

«Ты же, говорю, была вся налитая, а теперь ровно выпала».— «Зато сохранилась,— радуется она,— бабы без

мужей все извертелись. Бог знает, сколько я без тебя, говорит, слез утерла, а себя сберегла...» Руки ее метались, а ногти на пальцах толстые, желтые, как ракушки. А может, они и раньше были такими, только я не замечал.

Ребятишки выросли. Свесят головы с полатей и смотрят на меня как на чужого. «Как ты их растила тут?» — спрашиваю. Смеется: «Не бай! В песни кутала,— говорит.— Некрещеные лучше растут!» Они у нас не крещены: поп за крестины-то денег просит, а деньги нас не любили. Вот Анна и говорит: «Слава богу, и мы не без доли: денег нет, так дети есть. Лидка — у титьки, Федулька — в люльке, Галёнка — в пеленках!»

— А она у тебя веселая! — посмеиваясь, вставил Кланверис.

— Анка-то? Ого! Ее ничего не пугает. А меня пугает. Показалось мне, что ребятишек у меня что-то много, целый тын. До снега они бегали по улице босиком. Зимой по очереди надевали старый материн полушубок, подшитые ее катанки, валенки по-вашему, шапку мою нахлобучивали! Ну хоть удавку на шею!

С тех пор я все почему-то виноватым себя перед женой чувствую, все мечтаю, как бы ее счастливой сделать.

В доме хозяина все было как и раньше. Батрак Мысей, верный мой напарник, состарился. Бороденка выгорела, истерлась, но глаза, понимаете, глаза смотрели по-другому, с какой-то обидой.

— Ну, а солдат много на селе вернулось?

— Много... Вернулся Тарас Соколов, лесообъездчика сын, парень из зажиточных, раньше заносчивый был, а теперь изменился — задумчивый, тихий. Он стал ко мне даже наведываться, все говорил, что жизнь неверная, что справедливости на земле нет. Иногда и на сходках кричал об этом. Ну, а что? Ну кричит. Слова падут, как камни в стоячую воду: всколыхнут сердце, и опять все по-старому. Он, Тарас-то, мечется от одного к другому, все убеждает, куда-то зовет... Послушаешь его, тоска поднимается: все я ждал перемен, а где они — перемены-то?

— Всегда ли ты был сыт? — спросил серьезно Кланверис.

— Не всегда. А живу. Ведь меня с моим выводком когда-нибудь придавит в малухе-то... Да и село как чу-

жое... Многое я увидел, чего раньше не замечал: у реки — богатые дома, кто победнее — строится дальшей. Солома на крышах разметана... Вот только с вашим приездом надежды у нас вспыхнули снова.

Я вот всю жизнь в батраках при хорошем хозяине, а тоже к вам клонюсь. Богатеньким что? Земля у них лучшая! Сенокосы — тоже. Кедровники — тоже. А у нас полоска есть — семян нет, коня нет. Да и земля самая худшая. Вот вы бы землю в Таловке просили. В Гусином вам хорошей земли не дадут, она им дареная, а у нас, в Таловке, земля царская, теперь, значит, общая. Мы бы около вас погрелись.

Федор снова тихо отступил за сосны и ушел к палаткам.

Луну скрыло облако. Над рекой дрожал розоватый туман.

«Землю в Таловке... Конечно, в Таловке! — думал он.— Там Окся... А Таня?» При воспоминании о Тане парня бросило в пот. «Но ведь она с Вавиловым! Годами она старше. И ведет себя как старшая, ее за руку не возьмешь. Она возьмет. А я по чужой тропе не пойду. Да и лицом против Окси не вышла...» Разобрав так девушку, Федор обрадовался чему-то, точно освободился навсегда от тяжелого гнета.

Небо светлело. Облака, и в самом деле перламутровые, грядой мчались по небосклону. Расцветали под ногами часового жаркие лютики. Непуганые гуси сели на воду, хлопая крыльями и гогоча.

Липа около палатки бросила на землю прозрачную тень. Но и рассвет, и уплывающий туман, и отступавшее небо, и эта липа, и песчаный берег — ничто не отгоняло раздумий Федора. Обе девушки по-прежнему стояли перед глазами, улыбались и манили.

В небе треугольником плыли журавли. Федор проводил их глазами.

Вернулись с берега Кланверис и Полозков.

Федор не мог говорить о девушке при свидетеле, отвязал Серого, долго гладил его, желая привлечь к себе внимание батрака. Но тот влюбленно смотрел на Кланвериса и твердил:

— Если рядом жить будем, я вам всю бедноту соберу. Я не боюсь. А там поприсмотрюсь да, может, и сам постучусь в коммуну.

Кланверис весело поздоровался с Федором:
— С нынешним днем, часовой!
Затем остановился у груды мешков с зерном, прикрытых брезентом, и глубоко вдохнул воздух.
— Люблю запах зерна,— сказал он.
Федор рассмеялся.
— Да зерно и не пахнет...
— А ты меня не разочаровывай. Я думаю, что пахнет.
— Да ведь, наверное, никогда не пахали?
— Пахал. На немецких баронов работал. И тогда запах зерна меня волновал.— Кланверис прошел к реке.
Снова возникла песня на том берегу и растаяла вдали, не задевая; конский топот, внезапно возникший неподалеку, не насторожил парня. А цоканье копыт ближе, ближе и злее и враз прервалось.
У палаток раздался сердитый крик:
— Эй, проходимцы! Убирайтесь от нас, покуда целы! Вишь подсыпали! Земли им дай! Да мы нашу землю казачьей кровью своей заслужили! — Голос был грубый, срывающийся на визг.— У вас в Питере дом, там и живите. А если забыли туда дорогу, мы батогами ее укажем!
Федор вышел из-за кустов.
Испуганные женщины выскочили и жались к палаткам. Молодежь, столпившись, враждебно молчала.
Верховой на гнедой лошади, в казачьей фуражке, с детским заветренным лицом; ржавые зубы выдавались вперед, на висках кольчиками зализаны волосы. Он размахивал плетью и, сверкая маленькими глазками, продолжал:
— Попомните казачьего сотника Щербакова! Мы землю кровью заслужили! И еще раз не побоимся, прольем свою кровь, а вас изведем! — Щелкнув плетью, он ускакал.
— Вынесла темная сила! — словно удивился Кришанин.
Ян с ненавистью проводил глазами сотника и взглянул на председателя:
— Ты все еще надеешься, что нас примут с любовью?
— Если ты в это не веришь, тогда я не понимаю, зачем ты здесь остаешься, Иван? — вскипел Кришанин.
— Я никогда не прятался, ты это знай. Я никогда не

прятался и никогда не буду прятаться, если другим трудно. И ты, пожалуйста, это запомни.

Федор лег в кустах: в палатке было тесно и сыро. Но уснуть не мог. Однако не заметил, как вернулся с рыбалки Аркадий. Долетел возглас Кланвериса:

— Рыбы-то! Да какая крупнющая! — Голос Яна дрожал от недавней обиды.— Вот и питание!

— Всем, пока отдыхаем, можно ловлей заняться,— говорила Катерина Ивановна, немедленно отправляясь на берег чистить рыбу.

Один за другим зажглись вокруг лагеря костры: семьи, остающиеся в Гусином, готовили завтрак, каждая — свое, каждая — в своих котелках. Пахло жареной картошкой, мясом.

— Где они достали мясо? — поинтересовался Кришанин.

— Вчера без вас бабы на базар в Гусиное бегали,— отозвался кто-то.

— Видно, давно задумали от коммуны оторваться, предатели!

— Мы будем ждать. Кто умеет ждать, тот во всем успеет.

Катерина жарила рыбу. Неестественно громко говорила:

— Аркаша нас сегодня рыбой накормит... Мы как коты замурлыкаем.

Сверкали мелкие и редкие еще листья березы. За рекой курились горы.

Ветер клонил березы, свистел в ушах.

Федор лениво думал: «Двадцать семей опять откололись... Весна пригревает, сеять скоро, а эти — бежать. Не задумывают ли и мои старики бежать?» От неожиданной этой мысли он порывисто сел, посмотрел на семейную палатку: вот выскочит старик и объявит, что остается в этом базарном селе. Но вместе с тревожным ожиданием неотступно росла радость. Федор долго не мог понять, отчего нет-нет да сердце вздрагивает.

Полог, прикрывающий лаз в палатку, зашевелился. Вышел отец. Федор сжался от стыда и позора.

Старый Пискунов и в самом деле приближался к правленцам, но сказал совсем не то, что ожидал сын:

— В Таловку, в сельсовет переправиться надо. Может, там нам земли дадут...

— Правильно, Пискунов! Разговаривал я с одним из Таловки,— подхватил Кланверис.

Федор расслабленно лег: нет, он совсем не знает людей, не знает даже собственного отца!

Радость снова окатила его теплой волной. Он вспомнил: Окся! Назло насмешнице Тане Орловой есть Окся. Сероглазая девушка. Отец — честный коммунар. Он починил руль у баржи, и никто его об этом не просил, не уговаривал. Все хорошо!

Федор стремительно вскочил.

— Возьмите меня в Таловку!

— Фу-ты, чертяка! Скачет, как лешак!

— Возьмите меня! — умолял парень.

— Ты же ночь не спал!

— Сане помогу... Она все мечтает с молодежью сельской познакомиться... Вот я и...

— Ну как, товарищи? Нельзя нам от такой подмоги отказаться?

— Возьмем парня!

Откуда-то появился Рыжов с опухшим лицом и всклокоченными волосами. Он тоже попросил:

— Возьмите меня в Таловку.

Кришанин сердито бросил ему:

— Не заслужил. Опять там напьешься! Вот мы о тебе еще поговорим!

Рыжов, что-то бурча, снова скрылся в палатке.

— Только как нам добраться в Таловку? Горы да ущелья объезжать, говорят, верст на двадцать дальше. По реке близко, но лодок нет...

— Отдыхать! Утром решим! Отдыхать, товарищи!

17

Вода в реке прибывала. Пенистые валы устремились к берегу, подгрызая скалы. Из камышей поднялись утки.

Федор нарезал гибких ветвей черемушника, переплел ими оставленные на берегу половодьем плахи.

И вот они плывут на плоту, держась берега: здесь меньше течение. Упираются кольями в каменное дно. Колышется плот, кренится то вправо, то влево.

Солнце начинает сильно припекать, кол в руках тяжелеет. Волны плещут на плот, окатывают ноги.

Село Таловка рассыпалось на прибрежных холмах. Кондовые, рубленные из лиственниц дома обнесены высоким забором, крытые наглухо дворы, как сундуки. В низинах дома беднее. Под соломенными крышами они казались кочками. Огороды, разделенные пряслом, сбегают к самой воде. И казалось, что огороды и бани прибило волной к этим холмам.

Почти у всех домов окна во двор. Какая жизнь в них идет — никто не знает, никто не видит. Своя под каждой крышей.

Привязав плот к пряслу чьего-то огорода, коммунары медленно пошли по улице села. Большая церковь отбрасывала широкую тень на землю.

Пыль мягким войлоком лежала на дороге. Молча полз ребенок, держа во рту тряпичную соску.

Шарахнулись из-под ног к заплоту две уснувшие на тропе овцы. Около церкви на воротах большого старого дома вывеска. Дегтем выведены слова: «Таловский сельсовет».

Кришанин твердо ступал, вскинув голову, готовясь к встрече с хозяевами села, как к испытанию: как бы не ошибиться в разговоре ни словом, ни жестом. С сельчанами предстоит жить рядом многие годы, а может, всю жизнь! Приезжие должны понемногу притягивать их к коммуне, потому что жизнь коммуной — самая правильная жизнь.

Медленно взошли коммунары на шаткое крыльцо, ступая по выщербленным половицам, миновали просторные сени и сразу попали в большую пустую комнату.

На столе лежали бумаги, покрытые пылью и порыжевшие от солнца.

На стене висел портрет Керенского. Кришанин с недоумением посмотрел на председателя.

Быстрый, маленький, с неуловимым взглядом мужик, Василий Терехин бежал навстречу, как бы катясь на коротких ножках. Встретил он гостей радостной скороговоркой:

— Слыхал, слыхал, что прибыли из Питера коммунию разводить... Помогай вам бог, если честное дело! Сейчас спосылаю за членами Совета, и мы решим... Есть у нас... есть землица, слава богу! Излишки есть. Соседями будем... Ну, как у вас там, в столице-то, революция кончилась ли? У нас все еще власть делят, не знаешь, на кого глядеть! — Он выскочил из просторной избы и в сенях пронзительно

закричал: — Малаха! Слышь, что ли, Малаха! Протри глаза да беги... Зови сюда Алеху Соколова, Прохора Вислова. Других не надо! Другие супротив пойдут!

Послышались звонкие шаги босых ног.

Председатель вернулся, снова сыпал словами, сверля коммунаров недоверчивым взглядом.

— Сотник из Бухтарминской станицы Щербаков вчера приезжал: помешали вы ему чем-то... А я с другого бережка на вас посмотрел, славно вы у водички устроились, чисто деревня холстяная! Оно бы и хорошо! Река у нас богатая, добрая, всех кормит... Да нет, я не супротив: дадим землицы!

Вошел в сельсовет Алексей Соколов — богатырь, широкоплечий, бородатый и остроносый. Пегие волосы на голове были густо намаслены. Следом появился Прохор Вислов. Они уже знали, о чем пойдет речь, и слушали председателя рассеянно, скользя по гостям внимательными умными глазами.

— Так что же,— говорил Терехин.— Против никто не будет, если непаханую землю отдать. Земля свободная, из кабинетской. Можно благословить, пусть обживают...

— Как переезжать будете? Тяга-то есть ли? А пахать на чем? Землю поднять не шутка, зубами не пережуешь.

— Вспашем,— дружно ответили коммунары.— Нам бы сегодня и посмотреть ее.

...Услышав зов хозяина, работники кинулись к сельсовету.

Когда поняли, что нужно везти коммунаров в степь, оба бросились закладывать лошадей.

Мысей задыхался, стараясь опередить товарища. Ветер раздвоил его бороденку. И все-таки, когда старик только подходил к конюшням, Полозков уже вел пару вороных к телеге.

Как всегда безмолвно, Мысей уставился на товарища. У него дрожали руки, дрожала отвисшая мокрая губа.

Кузьма понимал, что происходит в сердце старика, во всем уступал ему, но здесь решил стоять на своем.

— Не могу, Мысей... Мне надо... Понимаешь, надо увидеть питерских близко... Я тебе потом обо всем расскажу...

Он надел на вороных наборную широкую сбрую с расписной дугой и серебряными колокольчиками, вскочил на облучок, оглянулся на печально стоящего у ворот Мысея и крикнул:

— Но-о!

Нужно было только переехать улицу. Лошади не успели рвануть, как Полозков уже осадил их у сельсовета и соскочил, чтобы не сбоку, а прямо в лицо увидеть новых людей.

Первым спустился с крыльца молодой красивый парень в черной косоворотке, похожий на цыгана, приподнял перед Полозковым фуражку. В нем Кузьма узнал коммунара, который стоял на часах в ту ночь. Потом Алексей Соколов вывел на крыльцо двух пожилых рабочих.

— Пожалуйста, усаживайтесь.

— Спасибо.

Купались в дорожной пыли воробьи, булькали бубенчики под дугой.

«Главный тот, который Рыжова будил»,— догадался батрак.

Парень, похожий на цыгана, сел сбоку и все оглядывался, будто что-то искал. Из калиток выглядывали женщины. Полозкову хотелось, чтобы все видели, как он везет коммунаров в степь.

Прогнали богатое тучное стадо коров.

Лысый, с детским морщинистым лицом пастух хлопал по пыльной дороге мочальным хлыстом и чихал. Мальчишка в холщовых штанах дудел в медный рожок. Однообразный и жесткий звук рожка пробирал до дрожи.

Федор заявил:

— Я на степь не поеду... С селом буду знакомиться.

Старшие не настаивали.

Сытые лошади взяли дружно и быстро погнали следом за стадом. Горячая пыль столбом завилась на дороге.

— Земельку мы отведем хорошую. Массив огромадный. Как только справитесь без лошадей? — сказал Вислов и промокнул красным платком лоснящуюся от пота лысину.

— Вези, Кузьма, за Пихтари,— приказал председатель Совета.

Полозков вздрогнул: на мертвой степи, за Пихтарями, росли одни ковыли. Поднимать ее никто не решался.

Вступить в разговор батрак не умел и очень жалел о том, что среди коммунаров нет Кланвериса. Да и председатель говорил уже о другом, допытывался, как приезжие думают жить.

— Я так понимаю, что власть вас манит? — спросил Вислов.

— Мы ее имеем,— с улыбкой возразил Кришанин.

— К доходам пробраться?

— Нет, товарищ, и доходы нам не нужны,— с явным удовольствием объяснил Кришанин.

— Так что же?

— Хочется направлять судьбу... народную...

— Вон ведь как! Ничего у вас не выйдет. Я один-то, так мне хлебушко одному кланяется. А вы придумали! — Вислов стащил с головы картуз, чтобы снова охладить вспотевшую лысую голову. Недобрые губы его почернели. Чуть не с угрозой повторил: — Земельку вам дадим что надо! С хлебушком будете!

Полозков несмело вставил:

— За Тимошихой земля надежнее, паханная когда-то. А за Пихтарями — целыжень: плохая, отроду лемеха не видала... Никакой упряжкой ее не поднять!

Соколов и Терехин переглянулись. Вислов метнул на батрака злой взгляд:

— Помолчи! Зато здесь земля немереная...

Ущелья, овраги, бурые весенние ручьи. Вершины гор, как петушиные гребни, резали ласковое небо. На деревьях шуршали молодые клейкие листки. Сухая дорога пылила.

— Нас от всех бед горы стерегут...— неизвестно к чему произнес еще Вислов.

— А верно ли, что Временное правительство прогнали? — спросил Терехин.

— Верно, товарищ! И надо было прогнать. Оно перемалевалось в другой цвет. Керенский-то пустозвонил только, обманывал, да и скатился до защиты империализма. Вон в июне прошлого года мирную демонстрацию рабочих и солдат расстрелял. С Корниловым снюхался... Прогнали их не без борьбы... Побоища такие были, что земля кровью обливалась. А теперь рабоче-крестьянская власть,— неожиданно Кришанин рассмеялся.— Знаете, как в народе поют:

При царе, при Николашке,
Мы ходили без рубашки,—
А при Временном дошли —
Без порток гулять пошли.

— Посмотрим, как ваша-то власть искрой жизнь нагреет,— сквозь зубы обронил Вислов,— с Временным-то крестьянству легче было бы.

— Временное... значит, не постоянное...— вставил, не оборачиваясь, с облучка Кузьма.— А Ленина вы видели? — спросил он еще.

— Видели. Все почти видели. С митинга на митинг бегали. Услышим, где он выступает, туда и бежим.

— Эхма! — с завистью простонал батрак.— А я только портрет на бумажке видел. На фронт нам в окопы присылали.

— Ну, ты гляди, куда правишь! — крикнул Вислов и сердито ткнул работника в спину.

Выехали из ущелья, миновали густой пихтовый лес, угрюмо стоящий по краям дороги. За ним далеко развернулась степь, черная, зыбуче бескрайняя. Гладь ее у дороги нарушалась бахромой елей и пихт. Поднимался чернобыл и сухая дымчатая полынь. Это и была та земля, которую отдавали коммунарам таловцы,— Пихтари.

— Не берите эту землю! — выкрикнул Полозков.— Не справиться с ней. У нас лучше есть, паханая,— и оглянулся на хозяина.

Терехин деланно засмеялся.

— Распорядился. Ну, что ты понимаешь? Другой земли им Совет не даст. Выхода у них нет. Спасибо пусть скажут, что хоть эту выделяем. В Гусином совсем отказали. А мы вот дали... И то потому дали, что для родины они стараются.

Кришанин внимательно посмотрел на председателя Совета: всякая бывает любовь к родине.

Как всегда, ему сейчас недоставало жены. Что она почувствовала бы, видя эту целыжень, то есть нехоженую, пустую землю, что сказала бы? Он привык глядеть на все ее глазами. Поговорив мысленно с Верой, он произнес вслух:

— Землю возьмем.

Пискунов согласился:

— Выхода нет другого.

— Посмотрите, что здесь через год будет! Косилки пройдут. Хлеба скирды вырастут,— мечтательно сказал Кришанин.

— Посмотрим! Отдали бы всю землю крестьянам в частность, вот коммуния и была бы! Ведь об этом и Ленин говорил...

Слова Вислова возмутили Кришанина своей вопиющей неточностью.

— Ленин не говорил так.

Рыжая борода Прохора блестела. Лицо было багровым.

— А нам как, сеять нынче или нет? Ведь, слышно, все отберете? — ехидно спросил он.

— Откуда такие мысли? Сплетня это. Конечно, сеять! — рассердился Кришанин.

Полозков больше в разговор не вступал. Непокрытую голову сильно пекло, но он этого не замечал. Как всегда перед большим решением, он побледнел: «Вот они, большевики... Побратали пахаря и рабочего...»

— А меня вы взяли бы к себе? — спросил он.

— И то... Коммуна сразу на семь едоков прибавится! Ополоумел! — закричал Вислов.— Да я тебя всю жизнь кормлю-пою, оболокаю, да сейчас тебя и отпусти!

— Сколько под твоим началом жить? — огрызнулся батрак и подумал: «Из-за чего ругаюсь? Ведь и верно, нехорошо будет столько едоков коммуне навязывать».

— Если на две стороны кланяешься — не работник! Иди!

— А что, и пойду! — испытывая взглядом Кришанина, повторил Кузьма.— Одному и дорога долга! У них вон какое хозяйство будет! Только... еще за тобой деньги остались,— подразнил он Вислова.

Правленцы, понимая, что батрак уже выходит из-под власти хозяина, внимательно слушали этот спор.

— Много ли за мной? — спросил визгливо Вислов.— У тебя столько осталось, что и кармана не надо. Они вот приехали на чужедальнюю сторонушку. Здесь для них всякая щетиночка торчком встанет. И для тебя...

Кришанин помрачнел и сурово перебил Вислова:

— Особенно не надейтесь.

Полозков все посматривал на Кришанина, ожидая ответа на свой вопрос о вступлении в коммуну. Тот, занятый другими мыслями, молчал. Это Кузьма расценил по-своему и примирительно произнес:

— Пошутил я, хозяин, не сердись. Куда мне: малых детей у меня много...

18

Федор наконец увидел Оксю. Волосы ее были завязаны платком, длинная старенькая юбка подметала пыль. Хворостиной Окся подогнала к стаду несколько коров и оста-

новилась, поджидая подводу, поставив к глазам ладонь. И опять Федор испытал уже знакомое ему ощущение чистоты.

Девушка, узнав его, резко отвернулась и пошла на противоположную сторону улицы, к домам, огороды которых скользили к Бухтарме.

Федор, не раздумывая, спрыгнул с телеги.

— Я вас у плота подожду! — крикнул он коммунарам.

Окся дождалась его, быстро и воровато огляделась по сторонам и, задыхаясь, зашептала:

— Нельзя нам говорить здесь, Федя... Приходи на берег, я словечушко тебе скажу. Я в избе вымою и приду...

Федор не успел спросить, куда именно придет она: берег длинный. Но девушка уже скользнула в калитку.

Федор оглядел дом. Ого! Лучший во всей Таловке пятистенок с огромными пристроями и службами. Покатые конусные крыши дома и амбара, покрытые зеленым железом, слились, словно два горба. В палисаднике густо торчали, кланяясь под ветром, ветви малинника.

...Уставший от ожидания Федор уныло бродил по берегу. Ветер свистел. Река кидала мокрой светлой пылью. Федор обошел несколько огородов, пока не нашел по горбам-крышам усадьбу Окси. Кроме дома и служб на огороде стояла баня с оконцем в сторону реки, ближе к берегу — маленькая выбеленная избушка с черными наличниками, отчего казалась чернобровой. В углу огорода, почти на самом берегу, на разбросанной вокруг щепе, высился свежий сруб.

Близился полдень. Солнце съедало тень, падавшую от сруба; еще не вспаханный огромный огород был засорен прошлогодней ботвой.

Значит, родители Окси кулаки и сейчас выслеживают каждый шаг коммунаров, боятся их и будут им мешать. Ведь кулаки, в их числе, может быть, отец Окси, останавливали эшелон питерских рабочих и палили из ружей в окна вагонов. Отец Окси убивал и жег — вот что кинулось в голову Федора.

Может, уйти спокойно к плоту, дождаться своих и вернуться в табор, не искать больше сероглазую змею, не терзать сердце?

А вдруг Окся не хозяйская дочь, а батрачка? Кулацкая дочь не погонит коров, не будет подолом собирать за стадом пыль.

Мысль, что Окся батрачка, до испарины обрадовала Федора. И будто не было в его жизни Тани, не было горькой измены, не было ничего! Только одна теплоглазая сибирская девка, которую он воспитает, с которой, может, будет строить новую жизнь. Жизнь в коммуне, общую жизнь.

«Песни петь будем! Она запоет, так скворцам в лесу делать нечего!» Ему показалось, что попал он в светлый мир, звонкий, сияющий и ласковый.

Стайкой прошли берегом дети. Невдалеке начали раздеваться. Цветные рубашки яркими пятнами легли на гальку.

Парнишки купались, ныряли явно для Федора, плавали и на животе и на спине, окатывались, брызгали, кричали:

— Ой, ой, вода дно унесла!

— А смотри, как я умею!

— А я по саженке...

Федор, сидя на гальке, посмеивался:

— Вот так вода дно и унесла!

— Чо-то весело так? — с гневной обидой спросила, подходя сзади, Окся. Пустые ведра, висевшие на коромысле, дрожали.— Радуешься, что я на словечушко позвала?

Федор вскочил. Надо стоять рядом с ней спокойно, несмотря на то что сердце сильно бьется. Бережно взял девушку за руку:

— Окся... радуюсь я, что встретил тебя...

Окся вырвала руку:

— Смел больно, питерский... Ни к чему эта свиданка. Отец не отдаст меня за коммунара.

Федор враз остыл, отстранился. У него чуть не вырвались обидные для девушки слова: «Я еще и не сватаю».

Вовремя сдержав себя, он оглядел черный огород, баню, избу в безлистой раме палисадников с петухом на коньке, крыши пристроек, разрезающие небо, и спросил:

— Это все ваше?

Девушка кивнула.

— Как звать твоего отца?

— Ни к чему это. Прохором звать Висловым.

— Прохор? Лысый? В бороде рыжина? Землю уехал показывать?

Окся снова кивнула.

— Он, значит, кулак?

— Бедняки на собрании так называли. Но он у меня хороший: батраков не обижает, одаривает к каждому празднику...

— Он в Совете?

— Да. Плохого не выбрали бы...

Дрожало и убегало марево жаркого дня. Волна налетела на берег, рыла гравий, рассыпалась с шипением и скользила назад, подпирая собой новые валы. Все еще купались ребятишки, визжали радостно:

— Ой, ой, вода дно унесла!

— Не к лицу нам и видеться,— все говорила Окся.

— А я-то думал, что в коммуну тебя переманю.

Окся всплеснула руками:

— Вон как слова-то не берегот! Сказал! Нет уж, я буду приданого дожидаться... Или умру. Для меня без тебя бел денечек смеркнет... Ты — сильный, но ты — пролетария.

— Да, и горжусь, что пролетарий.

Окся резко отшатнулась. Соскользнуло с плеч коромысло с ведрами. Ни тот, ни другой не поднимал их.

Волны шуршали галькой, заливали босые ноги Окси, покрывали их пеной.

— Гордишься? Чем это? Мне хозяйство надо. А тебе и свадьбу не на что справить! А я у тятеньки вот этот сруб выцыганила.

Федор подумал: «Простовата. Что в голове, то и говорит». И показалось ему, что встреча с ней какой-то обман. Но чтобы не ранить ее простоты и доверия, он бросил:

— Вот, значит, какое твое словечушко? — повернулся и пошел по берегу.

Окся шла за ним:

— Федя, ну давай так дружиться будем, пока ты хозяйство заводишь. Я без хозяйства не могу... Коня своего, коровку... Век минутой не прожить. У нас здесь у каждого корова есть. А вы пролетария...

— Ну что ж, давай дружиться... А как нам дружить? Я тебе писульку напишу: выходи, мол...

— Да я неграмотная.

Трепещущий от жары воздух, казалось, вздрогнул от слов Окси. Нежная березка, перебитый в суставах кустарник на берегу — все задрожало и заметалось. Федор изумленно крикнул:

— Ох ты! Неужели нисколечко не училась?

— Просилась в детстве, а тятенька говорит: «Мать, поставь-ка бердо ей, пусть ткет, пусть девка учится!» У нас здесь и школы нет... Только песням учусь. Ох и люблю!

— Ну давай я тебе азбуку принесу... У Сани попрошу.

— Мачеха выкинет...

— Ох ты! Саня сама тебя учить будет.

— Это та, беленькая? А она тебе кто? Все Саня да Саня.

— Никто. Наша коммунарка.— Посмотрев на девушку, Федор рассмеялся: — Ну так я сам буду тебя учить.

— Учи...

— Вот мы устроимся, тогда и начнем науку...

Солнечные блики на воде мигали, перебрасывали волны одну к другой. Федор вернулся к плоту. Правленцы уже ждали его. Отец заворчал:

— Зачем ты увязался за нами? Я-то, дурак, думал, что ты во все вникать хочешь! Позор один. Где был?

— Землю-то дали? — хмуро спросил Федор.

Отец промолчал.

Кришанин нехотя ответил:

— Дали... Только далеко переезжать... Дорога трудная. И лесной участок для строительства отрезали там же...

Жители табора высыпали на берег встречать «ходоков». Плот причалил под восторженные крики детворы.

Все старались протиснуться ближе и прочитать бумагу, которую Кришанин держал в руках. Это было право на землю. Прочитав, каждый коммунар, довольный, отходил, словно документ придал ему твердость и силу.

Федор лег в кустах на сухую землю, чтобы подумать об Оксе. «Верит она мне... А это обязывает, когда верят... Только мало я еще ее знаю. Ой как мало!»

19

Мужчины уже три дня как начали переезжать на постоянное место, строили на Пихтарях бараки, склады, мастерские, выламывали камни из скал для фундаментов.

На месте старого лагеря оставалось с полсотни семей.

Вера Степановна не понимала, отчего у мужчин измученный вид, отчего, возвращаясь, они валятся спать, не поужинав. Константина не расспрашивала.

В последнюю ночь он разговорился сам:

— Ты завтра будь осторожна: там ущелья да пропасти. Один шаг неверный — и крышка. Председатель Совета — кулак. Член Совета Вислов от обложения пасеку скрыл.

Вера Степановна гладила тяжелую загорелую руку мужа и думала: пусть выговорится.

— Место для поселка у нас веселое, на самом берегу. Тетя Катя сказала: «Не надышусь никак!» Но дорога страшная!

Константин вскочил с постели, в одном белье выбежал наружу и закричал:

— Товарищи, кто не спит, выходите, не все еще мы обдумали...

Жена улыбнулась: не успокоится он, пока коммуна не начнет действовать.

На берег наползал туман.

«Застудится»,— думала она о муже, отличая его голос из всех.

— Порядок нужно обсудить: сколько часов работать будем, сколько отдыхать... Мы кое-что прикинули со строителями. Тетя Катя уже на столб железяку повесила для побудки...

— А что вы прикинули?

— А то, что для отдыха времени пока мало остается. В четыре часа побудка. Позавтракаем, задание получим, жилище строить начнем, землянки, бараки. Упряжь чинить. В двенадцать пообедаем. Часа два отдохнем, да опять за дело!

— Ты, наверное, спать совсем не будешь? Ты и здесь не спишь и нам не даешь!

— Беспокойно мне! Мало нас. Людей надо больше... Кланверис тоном пророка произнес:

— А к нам придут. Вот увидите, беднота придет. Но бороться надо за каждого человека. До этого каждый из нас жил для себя, а теперь — для всех. Это не сразу поймут.

— Все-таки беспокойно,— повторил Кришанин.

«Беспокойно». Вера Степановна улыбалась в темноте. Да, ей выпала нелегкая доля — муж стал беспокойным. Живет в постоянной тревоге за людей. Надо помогать ему. Во всем помогать.

И то, что она всю жизнь помогала мужу, во многом направляла его, наполнило ее гордостью. Она ему очень нужна. Очень. Ей интересно с ним и радостно.

Белая ночь поблескивала в черной воде. Черемуха дрожала от холода, свешиваясь с берега. Листья ее еще не распустились, но все ветви были усеяны метелками нераскрытых цветов.

В лаз палатки тянуло прохладой. Слышно было, как плескалась река, журчали ручьи. И голос мужа уже спокойно журчал, убаюкивал:

— Думаю, что к пахоте кое-что построим.

— Как пахать-то? Лошадей мало!

— Не умирай раньше времени. Прикупим!

Вера Степановна ненадолго задремала, но испуганно вскочила: что-то изменилось вокруг табора, слышалась возня. Рассмеялась над своим испугом: мужчины грузили последние вещи на телеги. Значит, нужно будить детей, снимать последнюю палатку.

Табор двинулся. Ныли телеги. На возу качалась люлька.

Девять парных подвод, груженных узлами, семенами, ящиками, ежедневно делали только один рейс к новому поселку, который там в эти дни закладывался.

Бежала дорога, струилась как ручей, то ныряла в пропасть, то поднималась в увалы. На подъемах коммунары сами впрягались в повозки. Перед спусками в задние колеса вставляли колья, чтобы телегой не убило лошадей. Бурные потоки клокотали на дне ущелий.

Высокие сосны стояли у скал, корни их врастали в камни.

— Ну, ну, люди, подтягивай! — кричал председатель и хватался за дышло, тянул повозку вверх, на гору.

Пот заливал всем лица.

Только в пути поняла Вера Степановна, какую битву выдержали товарищи, перевозя лагерь. В полумраке не видно бурлящей на дне ущелий воды, только слышался шум, будто земля рокотала. Ужасом наливались глаза лошадей. В расщелины было видно светлеющее небо, будто в оправе скал, по которым полз кверху плющ. От передней подводы донеслись слова мужа:

— Осторожно, Степан! Вправо держи... Женщины, детей не отпускайте!

Уже совсем рассвело, когда осилили одно ущелье, длинное и узкое, будто прорезанное ножом. Лошади храпели, задирали морды, скользили и осторожно нащупывали дорогу.

Федор Пискунов неожиданно затянул песню:

> Я от солнца, я от непогоды
> Лицо бело берегла...

Так пела Окся в первую их встречу. Слова эти не выходили из головы парня.

Выбрав более широкую дорогу, Вера Степановна соскочила с повозки, пробежала вперед, где черная дуга над коренником высоко врезывалась в небо. Захватывало дыхание от крутизны спуска. За несколько часов люди, казалось, еще больше исхудали, измучились. Она боялась: надорвутся.

Увидя жену, Константин прикрикнул:

— Зачем сюда? Иди к последней подводе, береги детей! Сейчас снова начнется подъем.

Слышался скрип осей, усталые голоса:

— Лошади смирные... бояться за них не надо, не понесут.

Дети вначале было примолкли, но скоро освоились и развеселились: сдирали плющ, на камнях царапали какие-то слова.

Теперь по одну сторону утеса разверзался обрыв. Дно завалено камнями, отторгнутыми от гор.

Вдали дрожал воздух мелкой причудливой зыбью.

Федор Пискунов, прервав было песню, завел ее снова.

> От худой славы-напраслины
> Никуда млада я не ушла!

— Да помолчи ты, ноет, ноет, как на панихиде! — прикрикнул на него Кланверис.

Федор, обиженный, смолк.

Женщины несли на руках малышей, поддерживали усталых стариков.

Но вот горы раздвинулись.

Все в изумлении остановились: внизу, в укрытом от глаз уголке, наполненном нежностью и тишиной, в яркой зеленой долине, плавился лагерь. Длинные ряды серых палаток образовали улицу. Над единственным бараком бился на ветру флаг, горел острым красным цветом; на нем струилась белая надпись. Сбоку, на увале, стояла большая сосна с раздвоенной вершиной. А широко вокруг — открытый простор степи. Черная степь, казалось, мощно дышала. Далеко на горизонте ее обступили горбатые горы.

Здесь все было необычно и дивно.

Река Бухтарма петляла рядом, как дорога.

На другом берегу, версты за две ниже течения, стояло село, Таловка. А напротив, на высоких камнях стена пушистого пихтача.

По берегам был разбросан желтый первоцвет. Земля золотилась. Как кочки, выпупились розетки морщинистых листьев, а в середине — стрелки, увенчанные зонтом желтых колокольчиков.

Дети набросились на цветы, рвали их, боясь, что через час будет поздно, составляли пышные букеты, будто отлитые из янтаря.

Аркадий Пискунов подбежал с букетом к реке и, размахнувшись, бросил цветы в воду. Они рассыпались, каждый отдельно покрутился и поплыл, похожий на звезду, спокойно и величаво.

И все дети побросали букеты в Бухтарму. Река покрылась уплывающими цветами.

Фельдшер Рыжов посмотрел со стороны на ребят и спросил:

— Для чего это вы?

— Пусть! — беспечно ответил Аркадий.— У нас теперь цветов много. Пусть плывут туда, где их нет! — Парнишка смолк, заметив на лице фельдшера усмешку.

Цветы натыкались на пороги, заплывали в слепые заводи, прятались за тонконогим молодым камышом, кружились в белых водоворотах.

Солнце стояло прямо над кружевными стропилами бараков. Уже готова сторожевая вышка. Врыты около барака длинные столы. Из труб походных кухонь плыл шелковистый дым и запах только что испеченного хлеба.

Катерина Важенина бросилась к подводам, сняла люльку и осторожно понесла в барак.

Сильно пахла медуница. Гулко жужжали шмели, трещали кузнечики. Издалека, видимо из Таловки, через реку неслось дерзкое пение петухов.

К долине стремились местные крестьяне — посмотреть на коммунаров.

Вера Степановна увидела, как приободрился муж, выпрямился, смахнул с лица пот, и внутренне ободрила его: «Правильно. Никто не должен видеть усталости! Агитировать нужно всем своим видом».

От лагеря к подводам бежали коммунары, взяли у женщин детей, осторожно повели стариков.

Из толпы крестьян долетели насмешливые слова:

— С такой армией поднимут непаханую землю!

— Они нам на слабости наши будут указывать,— кивнул Кланверис головой в сторону крестьян.

Кришанин, стоя перед группой девушек и парней, подмигнул им заговорщицки:

— Песню начинайте...

Кланверис рассмеялся. Кришанин резко обернулся. Молодежь запела:

Вихри враждебные веют над нами,
Темные силы нас грозно гнетут...

Белобрысая скуластая молодка в толпе крестьян прикрывала концами красного платка какую-то ношу. Вот она шагнула к коммунарам, приподняла платок. Под ним висели головами вниз связанные за лапы две курицы. Положила кур к ногам Кришаниной.

— На развод вам... Несушки...

Вера Степановна оторопело смотрела на птиц.

— Да зачем это вы!

Подбежала к белому столу рябая от морщин старуха с корзиной, высыпала содержимое:

— Шанежки...

— Да что вы!

Крестьяне зашумели:

— Вам в помощь!

Растроганный и очень смущенный Кришанин твердил, пожимая чьи-то руки:

— Спасибо вам... спасибо.

Он не ожидал такого приема. Поглядывая на Кланвериса, думал: «Кричишь о борьбе! Где она?»

— Что за хозяйство у вас будет, не знаем. Хоть чем-то помочь! — раздавались голоса.

Кланверис медленно оглядел долину, лица коммунаров и широко повел рукой, словно одаривая этих людей лугами, уходящей далеко степью, небом и рекою:

— Вот где мы будем закладывать поселок. Здесь будет наша коммуна «Первороссийск». Здесь мы реку Бухтарму запрудим; может, построим бетонную плотину, соберем воду в большое озеро. А около него установим вальцовую мельницу. Динамо-машину мы привезли. А потом мы и

электростанцию поставим, чтобы свету и радости хватило на все деревни вокруг.— Голос его дрожал от волнения.

Его перебили сердитые голоса:

— Озера, нехристи, придумали!

— Да что и смотреть на них! Рабочие, да еще из Питера. Себе жизни добьются, а нас с земли сживут и воду под замок возьмут!

— И не помышляем! — отозвался Кланверис.— Мы приехали для общих с вами дел.

— Долой! Бритоусцы!

— Замолчите, дураки темные! — визгливо кричал рыжий остроглазый старик с лохматой непокрытой головой.

В кустах захохотали:

— Дедушка Истигней в коммунию, наверное, собрался.

— Он от своей жизни и в ад убежит!

— Богачами заживут. Куриц доить будут. Все в один блин вгрызутся.

— Менять многое надо. У нас и в председателях кулак. Мы еще и советской власти не знаем!

Кланверис подошел ближе, желая увидеть, кому принадлежит этот молодой, задорный голос, но крестьяне сердито сдвинулись, и трудно было понять, кто среди них свой, кто чужой.

Кланверис продолжал:

— В Питере сражались рабочие за вашу жизнь, товарищи, за нашу общую новую жизнь! Мы построим здесь коммуну! У нас будут парники, сады, скотные дворы, мастерские, детские дома.... Вся наша жизнь будет общей. И не будет разницы между рабочим и крестьянином.

И снова перебил его тот же звонкий голос:

— Какая общая жизнь! У нас в сельсовете одни кулаки.

— Не бедняков же выбирать: они хозяевать не умеют! — возразили ему.

— Темные мы, жаль,— твердил рыжий старик, с любопытством оглядываясь вокруг.

Семипалатинец Николай Оглоблин, выдернув с телеги лопату, начал рыть в стороне землю. Быстро, ловко выбрасывал он землю, вытирая пот со лба. На невидном сером лице его восторгом горели глаза.

— Землянку построю... Семью сейчас же потребую!— крикнул он. Волосы его спутались, прилипли ко лбу.

Саня осторожно принесла в барак от подводы охапку

книг и большой глобус, за ней дети вереницей тоже несли книги.

Кланверис продолжал:

— Нас партия большевиков к коммунизму ведет. Только враги этого не понимают.

— Подпояшься языком-то, длинен больно.

— Умрет, так язык-то еще сто лет болтаться будет...

Кланверис замолк, глухо борясь с чем-то большим и непонятным.

От свежего воздуха кружилась голова, как с похмелья. Сердце билось жадно и гулко. Легкий ветер качался над берегом.

— Дайте человеку высказаться!

— Нечего и высказываться! Бабы у них не знают, с кем в эту ночь спали... Самовидцы говорят... Они еще и наших баб прихватят... Вон Анна Полозкова уж и сейчас к ним льнет: куриц принесла!

— Надо посмотреть, не ворованные ли! Своих-то у нее немного.

— Я в окошко в барак заглянул: неприборно у них!

— Ты, дедушка Истигней, везде все усмотришь!

— А бабка-то, бабка, гли-кось! Шанег испекла! Тоже небось собирается под общее одеяло к мужикам: вдовой всю жизнь живет!

Хохот покрыл охальные слова.

— Замолчите вы! — визгливо кричала старуха.— Приезжие святое дело начинают!

Коммунары, как бы не слыша враждебных слов, разгружали подводы, вносили вещи под навес.

— Семью сюда потребую! — твердил Оглоблин.

— Для чего тебе семья, милок? Баб у вас много. Вот та, беленькая-то...— выскочил из толпы казак с волосатой бородавкой на щеке, бывший староста Ефим Беляков, и указал на Саню.

Резкий взвизгивающий смех понесся по лагерю:

— Ты, Ефим Петрович, наскажешь!

Голова девушки гордо вскинута, словно пышные волосы оттягивали ее назад, шаги зыбки.

— Дети, сейчас будем книги раскладывать. Полки уже сделаны,— сказала Саня дрожащим голосом.

Дети послушно побежали к учительнице. Одернув кофточку на упругой груди, Саня повела их в барак.

— Вишь ведь, и не поглядела. А худа-то! Всю живность

из нее волосы вытянули,— продолжал казак с бородавкой, заламывая высокий картуз.

Выбежала из толпы крестьянская девочка и воровато шмыгнула в барак следом за детьми коммунаров.

Женский визгливый голос простегнул воздух:

— Фенька, куда ты, бесстыжая?

Кланверис и Кришанин переглянулись.

— И ребята у них общие! — заметил брыластый молодой мужик.

— А что вы робить умеете? — спросил кто-то из толпы крестьян.

— Все. Паять, лудить, столярить, слесарить. Все умеем,— ответил Кришанин.

Крестьяне смолкли на минуту, потом зашептались, заговорили громче.

— У нас работа найдется. Будете ли ее принимать?

Коммунары продолжали устраиваться. Еще кто-то из мужчин рядом с Оглоблиным начал рыть землянку.

Кланверис направился мимо палаток в сторону. Несколько человек коммунаров шли за ним. Он широко поводил рукой и говорил:

— Здесь котлован большой выроем для озера, а пока отведем место под огород... под овощи... и для поливки сделаем насос.

Кришанин обратился к крестьянам, с трудом разжимая спекшиеся губы:

— Ну, вот что, дорогие товарищи... О работе поговорим в другой раз. Некогда нам сегодня беседовать с вами. Устраиваться надо. Стесняете вы нас. Идите по домам.

Толпа нехотя начала расходиться. Кришанин следил, как молодые парни укладывали штабелем мешки с зерном. Развязал один, запустил по локоть руку. Это и в самом деле волнительно — ощущать в руках холодную россыпь. «Будет из меня настоящий крестьянин»,— подумал он и на миг ужаснулся.

— Ничего. Ломка, конечно, большая для нас. Но на то мы и большевики,— сказал он вслух.

— Чего ты? — спросила его Вера Степановна.

— Говорю, что выдюжим, как бы к нам ни относились здесь.

О красоте природы не говорили. Каждый таил свои чувства. Один Федор вслух восторгался, оглядываясь вокруг:

— В городе все сдавлено. Улица сдавлена домами. Все серое, скучное!

Кришанин достал из кармана записную книжку в клеенчатом переплете, оглядел площадку, где шло строительство, и крикнул:

— Матвей Пискунов... Здесь ли?

— Здесь.

— Вы с сыном к вечеру горн устанавливайте. Аркадий, Сергей, Мишутка, где вы?

— Здесь мы,— отозвались от реки.

— На рыбалку до вечера наряд даю... Аркадий — за главного. Соберите всех ребят. Чтобы на ужин рыба была!

— Саня... Александра Савельевна... заниматься с детьми.

— Есть! — ответила учительница из барака.

— Вилковы, Оглоблин, Никитины, Суворовы — землянки рыть. Заступы и кайлы возьмите на складе. Только не отступайте от плана. Чтобы домики после в один строгий ряд стали. Зырянов Семен?

— Здесь я.

Коммунары вытянулись перед председателем, как в строю.

— Ты отвечаешь за сбрую. На днях пахать выезжаем. Чтобы все было в порядке.

— Будет в порядке!

...А вечером, собравшись на берегу, группа коммунаров — кто по складам, кто быстро и привычно — читала книгу о наступлении на старый мир. Осторожные тупые пальцы двигались с карандашом по листочкам бумаги.

Легкое облачко горело на краю немого неба. Еще момент, и уйдет оно, расползется красным легким волокном. Бараки на момент взблеснули, крыши покраснели, и снова равнодушно-синей стала земля.

Коммунары не замечали, как лепился к деревьям вечер, как остывали у реки камни.

20

К открытию коммуны все было готово. В последний вечер перед пахотой решили провести торжественное заседание. Саня обещала концерт. Ребята наскоро соорудили подмостки, поставили около них два столба, натянули холщовый занавес.

Девушки подшивали юбки, плели венки для танцев, в волнении репетировали стихи и песни.

Саня чувствовала себя всюду нужной. То и дело слышался ее голос:

— Эту елку сюда поставьте: за нее суфлер спрячется.

Подростки повиновались ей без ропота.

Катерина Ивановна бегала за девушкой и покрикивала:

— Ты хоть поешь! Поешь, тебе говорят! Целый день голодом! — Широкое лицо ее светилось любовью. Наконец ей удалось сунуть девушке кусок хлеба, и та жевала его на ходу и распоряжалась:

— Ленты, ленты, девчата, соберите у всех. В венки ленты нужны.

У барака на столбах висел кусок линолеума для объявлений. Саня мелом писала на нем распоряжения и читала громко:

— «Сережа — пайти гвоздей», «Аркаша — нарисовать погоны для городового».

Для нее каждая минута была решающей: нужно было загримировать артистов, послушать, правильно ли девчата поют. Нужно было посмотреть на публику, на тех, кто в Таловке интересуется культурой.

На открытие первыми прибежали таловские дети. Но и взрослых набралось много. Скамеек и табуретов не хватало. Сидели на траве, стояли, окружив поляну плотным кольцом.

Гримируясь, Саня мечтала: «Построим клуб рядом со школой. Будем разыгрывать спектакли. Участвовать будут все коммунары».

На первом ряду горой высился лохматый Евстигней Соколов в овчинном полушубке: рыжая редкая борода на этот раз у него была тщательно расчесана. Поодаль от отца сидел Алексей Соколов, затравленно озираясь. Дальше расселась молодежь. Окся Вислова в цветастом длинном платье, немигающими глазами смотрела на занавес. Гладко зачесанные черные волосы отливали синевой.

На кого бы ни смотрела из-за елок Саня, всегда натыкалась глазами на Кланвериса. Тот сидел на задней скамье, окруженный мужчинами.

Катерина, одетая для сцены в строгое черное платье, в седом парике, теребила Саню и спрашивала:

— Посмотри, идет мне?

Розовое от грима лицо, окаймленное седыми волосами, было красиво.

Саня закружила женщину, припрыгивая:

— Ты у меня совсем-совсем молодая.

— Что ты! Скоро свои седые волосы вырастут.

Бойкий ветер шевелил полотна самодельного занавеса, двигал их. Ян, увидя Саню, улыбнулся.

«Волнуется, наверное»,— думала она: после концерта Кланверис должен будет делать доклад о «текущем моменте», о коммуне и о ее значении.

Все последние дни Саня часто ловила на себе взгляд Кланвериса. Горькая складка в углах губ, робкая улыбка восхищения смущали ее.

В публике девичьи тягучие голоса завели песню:

Я не буду больше плакать,
Свои глазоньки томить:
Сине море не наполнить,
И любовь не воротить...

Сане почему-то стало очень жаль себя.

Перед открытием занавеса она еще раз выглянула из-за полотна.

На лицах зрителей — парадное ожидание.

Рядом с Яном сидела теперь Вера Степановна и что-то увлеченно говорила. Занавес раздвинулся. С веток посыпались воробьи. Больше Саня уже не видела Кланвериса. На нее смотрели десятки людей. Она внезапно почувствовала себя усталой. Мысленно представила сцену со стороны и заволновалась.

— Здорово намазались! — громко произнес в публике веселый мальчишеский голос.

— Подумаешь! У нас на посиделках еще лучше мажутся...

Саня подумала о том, что обязательно увлечет молодежь Таловки спектаклями и концертами, организует клуб — и погибли тогда посиделки в душной, черной бане: все будут приходить в клуб!

Мысленно повторила: «Я — не Саня. Я — Надя Краснова, маленькая девушка из предместья, которая любит рабочего Власа и боится, как бы его не убили кулаки».

...Влас приехал в деревню, чтобы собрать хлеб для питерских рабочих.

Зрители зашумели, как только поняли это:

— Вишь ведь подкатил: хлеб им отдай! — кричал чернобровый казак.

— Губа не дура. Большевистская агитация это,— вскочив, зашумел Евстигней.

— Долой!

Кланверис решительно прошел вперед и обратился к толпе:

— Товарищи! Я о текущем моменте...

«Что он делает? Срывает концерт! И доиграть-то осталось немного!»

Саня скрылась за елки. Всхлипывая от обиды (пропала работа!), слушала слова Яна о голоде, о трудностях. Он вколачивал слова, как гвозди, говорил о бедняках, о необходимости обеспечить всех крестьян семенами и землей.

Многие вскочили с мест, закричали. Разобрать что-то в этом гвалте было невозможно. Вытерев лицо, Саня вышла на сцену, где уже собрались все артисты, и молча глядела на зрителей. Катерина, все еще в седом парике, подскочила на край подмостков и закричала, кому-то отвечая:

— А вы кулаков пощупайте!

Федор Пискунов, сидя у стола на сцене, записывал предложения бедняков в тетрадь со словами роли.

— Если щупать кулаков, то надо начинать с Вислова! У него хлебушко есть! Он теленка скрывает... Пасеку в сотню ульев скрывает! — размахивая руками, кричал мужик в сером из домоткани зипуне. Бороденка торчала клином вперед.

— А ты все мое добро пересчитал! — завизжал Вислов.

И Федор записал: «Начинать с Вислова».

— Сравняем всех! Все нынче народное!

Окся вскочила со скамьи, подбежала к сцене, вперила испуганные глаза на Федора. Что-то вскрикнув, кинулась с поляны, расталкивая народ.

Федор посмотрел ей вслед.

Саня подумала: «Неужели его интересует эта девушка?»

Вислов с недобрым блеском в глазах, напирая на Веру, хрипел:

— Мало мы выстрадали? Война, а теперь коммуна ваша на нас свалилась! Вы хотите крестьян по миру пус-

тить! — Повернувшись к остальным, крикнул: — Вернуть Учредительное собрание, иначе ноги протянем!

— Я хочу сказать... Дайте и мне сказать! — попыталась вставить Саня.— Я, товарищи, учительница. Зимой буду учить при коммуне и ваших детей. Поэтому помогайте дрова заготовлять... И буквари надо собрать, у кого они есть...

— Долой! Вылезла!

— Сейчас дела поважнее!

— Только нам и дела, что при коммуне своих детей учить!

Где-то за кустами запели «Интернационал».

— В Питере рабочие голодают, а ты свиней хлебом кормишь! По этому положению надо ударить!

Кланверис продолжал говорить. Что бы ни кричали, он все сводил к одному:

— Хлеб нужен революции... Страна сдавлена врагом. Все излишки взять. Оставить семена и по три пуда на едока! Владимир Ильич Ленин обращается с письмом к питерским рабочим о голоде, о катастрофическом продовольственном положении Петрограда. Вот она, «Правда»! — Он потряс свернутой в трубочку газетой.— По его призыву рабочие Путиловского завода собирают надежную армию в двадцать тысяч человек для борьбы с деревенскими буржуями! В каждой своей речи он думает о нас, товарищи! На заседании Совнаркома он специально говорил о мерах развития сельского хозяйства! И подписал постановление об отпуске семян и сельскохозяйственных орудий бедноте!

Шум несколько стих. Все слушали Яна, одни одобряя, другие возражая.

— Вот и ждите помощи от вашего Ильича, а нас не трогайте! — сверкая злым взглядом, до хрипоты кричал чернобородый казак.

— Что он такое несет?

— На помощь сумма невелика. А у вас излишки.

— Я говорил, что большевики обложат нас налогом!

— На-ка, выкуси! — кричал парень с бледным пористым лицом и смолк под упорным взглядом Кланвериса.

Ян как бы спохватился, энергично провел ладонью по волосам и продолжал:

— Хлеб — наша крепость! В Питере голодают, а здесь

земля кормит. Коммунарам ничего не нужно! Нужно только, чтобы хлеб был у всех!

Вперед выбежал мужик, словно подкатился на коротких ножках.

— Не верьте! Советская власть только у нас в районе, а дальше живут под Учредительным собранием!

— И это говоришь ты, председатель Таловского Совета! — воскликнул Кланверис.

Саня внимательно поглядела на мужика и отвернулась, встретив на миг его растерянный взгляд.

«Вот у кого здесь власть! Ох, трудно будет нам»,— мелькнуло у нее в голове.

— Слышно, вы и середняков будете притеснять? — громко спросил Алексей Соколов.

— Неправда!

— Не верьте вы ему: подвидный он!

Сане весь этот шум начал доставлять веселое удовольствие: напрасно и плакала. Иван Кланверис — умный. Он нарочно такую сценку ей подсунул, где Влас отбирает у кулаков хлеб. Собрание как бы продолжало ее.

Кришанин, застегнутый на все пуговицы, пробирался через толпу к Яну. Сане казалось, что он готов здесь заговорить о мирном соседстве коммуны с крестьянами, вынести свой давний спор с Яном на суд этих людей. Однако он закричал:

— Успокойтесь, товарищи! Ну успокойтесь же! Никто у вас хлеба не требует... У вас просят!

— Нет, мы не просим, а требуем! Это народный хлеб! — заявил решительно Кланверис.— Пошли, бедняки! Завтра вы сеять начнете!

Ефим Беляков двинулся на него с поднятыми кулаками. Саня поняла, что она ненавидит этого мужика, вскочила. Федор крикнул на всю поляну:

— Не лютуйте! — и, расталкивая толпу, ринулся вперед.

Стараясь обогнать один другого, кулаки побежали к переправе.

Лицо Кланвериса было страшно, словно за этот час прошло десять лет, щеки посерели, глаза запали.

— Кто за мной?

Бедняки, толпясь, последовали за ним к реке. Несся всполошный крик:

— За хлебом!

— Успеем, не сумеют перепрятать!
— Вилы, топоры берите, ружья у кого есть?
— У кого нет — колья возьмем.
— Веди, Кузьма, к своему хозяину.
Саня, не упуская из вида Яна, бежала за всеми.
Вот и Таловка. В сумраке вечера острые крыши домов и амбаров раздирали небо.
Неслись подводы, гремя колесами. Лаяли собаки, мчались верховые. Саня отбилась от всех, прижавшись к чьему-то палисаднику. Ноги ее были мокры — оступилась на переправе. Юбка облипала колени.
Ко двору Висловых мужчины подтянули подводы и остановили здесь. Храпели лошади, напирая одна на другую.
Совершенно отчетливо девушка услышала голос Яна.
Зазвенели стекла. Завыла собака. Грудью налегли люди на припертые со двора ворота, и они не выдержали, рухнули. Какая-то баба, брякая ведром, металась меж подвод и кричала:
— Хоть бы наесться вволю... С ведерко бы хлебца...
— Ты, солдатка, не мешайся пока... Завтра к коммуне приходи.
Саня не решалась войти во двор, откуда несся злобный крик:
— Грабители! Ответите! За каждое зернышко ответите!
Выскочил со двора семипалатинец Оглоблин, выломал из палисадника жердь и бросился обратно.
— Бей их!
Во дворе началась свалка, возня и брань. Трещал заплот, неслись крики:
— Отдашь! Нет, ты отдашь!
— Запирайте его, ребята, в сени!
— Вот так тебе, комиссар! — послышался голос Вислова.
Саня вдруг сильно озябла, задрожала всем телом, приговаривая про себя:
«Иванушка... родной... убьют ведь тебя!..»
На подводы грузили мешки. Кто-то строго отсчитывал:
— Один, два... шесть... Вези, Савватий, к коммуне. Завтра делить будем.
Подвода отошла, на другую телегу взваливали мешки, и снова строгий голос отсчитывал:

— Один, два...

Федор вывел из двора Яна с окровавленным лицом, усадил его на телегу. Саня, всхлипывая, вскарабкалась туда же, положила голову Яна к себе на колени. Обтерла с лица у него кровь. Он не стонал, только время от времени вздрагивал.

— Ничего, беленькая, ничего... Все правильно. У Висловых даже завалина хлебом была засыпана.

В коммуне не спали. Встревоженные женщины перебегали из палатки в палатку.

Около мешков, привезенных из Таловки, стоял Оглоблин с винтовкой. Женщины помогли Кланверису спуститься с телеги.

Саня, схватив ведро, бросилась на берег за водой. Здесь сидели Кришанин и старый Пискунов, тесно прижавшись друг к другу, о чем-то хмуро шептались.

Оба посмотрели на девушку и отвернулись, не желая расспрашивать, что произошло в Таловке.

Голову Яна обмыли, забинтовали. Рана была не опасна. Саня, дождавшись, когда он уснет, тихонько вышла, направляясь к своей палатке.

21

Все еще подвозили зерно, сдавали Оглоблину и уезжали. Стучали колеса, лаяли собаки. Какие-то тени крались мимо палатки. Саня открыла полог, оглядела поселок. Кришанин и Пискунов несли в лес длинный ящик. Саня знала: в таких ящиках коммунары привезли винтовки.

Когда правленцы возвращались, Саня услышала негромкий их разговор:

— Этак лучше будет. Комиссара завихрило совсем, еще и к ружью людей призовет. Тогда беды не оберешься...

Следующий ящик проносили они мимо.

«Что они хотят делать? Куда уносят винтовки?»

Саня не подозревала, что ящиков так много. Она не могла понять, для чего правленцы уносят их в лес. Когда они вернулись в последний раз, на плечах у них были лопаты. Девушка поняла, что оружие зарыли в землю. Какая-то обида за Яна поднималась в сердце, только она не могла понять, что ее тревожит.

Проснулась Саня поздно, когда большая толпа таловцев окружила штабеля мешков с зерном.

Незнакомый мужик из села, Оглоблин, Кланверис и Федор Пискунов выдавали мешки и просили расписаться в тетради.

Всегда серое лицо Оглоблина горело, весь он был подвижен и решителен.

Какая-то молодка все лезла вперед. Таловцы говорили, посмеиваясь:

— Ну, Агния, неймется тебе!

— Получишь ведь и добром.

— А вдруг мне не хватит! Я уж давно досыта не ела! — шумела она.

— А это зерно для семян, а не для еды...— возразил ей корявый, тощий как жердь мужик.— Я вот думаю, что от этого зерна я могу и в середняки выйти...

Председателя и старого Пискунова не было видно. Они появились, когда из таловцев остался один Кузьма Полозков.

Федор запрягал лошадь.

Кришанин хмуро спросил:

— Куда?

— На пасеку, Константин Васильевич, учитывать у Вислова ульи.

К ним поспешно подошел Кланверис; Кришанин, хмуро оглядев его голову, повязанную бинтами, сказал:

— Зря ты связался с таловской беднотой, Иван, своих дел много. Они думают, что на наших сапогах сюда жизнь ворвалась. Пусть сами бедняки решают! Наше ли дело?

— Это же хорошо, Костя! Это очень хорошо, что к нам пришли за помощью! — говорил радостно-возбужденный Кланверис, устраиваясь на телеге.

У Кришанина срывались ядовитые, как осы, слова:

— Боюсь, Иван, что твое вмешательство в дела сельчан осложнит нам жизнь. Да, осложнит. И ты хоть комиссар наш, но, пожалуйста, выслушай: осложнит! — Он был зол, губы его посинели.

Матвей Пискунов сдержанно вставил:

— И я так думаю, Иван: осложнит.

— Да поймите же вы,— подавшись вперед, возразил Кланверис,— поймите же, что мы не можем быть в стороне! Ты, Костя, хочешь народ привлечь к коммуне песенками? Надо в корень смотреть. Неужели вам это не ясно?

Мы — коммунары, а значит, революционеры. На нашу помощь беднота надеется.

— Верно, комиссар! — громко крикнула Вера Степановна, стоя у палатки.

Кришанин резко повернулся к жене.

Неожиданно Саня подбежала к Яну и встала рядом.

— Я поеду с вами!

Глаза Яна радостно блеснули, и тут же он рассердился на эту девушку за то, что она молода и свежа, и на себя за то, что смотрит на нее.

И все-таки разглядывал пристально озабоченное ее лицо.

«Нет! — сказал себе Кланверис.— Напрасно Вера сватает мне ее. Я же в отцы ей годен! А может?..»

Сидя рядом с ним в телеге, Саня спросила:

— Больно?

— Зато хлеба знаешь сколько нашли! Сегодня беднякам на посев выделили. Остальное пошлем в Питер.

Саня хотела было сообщить о винтовках, но увидела, что он дремлет, клонит голову ей на плечо, и замерла. Он был бледен, утомлен, а она могла бы разволновать его без нужды.

Саня удобнее устроилась, решительно положила голову Яна себе на колени и удивилась тому, как ей стало хорошо.

— Поспи...— Голос ее срывался и слабел.

Ян уснул. Рядом сидел Федор, с лукавым удивлением посматривая на Саню. Он думал: «А она молодчина! Отбила у комиссара охоту на чужих жен заглядываться! Нет, какая же Санька молодчина!»

Правил Полозков. Лошадь мчалась, округлив глаза, выгнув шею. Телега бесшумно катилась по мягкой дороге.

Из-за пашен выплывало солнце. Сквозь редкую травку виднелась серая земля. Черемушник, росший в лощинах, приподнял ветки, опушенные цветами.

Кузьма придержал лошадь.

Федор слегка присвистнул. Мелкие пичуги вспорхнули с земли.

Ульи блестели известкой. Прозрачные пчелы деловито вились над цветами медуницы и первоцвета, хлопотали внутри цветов. Тонкий стебель оттягивался вниз и вскидывался и вздрагивал, когда пчелы вылетали оттуда.

Кланверис поднял голову, посмотрел на молчаливую девушку.

Саня боялась пчел, осталась у телеги. Мужчины ходили от улья к улью, считали их.

Пчелиный рой висел на ветке березы пахучей гроздью. Береза вся была усеяна упругими коричневыми почками.

Федор снял пиджак, разостлал его, осторожно стряхнул на него пчел.

— Для чего тебе?

— В лагерь увезу. Пасеку разведем!

Кланверис строго сказал:

— Оставь! Хочешь, чтобы крик подняли, что мы воры?

Саня следила глазами за Яном и думала: «На обратной дороге положит он голову мне на колени или нет?» Казалось ей, что стоит Яну снова положить голову ей на колени, как начнется спокойная жизнь с тишиной, с широкой тишиной, без ожидания, без срывов.

Головы Ян ей не положил, и Саня скучала.

— Неужели ты и в самом деле хотел увезти рой? — угрюмо говорил он.— Федор, я тебе спрашиваю? Что тогда поднялось бы на селе? Я на тебя надеюсь. Я давно за тобой слежу. Опоры жду от тебя, локтя твоего рядом со своим, а ты такое выкинул! Нам надо быть чистыми, вот что ты должен понять.

Федор, просиявший весь, заверил:

— Ошибка моя... Больше не повторится, дядя Иван... Только надейтесь на меня...

О том, что ночью перепрятали винтовки, Саня так Кланверису и не сообщила.

22

В лагере, казалось, ничего не произошло. Все были заняты делом, только больше обычного озабочены. Никто не спросил, откуда вернулись на подводе люди.

Стлался по земле терпкий запах черемухи. Листья еще не распустились, а она уже пышно цвела. Девушки на окна и на столы поставили букеты. Кланверис не успел сойти с телеги, как его забросали пахучими гроздьями. Он собрал ветки в букет и сел на пригорок. Хотелось побыть одному. «Интересно, на чьей стороне Вера? Что она считает — я прав... или Константин?..»

Кланверис ждал. Вот сейчас она выйдет. Вот уже взялась за ручку дверей, пахнущих смолой, скоро будет здесь. Он увидел, как и в самом деле Вера Степановна, выйдя из

барака, глубоко вдохнула воздух и подошла к Оглоблину. Тот упорно копал землю, выбрасывал лопату за лопатой.

— Помочь? — спросила она.

— Не женское дело! — не разгибаясь, ответил он.— В лес ведь тебя не пошлешь жерди вырубать!

Под навесом Кришанин строгал косяки. Вот он снял фартук, жарким взглядом окинул жену, отошел от верстака. Он не смотрел на работу Оглоблина, он смотрел на жену. Вера Степановна обернулась и смущенно воскликнула:

— Ой, что ты на меня так глядишь?

— Пройдемся...— Кришанин кивнул на заросли березняка и осин, поднимавшихся по увалу за бараком.

Женщина опустила голову и пошла туда, куда указал муж. Кришанин направился за ней.

Деревья едва расступились, чтобы пропустить их, и снова сомкнулись.

На просторе чувство Кришаниных вспыхнуло с новой силой, омолодилось. Им не мешали мелкие несогласия. Кришанин просто уступал жене. Никогда не возникало между ними враждебности.

Кланверис хотел понять, на чем держится их счастье. Мир в семье то и дело нужно обновлять. Кришанины, видимо, всегда новы друг для друга, всегда молоды.

Ян направился на берег, остановился около родника. Захватывая полные ладони холодной и прозрачной воды, плеснул себе в лицо. Стало легче.

На берегу сидели подростки с удочками, притихшие и сосредоточенные. Сосны стояли у самой воды. Она журчала у их корней. Казалось, вершины их тихо дремлют внизу, а между ними серебрится второе небо.

Кланверис почувствовал, что ему чего-то недостает.

В сердце поднялось беспокойство, даже страх при мысли, что он упустил что-то крайне важное, чего-то не сделал.

Наконец стало ясно, что это опять мечта о Кришаниной не дает ему покоя. «Сейчас они обсуждают вчерашние события в Таловке. Интересно, что Вера говорит ему?»

Ему она никогда не сказала ни одного слова, выходящего за рамки дружбы.

Вот здесь Вера подошла к Оглоблину. Здесь остановилась и спросила: «Помочь?» В лице ее была заинтересованность и доброта.

Потом появился из-под навеса Кришанин, встал сзади и посмотрел на нее так, как хотела она, и взял ее за плечи, как хотела она. Он мог взять ее на руки и унести. Но этого ему не нужно делать. Он просто кивнул в сторону и сказал:

— Пройдемся!

И она повиновалась. Застенчивый и вопросительный взгляд ее выражал одну радость.

Оглоблин тоже куда-то исчез.

Журчал родник. Прислушиваясь к звуку воды, Ян думал о том, что с этой минуты Вера стала для него обычной, как все, и грубой, и никакому чувству к ней, кроме дружбы, он не отдаст себя.

Между тем по лесной тропинке быстро шла Вера Степановна, отталкивая ветви кустарника и придерживая их, чтобы не били они Константина. Она говорила торопливо, будто боялась, что муж прервет ее, не даст высказать всего, что накопилось:

— Тебе не кажется, Костя, что ты ведешь коммуну не туда, куда нужно?.. Тебе не кажется этого?

— Ну вот...— огорченно тянул сзади Кришанин.— Мы так редко теперь бываем одни, а ты...

Вера продолжала запальчиво:

— Да, вот. Ты что, хочешь на кулака опираться?..

— Да что ты, Вера,— слабо оборонялся Константин.

— Все заигрываешь с кулаками, боишься, как бы их не обидели... Не видишь в них врагов. Иван правильно себя ведет. Ты только мешаешь ему, раскалываешь коммуну.

Если бы Кланверис слышал этот разговор, у него посветлело бы на сердце. Он увидел Саню, всегда занятую, догадливую и наивную, и улыбнулся.

— Посиди со мной,— попросил он.

Девушка подошла ближе, но, услышав звон воды, склонилась над родником.

— Какой чистый! Каждый день смотрю на него и не насмотрюсь. Даже пить из него страшно — вдруг замутится,— сказала она.

Кланверис изумленно следил за ней, словно только что сделал открытие, от которого многое зависит. Когда Саня доверчиво села рядом, он привлек ее за плечи к себе и сказал шепотом:

— Сама-то ты чистый родничок... Замутить тебя боязно...

Из леса вышли Кришанины, с трудом неся семипалатинца Оглоблина, залитого кровью.

Из бараков выбежали женщины. С берега, побросав удочки, примчались дети. Мужчины, удрученные, стояли над товарищем, распростертым у их ног.

Вера Степановна склонилась, разорвала рубашку Оглоблина и, приложив к его груди ухо, отпрянула и схватила руку коммунара, затем для чего-то потрясла его голову, приоткрыла глаза. В темной их глубине застыло спокойствие, мудрость и какая-то сосредоточенная гордость. Блеск в них уже исчезал. Коммунары сняли шапки. Кришанина выпрямилась.

— Только что был жив... Он заготовлял жерди для землянок... Топором его кто-то... Он успел сказать, что их было трое...

— Кто? — враз крикнули несколько человек.

— Он их не знал.

— Они нас перебьют поодиночке!

Кланверис с болью подумал, что он был рядом, размышлял о чужой любви и счастье, любовался Саней, а за кустами в одиночестве погибал товарищ.

Словно отвечая ему, Вера Степановна сообщила:

— Во рту кляп. Он не сумел и крикнуть.

— Это убийство — последние судороги кулаков. Убили у нас жизнерадостного, честного человека,— задыхаясь, сказал Кланверис.

Лицо Оглоблина покрывалось бледностью, становилось торжественным, как бы примиренным с землей. Женщины плакали:

— Все мечтал семью сюда вызвать!

— Как жена-то переживет!

Кровь отхлынула от лица Веры Степановны, когда она заговорила:

— Мы — строители нового государства. Нам необходимо держаться друг друга. Когда наша власть примет определенные формы, нам поверят. Мы должны быть счастливы. Только счастливый народ составляет счастье государства. Народ — наша сила! С нами хотят расправиться поодиночке. Но нас это не пугает. Ряды наши сомкнутся, и счастье от нас не закрыть.

Саня обернулась к детям, стайкой стоящим в стороне от убитого. Ей казалось, что она постарела в этот час и поняла что-то большое и важное.

— Дети! Смотрите. Запомните. Этот человек никому не нес зла. Его убили за то, что он верил в счастье. Запоминайте, дети. Все, во что мы верим, все, чего мы желаем, все, что нам не удастся сделать, вы должны будете достичь в жизни.

Оглоблина обмыли, нарядили в новый костюм с плеч Федора Пискунова, великоватый погибшему. Обуви целой не нашлось. Прикрыли ноги кумачом.

Солнце било в глаза, пекло головы, играло тенью берез на лице убитого.

Эта минута чем-то непонятно объединила коммунаров. Все казалось возможным, ни у кого не возникало и мысли о поражении.

Девушка затянула:

Вы жертвою пали в борьбе роковой
Любви беззаветной к народу...

Лес глухо вторил маршу, качал печально верхушками сосен и пихт. По реке далеко несся скорбный напев.

Крестьян из Таловки в этот час близко у лагеря не было.

Кланверис вспомнил январские питерские морозы. Вспомнил, как по столице разнеслась тяжелая весть о покушении на Владимира Ильича. Слухи ползли, наполняя тревогой сердца рабочих.

Кланверису тогда хотелось узнать подробности. Он узнал.

Ильич с сестрой и швейцарским большевиком Платтеном возвращались с митинга от Михайловского манежа. Сплошная стена тумана затянула улицы Петрограда. Машина отбрасывала тень. Тусклые огни фонарей выскакивали из молочной белизны тумана, кое-где разорванной ветром. Увлеченный разговором, Ильич не обратил внимания на треск, раздавшийся сзади.

Платтен обхватил его голову, с силой пригнул вниз, пригнулся сам.

Машина завернула за угол, разрезая тишину резкими гудками, ворвалась через распахнутые ворота во двор Смольного.

Там, как всегда, торопливо шагали озабоченные люди, сновали легковые машины и грузовики, стояли трехдюймовки по сторонам входа в вестибюль.

Шофер широко открыл дверцу.

— Если бы пуля попала в шину, не уехать...

— Разве в самом деле стреляли?

В те дни часто можно было слышать на улицах Питера пальбу.

Словно ничего не произошло, Владимир Ильич говорил:

— Нужно начать строительство Волховской станции. Напомни мне, Маняша: я должен вызвать Смидовича...— Он неожиданно и звучно рассмеялся:— С одиннадцатого года разработаны первые проекты. Царское правительство не могло даже одну станцию построить! Нам пора заняться этим вопросом!

В подъезде увидела Мария Ильинична, что рука Платтена в крови. Да и сам Платтен только тут заметил, что ранен.

Мария Ильинична достала платок, перевязала ему ладонь.

— Все-таки попали!

— Видимо,— безразлично ответил швейцарец,— когда я голову Владимира Ильича отводил.

...Кланверис рассказывал об этом, обращаясь не только к коммунарам, а и в сторону кустов, где притаились крестьяне. Он был уверен — здесь они, слышат. Кто-то из них сочувствует, кто-то радуется несчастью.

Кусты не шевелились.

— Чем помешал кулакам этот безобидный коммунар?! — спросил Кланверис, все так же обращаясь в сторону кустов.— Он пришел к нам сам, никто его не тащил. Пришел с верой в нашу правду. Он заглянул в будущее. Он лучше многих знал, что будет, так как сам хотел действовать, не желал стоять в стороне. А будущее знает тот, кто не стоит в стороне!

Кумачом обвили столб для звезды.

Грозный марш звучал все строже и мощнее, призывая к борьбе, предрекая:

Падет произвол, и восстанет народ,
Великий, могучий, свободный...

23

Ранним утром, как всегда, Евстигней Соколов вышагивал по улице села. Несмотря на жару, он был одет в оборванный лохматый полушубок. На голове торчал длинноухий сибирский малахай.

Женщины, завидя старика из окна, закрывали калитки, злобно ворчали:

— Пошел опять по околотку...

Евстигней шагал сутулясь и тяжело волоча ноги. Рыжая борода его стояла торчком.

На бревнах перед церковью сидели мужики — человек пять. Молчали. Евстигней тоже молча постоял около них и направился дальше: молчат, не узнаешь, о чем думают. С тех пор как приехали сюда коммунары, мужики вот так собирались и молчали, а потом поднимались и расходились по домам. В их молчаливом общении было что-то тревожное, и Евстигней обходил их стороной.

У закрытых накрепко калиток он терпеливо дожидался, постукивая в скобу. Ему не открывали, и он злился:

«Вишь ведь, успели... закрылись... А жаль: интересно все-таки, избил Иван Татьяну вечор или нет... Как бы не избить: я резонно ему сказал, что она в чужие ворота заглядывает, своего мужика мало...»

Старик направился берегом к Кузьме Полозкову в малуху. «Надо узнать, сколько выгребли хлебушка вчера для бедноты у Висловых. Хорошо паучка потревожили...»

Когда-то у Евстигнея Соколова было справное хозяйство. Сын Алексей, когда отец состарился, перестал его кормить. Старику стыдно было побираться. Он подшил к полушубку холщовые карманы и принялся ходить по домам «так просто», себя показать, на людей посмотреть, передать, что видел, что слышал. Он знал, к какой вдове ходят парни, в каком дворе родился теленок, какие обновы бабы шьют к празднику. Боясь его языка и злого глаза, женщины его угощали. Иногда ему удавалось кое-что припрятать в карман.

Спал он на соломе у порога. В доме его украдкой подкармливали внуки. Так он и жил.

Прозевали: сени открыты! Евстигней тщательно вытер ноги о рогожу у крыльца, поднялся на ступеньку, отмечая про себя: «Сени-то до чего грязны! Ну и домовка эта Анна...», зашел в избу, покрестился:

— Здравствуйте-ка! — и поклонился.

Анна, побледнев, заискивающе проговорила:

— Здравствуй, дядя Истигней.. Садись...

Старик прошел к широкой скамье, сел и, жадно оглядываясь, начал:

— Стряпаешь? — А про себя подумал: «Вижу, милая... все вижу!»

Анна торопливо сунула ему свежую ватрушку:

— Поешь-ка горяченьку шанежку... хозяевам пеку... мяконькая...

Евстигней принял ватрушку. Неожиданно рассмеялся дробным жиденьким смешком:

— Лоб-то в тесте!

Анна снова побледнела, зная, что к вечеру о ней будут судачить в каждом доме.

— Еще не хочешь ли шанежку?

— Пожалуй, съем...— согласился тот.— Сладко тесто делаешь. А моя старуха, покойна головушка, состряпать всю жизнь не умела. От ее стряпни десны рвало. Кузьма-то где?

— Известно, у хозяина... зерно веют...

— А много ли зерна-то осталось? Все небось выгребли...

— Не знаю. Ничего не знаю.

Рассерженный тем, что ничего не удалось выведать, старик поднялся, еще раз внимательно огляделся и молча, не прощаясь, открыл дверь.

Двор Висловых, к его счастью, также оказался не на запоре.

Оксся около амбара раскалывала дрова; увидя сплетника, со злобой грохнула поленом о колоду. Полено зазвенело. Отколовшаяся от него кора пролетела над головой девушки к амбару, подшибла на полке кринку с молоком. Молоко разлилось, брызнуло Оксе в лицо.

Она распрямилась, вытерлась, в отчаянии села на колоду и заплакала.

Евстигней стоял рядом, качая лохматой головой.

— Опоздали вы сегодня печь топить... С горя, наверное! Вчера у вас, говорят, поозорничали? Поздно печь-то разжигать собираешься. Анна Полозкова уже отстряпалась: вся рожа в тесте! А молочко-то жаль... Ах, жаль молочко-то! Вчерашнее или сегодняшнее?

Окся зло бросила:

— Шел бы ты, дядя Истигней, к коммуне. О нас ты уже все рассказал. А там еще никого не тронул.

— И пойду, милая, пойду...

Евстигней направился к выходу, посмеиваясь. Встретив на тропе бабу в грязной юбке с ведрами на плечах, громко рассмеялся:

— У Висловых тихо. Одна Окся в ограде. Она сегодня припоздала. Печь только растопляет... Кринку молока разлила. Вот ведь достанется кому-то в жены!

Но и баба не стала его слушать.

— Шел бы ты к коммуне, тряпичная депеша.

Евстигней долго глядел бабе вслед, качал головой.

«Как мужик с ней живет, с мокрохвосткой? Ну, подожди у меня!»

Теперь Евстигней шел к коммуне. На пригорке остановился. Долго из-под ладони разглядывал новое селение. Приблизившись, неподалеку залег в кустах.

На большом пне сидел мальчишка и не отрываясь смотрел под навес. Черты лица его еще не определились. Все было лишь намечено, не завершена ни одна линия.

Если посмотреть в сторону, виден высокий угор. На нем, под деревом, печальный холм, покрытый дерном.

Никакой суеты, никаких криков, даже людей видно мало — все по местам, все заняты делом. Шум был деловой, разумный, как бывает в большой дружной семье.

Из кузницы раздавались удары молота.

У каждой вещи — свое место. Для рыболовных снастей отведен угол под навесом. К вечеру сюда приносят удочки, ведерки для рыбы, сачки.

В слесарной звонко и весело звенит железо — делают корыта для стирки, ведра, тазы.

В столярной вьется с верстака белая пахучая стружка.

На берегу переговариваются дети. Учительница учит их плести из ивовых прутьев корзины, решетки и короба.

Евстигней не выдержал, поднялся, прошел под навес, где сам председатель смолил лодку. Прокашлявшись, чтобы обратить на себя внимание, спросил:

— Что, Константин Васильевич, уже третий домок вытягивается? — Тихонько, с робостью заглянул председателю в лицо.

— Ходят, как коты вокруг горячего молока,— сердился Аркадий.— И чего они ходят к нам?

Кришанин отложил на верстак банку со смолой, с лю-

бовью оглянулся на новые бараки: над крышами двух из них уже болтались седые вихри дыма.

На завалине сидела кошка, грела на солнце белую грудку. Кришанин и на нее посмотрел с любовью.

— Говорят, коровку купили? — спросил старик у «экономки» — тети Кати. И удивился тому, как терпеливо коммунары отвечают на все его вопросы. Катерина Ивановна подошла к старику, на ходу вытирая о фартук руки.

В ее голосе звучала уверенность крепкой расчетливой хозяйки.

— Купили... Молоко теперь для детишек есть.

— Мало для такой семьи одной коровы...

— Конечно, мало. Подождите. Скоро целые стада у нас будут! — весело пообещала тетя Катя.— Только вот корова у меня где-то в лесу застряла. Доить пора.

— Не в лесу она. Всю ночь у ворот старой хозяйки простояла...— сообщил Евстигней.— А коровка хорошая. Вымя-то фунтов сорок, наверное, весит...

Важенина спокойно обратилась к мальчишке, который все сидел на пне, нетерпеливо посматривая па Кришанина:

— Сбегай в село, Аркадий. Погляди у двора, из которого мы корову взяли. Наверное, по привычке наша Краснуха там у ворот стоит.

Аркадий жалобно посмотрел на «экономку».

— Знаю,— подмигнула та,— лодку ждешь. Так тебе ее обещали к обеду, а сейчас еще утро, успеешь. Что без дела сидеть?

Мальчик побежал к реке, нашел переправу к Таловке— четыре замшелые жердинки. Но Евстигней, боясь чего-то пропустить, трусил за ним.

Ну, конечно, Краснуха, корова с черными подпалинами на боках и с отпиленными рогами, стояла у ворот дома бывших хозяев. Ждала, когда ее впустят в обжитое стойло. Ее окружила толпа женщин. Хозяйка припадала к ее красной шее и выла:

— Стоишь, моя матушка! Всю-то ноченьку стоишь... Сердце в лоскутки раздирается! Все-то ты понимаешь...

— Даже животная коммунии боится,— раздавались в толпе голоса, женские вздохи, даже плач.

— Не трогайте коммуну! — закричал Аркадий.

Бабы глухо заворчали:

— Вишь ведь, пащенок... Зубы отточил. Материно молоко на губах, а туда же — «не трогайте».

Корова упиралась, не шла. Аркадий с трудом тащил ее за веревку. Евстигней подгонял сзади.

Женщины кричали вслед старику:

— Ты что, в батраки к ним нанялся?

У переправы их встретил Кузьма Полозков.

— Давай-ка помогу,— предложил он и взял веревку из натертых рук мальчика.

И удивительно: корова охотно пошла за Кузьмой, а Евстигней сзади все махал руками и шумел:

— Но-о, знай свой дом! — и то и дело шлепал корову ладонью.

— Больше не буду ее искать. Стыд, от дома убегает,— сказал Аркадий.— Да не бейте вы ее, дедушка...

— Привыкнет. А на людей наших ты не смотри! Они тоже к вам привыкнут...— пообещал Кузьма.

Он не повел корову по жердям, как это сделал бы Аркадий. Только спустил веревку, а корова вошла в воду и поплыла рядом с жердями. И то, что она плывет, удивило Аркадия и почему-то растрогало. Кузьма приостановился, кивнул на притихшую реку:

— Все рыбачишь? Говорят, вы закормили коммуну рыбой. Ты в тесто, в прикорм, мятных капелек подливай, на них рыба хорошо идет. Ну ладно, веди животную дальше сам... Дедушка Истигней, помогай!

— И то, милый... Накормят меня, может...

Вот и берег. Прошли к угору, продираясь через яркокрасные ветви вербы. На угоре знакомый холмик с завядшими венками из первоцвета. Звезда над ним сбита, валяется на земле.

Аркадий подобрал этот кусок жести и потащил корову изо всех сил. Она теперь затрусила рысцой. Передавая корову «экономке», Аркадий показал измятую звезду.

Тетя Катя привязала Краснуху к осине, взяла звезду из рук мальчишки, попыталась выправить. Узловатые пальцы не могли справиться с острыми перьями звезды.

— Негодники! Кому могила мешает?

Она отнесла звезду Кришанину. Тот посмотрел издалека на угор, сказал в сторону Евстигнея:

— Этим нас не изведете!

У крыльца одного из бараков белела вывеска: «Фельдшерский пункт». Там дежурили в белых халатах Вера и Рыжов.

Аркадий направился туда. Евстигней не отставал. Глаза его шныряли вокруг, все примечали, запоминали.

— Вот и первый пациент к нам! — встретила мальчика Кришанина.

— Да я не болею,— смущенно сказал тот.— Мне мятных капель.

— Зачем?..

— Надо, тетя Вера. Для рыбы.

Внимательно поглядев ему в лицо, Вера Степановна дала ему капель.

— А вы, дедушка, не больны? — обратилась она к Евстигнею.

— Нет, милая, пока бог милует,— ответил тот и снова затрусил, догоняя Аркадия.

Лодка все еще была не готова.

— Доверили бы мне, я давно бы просмолил. Я ведь умею... Строгать доверяют, рубить доверяют. А смолить лодку не доверили,— пожаловался мальчик старику.

Оба остановились около Катерины, доившей корову. Пухнут, поднимаются в ведре кружевные разводы молочной пены. Беззвучно лопаются мелкие пузырьки. К тете Кате от бараков и землянок идут, переваливаясь, ребятишки в длинных рубахах, без штанов, босоногие.

— Парного молочка кому? — кричит тетя Катя.— В очередь, в очередь, деточки мои. Порядок должен соблюдаться!

Евстигней заглянул в кружки: надо узнать, сколько молока дают детям. Потом направился к мастерским. Под длинным навесом в ряд стояли токарные станки, тисы слесарные, плотницкие верстаки.

Словам о коммуне старик не верил. Верил в вещи. Эти станки и умение коммунаров все делать больше всего убеждали.

Особенно его внимание привлекала кузница — закрытое помещение, где стояли два горна.

— Вон ведь как! Правда, что вы руль на ходу у баржи починили? — допытывался он.

— Починили.

— Видели бы вы мастерские на нашем Обуховском! — сказал гордо Аркадий, досадуя, что Кришанина без конца отвлекают.

— Вкопались вы в землю, видать, надолго? Упрямые... Что взбрело в голову, то уж обязательно сделаете!.. Вот

слыхал я, насос вы бабам на огород обещали... Убей меня бог, если не сделаете!

— Насос будет!

— А у нас кузнеца на войне убили. Страсть плохо без кузнеца.

— А вы нам работу давайте,— с улыбкой предложил Кришанин.

На глазах онемевшего старика Рыжов из мастерских пронес в фельдшерский пункт белые табуретки, шкафчик для аптеки с резной узорчатой створкой.

— Помоги-ка! — сказал он Аркадию.

Краска еще прилипала к рукам. Аркадий проносил свою ношу мимо старика гордо, понимая теперь, почему Кришанин так долго беседует с ним.

— А что вы делать для нас можете? — услышал он вопрос.

— Замки, плуги, косы... Кровать смастерим, комод, шкаф, крышу покроем. Наличники вырежем.

Около Кришанина стояло теперь несколько мужиков из Таловки.

«Так их, дядя Костя,— подумал Аркадий.— Пусть знают. А то над коровой слезы льют: «В коммунию животная не хочет!»

— А платить вам как за работу? — все спрашивали Кришанина.

— Денег нам не надо. Семенами платить. Лошадь дать на пахоту, молоко для детей. Натурой платите.

— Это можно... Можно.

— А лечить вы нас будете?

— Лечить будем бесплатно. И детей зимой ваших учить бесплатно будем.

Кришанин заново красил звезду, отходил в сторону, любовался издали ярким ее цветом и снова проводил кистью то тут, то там. Мужики хмуро следили за его работой.

— Учить — это нам не надо... Мы прожили без школы, и дети проживут. Вы вот ученые, а к нашему труду пришли. И ученье не надобится.

— Потому и пришли к вам, что кое-что знаем.

Дети пили молоко. Евстигней с жадностью глядел на них.

Катерина пригласила:

— Иди поешь, дедушка. Уха осталась...

Старик сел за стол.

— Хорошо вы Вислова-то пообщипали. Так ему и надо! — говорил он.

— Это не мы. Это беднота ваша свое у него взяла.

Старик захохотал:

— Свое! Скажешь, баба!

Ложка была алюминиевая, какой он никогда не держал в руках. Она крутилась в толстых его пальцах, уха выплескивалась.

— Городски-то ложки жгутся,— сказал он.— Да и на улице обедать несподручно... А в бараках у вас теснотища...

— Подожди, скоро мы будем жить в просторных комнатах, в чистоте, в уюте...

Старик не сдавался:

— Тоскливо у вас... Порядка много, а смеха нет...

— Ты вечером к нам приходи. Молодые песни поют, пляшут, стихи читают...

— А старики что делают?

— Старики отдыхают. Мы мечтаем так жить, чтобы люди не работали по двадцать часов в сутки и свободное время могли отдохнуть по-человечески.

— Вон ведь как... Этак и мне можно к вам записаться. Отдыхай себе, Истигней.— Он мелко и долго смеялся. Нашел непорядок наконец: примут в коммуну и не робить. Для отдыха от жизни. Сунул ложку в карман, строго сказал: — Этак проотдыхаете,— и направился к переправе.

Катерина шагнула за ним:

— А ложечку-то все-таки оставь, дедушка.

— Охти мне! Да как же я ее прихватил?

Евстигней извлек из кармана ложку, не смущаясь, положил на стол. Катерина смотрела на него, скрестив на груди руки.

24

— Не рыбачишь сегодня? — хмуро спросил Кришанин Аркадия.— Ждешь? А ребята?

— А ребята удят... Я за коровой ходил. Они наловили на завтрак, по рыбке хватит.

— По рыбке! — ворчал Кришанин.— Дисциплины у тебя нет.

— Я наверстаю, дядя Костя.

В торжественном молчании пронесли залитую смолой лодку к берегу. Крестьяне гурьбой шли следом.

— Мастера!

Лодка вместительная, не верткая, с плоским широким днищем. Смола была и внутри, уже подсохшая, блестящая и пахучая.

Гуси слетались на воду, били крыльями и кричали.

Аркадий плыл, раскалывая веслами речную гладь. Скрипели уключины.

Теперь он уже знал, какая рыба водится в этой реке, где лучше клюет.

Лодка прижималась к крутому берегу, дробилась в синей зыбучей глубине.

Аркадий греб сильно. Ветер свистел в ушах. За скалой ходили вертящиеся воронки и клочья пены. Распаленный воздух дрожал и струился.

В темном омутке водится крупная рыба. Аркадий приткнул лодку на шест, размотал удочку, насадил червя. Только тогда раскрошил в ладони плотное тесто, замешенное на мятных каплях. Закинул. От напряжения у него побагровел затылок. Поплавок пропал под водой, струной натянулась леска.

Огромный зеленый окунь метнулся в лодку, распластав в воздухе красные плавники. Аркадий бережно опустил упругую рыбу на дно ведра. Окунь сделал несколько бросков, зевнул и затих. Темная зелень хребта и красные плавники окуня быстро меркли.

Вспотев от напряжения, Аркадий размотал вторую удочку.

Дно, отражая небо, казалось хрустальным, освещенным снизу.

Стая рыб осторожно подошла к насадке, покачалась в прозрачной воде. От них на светлое дно реки падали юркие тени. В лодке лежала уже целая гора уснувших рыбин.

Напротив поднялись утки, взбороздили прозрачную воду.

Рыжими волнами расстелились на берегу пески; по пескам с песней шли в Таловку девушки.

Аркадий услышал слова:

Завтра рано у колодца
Скажу: «Мама, не тужи.
Ухожу в коммунию
Народу бедному служить».

Рыбак напряженно слушал, о чем поют девушки. Прозвучал смех. Нежный голосок, почти детский, произнес:

— А я другую знаю...— и затянул неожиданно громко:

Рабочий паренек,
Ручки беленьки...
Ты катись в свой Петроград,
Пока целенький...

Девушки снова озорно и возбужденно засмеялись. Аркадий рассердился, взглянул на поплавок, выдернул леску: «Прозевал. И все из-за этих... Тоже... Пока целенький! Посмотрим, кто кого!»

Свою роль в коммуне он определил. Она очень проста — помогать во всем, что для него значило — подчиняться взрослым в делах. Коммуна — значит, все общее: труд, пища, небо, леса, вода. И это из-за коммуны здесь столько неба, столько зелени и цветов. И все для коммунаров. Поэтому каждое слово против коммуны, услышанное им, глубоко и больно его задевало.

Уже издали неслась новая песня:

Вышла бабка провожать
В коммунию с иконами.
Иди, бабка, лучше спать.
Мы с красными знаменами.

Аркадию снова стало весело. Смутно чувствовал парнишка, что их коммуна возбуждает любопытство, манит. О ней поют песни. Ему тоже хотелось громко запеть, обнять этих девчат, этот лес на берегу, эту воду и широкое небо. Все хорошо.

Рыба прибывала. И это хорошо. Аркадий был благодарен отцу, Кришанину, тете Кате, всем за то, что все так хорошо, что небо такое просторное, что пряно пахнет молодая зелень, что вода так прозрачна.

Он понял также, что у него много обязательств перед всеми за это свежее чувство, за эту светлую жизнь, за то, что эта жизнь стала привычной и радостной. Это все потому, что талантливые, умные люди заранее обдумали все.

Можно уже плыть обратно.

Он представил себе, как тетя Катя, увидев столько рыбы (и какой!), обрадуется, поднесет к своему короткому носу с глубоко вырезанными ноздрями каждую рыбку, а потом скажет: «Ну и надергал же!»

А от походных кухонь уже скоро понесется густой дразнящий запах жареной рыбы.

Аркадий нравился сам себе за то, что так удачлив, что любит помогать всем. Посмотрел на свое отражение в воде, улыбнулся: он уже взрослый, ему пятнадцать лет. Напевая услышанную частушку, он смотал удочки, выдернул шест, коснувшись им сучьев сосны. Мшистый лишайник опутал дерево, обмотал с вершины до корней. Кору изъели гусеницы. Корни дерева оплели камни со всех сторон.

Аркадий заметил старика, который сидел, опираясь на дерево спиной, смотрел, как течет река, и плакал. Это было так необычно, что мальчик долго не мог прийти в себя. Наконец, махнув веслами, подплыл ближе и крикнул:

— Дедушка, вам помочь? Вам нездоровится?

Старик недоуменно поглядел на парнишку. В синей полинялой рубахе, без пояса, взлохмаченный, костистый и длиннорукий, он вызывал жалость. Руки его были в трещинах. В кожу въелась грязь. Ногти были черные и пальцы черные и твердые, как сосновые корни. А на лице, изъеденном морщинами, тлели испуганные и молящие о чем-то глаза.

Аркадий повторил:

— Вам нездоровится, дедушка?

— Нет... мне ничего... как всегда...

— Значит, и плачете вы всегда?

— Сердце-то плачет... всегда.

— Отчего? — Аркадий подплыл к берегу, схватился за тростник, не спуская со старика глаз.

— Один я — вот и плачу.

— Вам дать рыбы?

— Для чего? Меня хозяин кормит.

— Значит, вы не один, если хозяин есть.

— А что мне хозяин? — Старик снова посмотрел глубоко сидящими белесыми глазами на реку, словно хотел пересчитать волны.— Хозяин... Раньше-то я свое горе Кузе изливал. А нынче он все к вам бегает, в коммунию.

— А откуда вы знаете, что я из коммуны?

— Я всех ваших знаю. Из кустов пересчитал. Вас много.

— Вот и идите к нам...

— Сил у меня нет, вьюноша... Едоков у вас — своих много.— Рот его искривился.— Здесь озеро большое ваш главный собирается делать.

— И это вы знаете?

— Из кустов слышал. И как он озеро построит? Скалы помешают. Скалы-то у нас — с хребта шапку на небо забросить можно. На вершине-то облака да орлы отдыхают. И зачем озеро? Такую красоту ломать. Я всю жизнь гляжу не нагляжусь. На реке и лодка твоя как лодка. А на озере потеряется, маленькая, как скорлупка.

— А мы много лодок спустим, все-то не затеряются.

— Вишь ты...— Слезы старика высохли. Он с любопытством разглядывал Аркадия и, когда тот отцепился от тростника и хотел взять весла, испуганно попросил:

— Поговори еще со мной, сынок. Со мной никто не говорит.

Аркадий снова взялся за тростник.

— Хотите, я вас на лодке покатаю,— предложил он и испугался: вдруг старик согласится и тетя Катя будет напрасно ждать рыбу, а люди останутся голодными?

Старик отказался:

— Куда мне на лодке! А ты тоскуешь один-то? — поинтересовался он.

— Да разве...— Мальчик оглядел небо, воду, как бы говоря: «Разве можно думать о тоске, когда есть сосны, эта голубая вода, это широкое небо?»

Старик понял, закивал:

— Ну да, это верно...— Он начал подниматься.— У хозяина небось лысина потом изошла... Сегодня он злой, от злости собаку съел бы... Несчастных никто не любит. Никто не жалеет. Все норовят подальше от них, а ты — кататься! Рыба со смеху в воде подохнет... Несчастного все ненавидят... Смеются. Отчего тебе тяжело-то и высмеивают. Не верь людям, вьюноша. Если завидуют, будут радехоньки тебя принизить,— глубокомысленно поучал старик.

— Мне никто не завидует. И у нас не смеются над несчастными,— возразил Аркадий, все с большим интересом слушая старика.— Идите к нам, и над вами никто смеяться не будет. А ваши... они злые. Оглоблина убили... Даже звезду над могилой у нас сорвали. Но мы сделаем другую.

— Один далеко в лес не заходи,— продолжал старик,— убьют, как убили вашего человека. Я догадываюсь, где на вас ножи точат... Поезжай, сынок. Спасибо: поговорил со

мной, мне и легче стало. Я здесь часто отдыхаю, у сосны: дома-то не посидишь.

— Только вы не плачьте. Я к вам каждое утро буду сюда приезжать.

Старик поднялся. Проводив лодку с Аркадием, низко поклонился реке, крестя ее дробным мелким крестом.

25

Настоящее имя его было Моисей, но ни имени, ни фамилии никто не помнил. Называли его Мысеем. Когда-то он был женат. У него был свой дом, хозяйство. Пала корова. Дом сгорел. Жена, испугавшись бушующего огня, скинула мертвого ребенка, умерла и сама. Мысей растерялся, утратил веру в собственные силы. Оставшись без семьи, он быстро опустился. Зимой спал по баням, летом в поле. Любой куст ему был домом.

Родни не было. Грязный, оборванный и завшивленный, он молча ходил по селу.

На его жалкое лицо, на вечно мокрый рот и слезящиеся глаза больно было смотреть. Бороденка росла редкая, лицо казалось голым и выражало такое равнодушие ко всему, что люди шарахались от него.

Матери пугали детей:

— Замолчи, вон Мысей идет.

И ребенок замолкал, с ужасом глядя на проходившего мимо бобыля.

Однажды Прохор Вислов увидел на мельнице, как Мысей за ломоть хлеба, легко взвалив на спину мешок, нес его к воронке по настилу, ступал уверенно, колени его не подгибались.

Через несколько дней, встретив старика на улице, Прохор сказал:

— Что-то, Мысей, ты старишься быстро. Здоров ли? Тебе ведь небось полсотни только?

— Полсотни,— вяло согласился тот.

— Смотри-ка, тебе все семьдесят можно дать. Зашел бы... Одежонку баба моя тебе поищет, накормит.

Мысей пришел к Висловым да так у них и остался.

Палага — хозяйка твердая. Заставляла батрака мыться в бане каждую неделю. Теперь уже не ели вши старика. Обедал он ежедневно. Зимой с Кузьмой спал в кухне на

полатях. Летом — на сеновале. Безропотно выполнял любую работу.

— Прибрал старика,— говорил Вислов соседям.— Один он как перст. Это Истигнея Соколова не приберешь от живого да богатого сынка, а этого — божье дело.

После женитьбы Кузьмы Полозкова Мысей, кажется, совсем разучился говорить. О чем он думал и думал ли, никто не знал.

Кузьма порой тряс его за плечи, кричал:

— Живой ты или нет? Ничем тебя не проймешь!

В это утро Мысей чуть свет ушел в лес за лошадью. Обошел елань, где стреножил ее с вечера,— лошади не было. Уставший и огорченный, сел на берегу отдохнуть. Здесь его и увидел Аркадий.

Впервые в жизни Мысей высказал свои обиды. В первый раз кто-то обещал ему помощь.

— Ах, вьюноша, вьюноша,— шептал он, глядя вслед лодке.— Вон ведь как! «Не плачь»,— говорит. Вон ведь как! Да мои-то слезы землю насквозь прожгли. «На лодке, говорит, покатаю». И не боялся меня. Ребятишки боятся, а он к берегу из-за меня пристал. Да я же... я ветру не дам на тебя дунуть! — Это решение было столь неожиданно для него, что он задохнулся.— А что? И не дам!

Мысей шел берегом к селу, размышляя о том, что лошадь не нашлась, хозяин будет ругаться. Дадут ли ему сегодня поесть? Если дадут, он снова должен идти на поиски лошади. А если не дадут, сил, пожалуй, не будет.

У тропы, в густом лесу, сидела Окся, хозяйская дочь, с парнем из коммуны, держала на коленях большую книгу с яркими картинками, водила по ней пальцем и, низко склонясь, точно зарывшись в нее, тянула:

— «Ба-ба по-ш-ла...»

Лицо ее было искажено напряжением. Это была новая, преображенная внутренним трепетом Окся, и выражение ее лица показалось Мысею таким необычным, что он отступил, будто застал ее раздетой. Вдруг она вскрикнула:

— Да ведь это «Баба пошла»? Диво мне! Так я читаю! — Каждая буква для нее была как вспышка.

Увидев Мысея, Окся вскочила. Книга упала на тропу. Парень неторопливо поднял ее.

Отойдя, Мысей услышал за собой легкие шаги Окси. Девушка испуганно зашептала:

— Мысеюшка, батюшка, не говори, что видел меня, Христом-богом молю...

Мысей молча посмотрел Оксе в лицо и прошел дальше.

Лошадь была дома. В путах сама прискакала к воротам. Хозяин ее впустил. Однако он был злой и встретил Мысея бранью:

— Где прохлаждался?

— Коня искал.

— Коня! Чего его искать, когда он дома. Дармоед! — Хозяин замахнулся на него кулаком. Такого еще не бывало, чтобы Прохор поднимал на Мысея руку. К ним бросился Кузьма, закричал:

— Ты что, хозяин, с ума свихнулся? Меня — молодого — бей. А старика не трогай. Он может в могилу обиду унести.

Вислов не ударил Мысея. Встретив взгляд Кузьмы, отступил, ушел в избу.

Мысей стоял посреди двора и лениво думал о том, что вот на него уже замахнулся хозяин, скоро его будут бить.

А мальчишка из коммуны говорил: «У нас никто не смеется друг над другом».

Черные, блестевшие добротой и участием глаза мальчика неотступно стояли перед стариком. «Не плачь»,— говорит.

Из дома несся крик Палаги:

— Окся! Где ты, Окся?

Мысей все так же лениво продолжал думать: «Нету Окси. И она уйдет от вас»,— и тихо вышел со двора. Но тут же вернулся, постучал в ставень.

Окно распахнул Прохор, сердито спросил:

— Чего тебе?

— Так что, хозяин, ухожу я от тебя.

— Что-о? — привскочил Прохор.— Куда?

— Ухожу вот... Там вьюноша меня спросил, плохо ли мне, отчего я плачу. Кузьме стыдно в коммуну идти, у него едоков много, а я — один — пойду.

Бормоча под нос что-то о «вьюноше», о лодке, о Кузьме, Мысей ушел со двора и направился на берег, к переправе.

Многие таловцы высыпали на берег посмотреть, как коммунары выезжают на пахоту. Некоторые переправились к коммуне, засели в кустах. Всех томило любопытство. Следили строго, придирчиво, как неумело укладывали питерцы на телеги плуги и бороны.

Неожиданно выскочил из кустов высокий парень со вздернутым широким носом, румяный, обутый в бродни, подвязанные ремешками под коленками; мягко ступая, подбежал к одной из телег, открыв в смехе плотные, тесно посаженные зубы.

— Куда ты, Тарас? — громко окликнул его из толпы Евстигней.

Тарас перевернул борону зубьями книзу и передвинул ее ближе к передку телеги. Так же молча нырнул в толпу.

— Резон! — громко сказал Кланверис, всматриваясь в парня. «Тарас? Уж не тот ли это Тарас, который на сходках вступался, говорят, за бедноту?» В каждом слове, в каждом движении сельчан Кланверис искал и находил пробуждение нового.

— Резон для вас... а мы пятой улицей вас обойдем.

— Что-то не видно, чтоб обходили!

— Баб-то, баб побольше прихватите! — кричали вокруг.

— Зачем им много. Одну на всех!

Саня вывела из леса стайку детей. Она подпрыгивала на ходу, как птица. И дети подпрыгивали, глядя на нее. У них шла какая-то игра.

— Ребятишек-то сколько!

— Детей у нас много,— отозвалась Катерина, устанавливая на телегу бидоны с квасом.— Уложи их на пол от стены до стены — ногу некуда поставить.

Еще злее закричали из толпы:

— А отцы-то у них кто, знаете ли?

— Пианину-то, пианину-то на поле прихватите! — кричал Евстигней.

— Шестью плужками всю целину дыбом поставят!

— Помолчите-ка, сельчане, и ты, дедушка, замолчи, хватит! — сердито крикнул Тарас и смолк, оторопело глядя на Саню.

Вокруг подвод суетились теперь женщины, укладывая мешки с печеным хлебом, посуду, свернутые палатки.

Наконец всё уложено. Подводы тронулись. Задребезжали сошники сеялок. Вслед за подводами шел Федор Пискунов, спотыкался, читая на ходу книгу, отставал, догонял и снова углублялся в развернутую страницу.

Одуванчики раскрывали желтые корзинки.

За густым пихтачом развернулось поле, пугая своей необъятностью. Лошади хватали ветки кустарника, отмахивались от мух, фыркали, звенели сбруей. Над полем вились жаворонки.

Коммунары поставили палатки, врыли стол и скамьи вокруг него.

Мысей, который уже несколько дней жил в коммуне, помолился, повел первую борозду, снимая небольшой слой земли. Он приговаривал:

— Если бы не целыжень, тогда бы что?! Тогда бы плужок сразу взял!

Следом шел Ян, заваливая другим плугом верхний пласт.

По блестевшему лемеху плуга скользила и ложилась под ноги земля.

Все смотрели, как спокойно Мысей шагал по влажной рыхлой полосе, как повернул лошадь, привычно забросил за ней плуг и снова шагал, важно и уверенно.

Шерсть на лошади заблестела от пота.

Теперь и другие пахари пошли, все расширяя черную полосу поднятой земли.

Плотная, переплетенная корневищами трав земля поддавалась тяжело; лошади, чуть не падая, поднимали черный вал. Изо всей силы давили сзади пахари на плуг. Белые толстые корни вздыбились, вырванные из земли.

Впряглись, идут люди, тащат, тянут плуги, сами, без лошадей.

С горы послышались удивленные голоса: даже и здесь не оставляли коммунаров любопытные крестьяне:

— Гли-ка, сами впряглись!

— А вы баб впрягите: они у вас игровитые.

— Нашу земельку им не взять, она чужим не дается!

Коммунары не обращали внимания на злобные выкрики.

Лемехи с треском резали землю; пласты шли извилистой волной.

Кришанина отпустило обычное напряжение: все охотно начали работу, не было ни одного человека, который ста-

рался бы уклониться. Кришанин задыхался от радости, охватившей его: он любил этих людей, он верил в них.

Вышел из березняка Кузьма Полозков, ведя в поводу лошадь. Она трясла перепутанной гривой. Насмешливое лицо мужика было на этот раз торжественным. Пальцы, пожелтевшие от табака, крепко сжимали повод. Он зашептал Кришанину:

— Скажи своим пахарям, начальник, что на плуг давить не надо. Поставить его на какую хошь глубину и держать только, чтобы не выворачивало. А то зря силы изведете...— И, оглянувшись, сообщил: — А я помогу немного. Сегодня хозяин отлеживается с горя... Я и поработаю. Дружбой отплатите...

Лошадь впрягли в плуг.

Женщины на берегу Бухтармы копали слежавшуюся землю лопатами. Неслась по степи песня.

На помощь коммунарам собиралось все больше людей. Везли бороны, сохи или просто давали коня, работали сами. Вот с увальчика съехал Тарас Соколов на сивой лошади, впряженной в телегу. На телеге лежал плуг.

Глаза блестели, весело улыбался большой рот.

У палаток парень остановил лошадь и начал перепрягать ее в плуг.

За телегой прибежала тонконогая рыжая собака с веселыми глазами, виляя пышным хвостом, крутилась, изгибаясь длинным телом, терлась о его ноги. Он отталкивал собаку и добродушно покрикивал:

— Ну погоди... Дружок.

— А ты, Тарас Соколов, подо что нам работать собираешься? — спросил Кришанин.

— Под песни,— отшутился тот, посмотрев на председателя с доброжелательным интересом.

Парень повел борозду.

Дело двигалось медленно.

Лошади метались, шумно дыша, взбрыкивали ногами, лягались. Их бока покрыла пена.

Мысей, остановив своего коня, подошел к одному из пахарей и, как глухому, закричал:

— Мелко пашешь, потому и плуг выскакивает.

Конь косил па Мысея печальным глазом. Он зашептал ему на ухо:

— Вытяни, милай. Видишь ведь, как люди-то страждут.

И «милай» тянул, тянул, напрягаясь до дрожи.

Вороны копошились в тугих бороздах, искали червей, близко подпускали пахаря и отскакивали.

С Пискуновым впряглись в борону Кришанин и Федор.

Непривычный труд ломил спину. Остановиться и передохнуть нельзя: засмеют. В березняке и вправду смеялись над неумелыми пахарями.

— Ай, хороша тройка! Председатель в пристяжках. На его полосе зернышко в десять колосков прорастет.

Пискунов сбросил рубаху. От локтей струились, темнея, сухожилия, как жгуты. Когда степь начала подниматься на увальчик, он упал и какое-то время лежал на прохладной земле без движения.

— О-о,— стоном прошло на меже,— запашет его лошадка.

— Вон они славу-то себе как достают, будто рубли считают!

— Да и, опять-таки, дороги сами не вырастут, их надо ножками протоптать.

— Разодрал глотку-то!

— До хозяйства-то дорожка длинная.

— Для тех, кто не останавливается, короче.

Люди сбежались, брызгали на кузнеца водой, силились поднять.

Женщины, побросав лопаты, с шумом бежали сюда. Выла Елизавета. Мысей, склонившись над распростертым телом коммунара, учил:

— На ногах крепче стоять надо, с силой. Хошь за плугом идешь, хошь в упряжке.

Пискунов поднялся, широко перекрестился и снова потянул лямку.

— Гли-ка, крестится... Знать, с богом жить собирается!

Федор, кося на отца глаза, заметил:

— Папа, ведь бог-то ослеп! Все так говорят. Вот и дядя Костя тебе это же скажет...

— Помолчи! — бросил отец, задыхаясь.— Яйца курицу не учат.

Федор, оскорбленный, смолк. Трудно ему переделывать отца. Грудь распирало от того, что он успел узнать из книг, от коммунаров. Кажется, все бы отдал отцу, но тот не хотел его слушать.

— Вот бог взял бы да и пошел в упряжке вместо тебя,— добавил Федор сердито.

— Не трогай бога! — крикнул Матвей.

Кланверис сказал:

— Учиться, Федя, надо. Твердить только, что бога нет,— это никого не убедит. А доказать ты не сможешь.

Полозков, неся на груди лукошко, сеял. Широким взмахом руки он бросал тугое зерно в стенку лукошка, и оно рассыпалось веером на черную землю. Лицо его было торжественное.

Все это — и широта полей, и Кузьма, с посветлевшим лицом разбрасывающий зерно, и люди, готовые на подвиг,— все настроило Кришанина мечтательно. Он видел это огромное поле прогнувшимся от хлебов. И не лошади, в надсаде вытягивающие борозды, а невиданные огромные машины пойдут здесь. Они будут жать хлеб, молотить, веять. Это не машины, а целые фабрики зерна. И поведут их его кудрявые внуки. Мысли его взлетали, кружили голову. Судьбы неведомых еще ему людей будущего волновали так, будто он видит их сегодня.

От сверкающего зноя трескались губы. Все оживились, когда поплыл по степи голос Катерины Важениной:

— Обе-ед!

К столу подошел Евстигней, глядя на обедающих голодными глазами.

Катерина и ему налила ухи.

— Поешь, дедушка Евстигней. Хоть ты тоже смеялся над нами, но поешь... Может, подобреешь!

Тот остро взглянул на своего внука Тараса и жадно начал есть.

— Ложки-то у вас больно горячи... Деревянну бы мне...

— Вот и смотрят, что мы едим и как едим! — возмущались коммунары, чувствуя злые взгляды сельчан на себе.

Евстигней вполголоса успокаивал:

— Надоест разглядывать, устанут, вы и отдохните. Да и пусть смотрят, как вы преуспеваете: трудно да с любовью. А я ведь не смеялся... Это тебе показалось, Катерина Ивановна...

Кришанин неожиданно крикнул в сторону кустов:

— А вы идите к нам, граждане, чего боитесь?

Кусты шевелил ветер.

— Остерегаться их надо,— проскрипел Мысей.— Страшны люди, кои тебя боятся,— добавил он пророчески.

— А чего их остерегаться? — так и вскинулся Евстигней.

Тарас внимательно оглядел кусты и, словно увидя кого в густой их заросли, бросил:

— Здесь прячутся не только враги. Много у нас желают говорить с вами.

— А мы только то и делаем, что с вашими разговариваем. Кланверис вон до раны в голове договорился, каждый день о текущем моменте рассказывает.

— Нам бы о жизни. Вы вот приехали, а не знаете, что у нас думают, на вас глядя. Один приезд ваш многих поприжал. Да и помогли вы... Нынче беднота лучшую землю увидит. И семена вы помогли достать... А раньше все лучшее кулаки забирали.

— А ты бедняк?

Тарас замялся, взглянул на Евстигнея.

— Я-то бедняк. Отец мой — середняк, а я с ним живу, на всем готовом. В кулаки метит. Вот и отца своего, Евстигнея, деда моего, значит, не кормит... Землю-то бедноте дали, а семян-то нет. Ваш товарищ Кланверис помог, спасибо ему... Кулаки в ямах зерно прячут.

Катерина Важенина и девушки подносили и подносили на стол хлеб, жареную рыбу, подливали коммунарам ухи.

— Кушайте на здоровье. Рыба выручает. Вот только уха посолена не круто. Соль на исходе. И где соли взять?

— Аркашенька собирался с нами сюда, да что-то нет его...— посетовал Мысей.

Из кустов вышел Алексей Соколов, отец Тараса. Сняв с головы утлый картуз, поклонился.

— Здравствуйте, честной народ...— Свирепо взглянул на сына, заявил:— Я тебе лошадь до паужны дал, а здесь паужна в три часа... Оттянулось время-то. Домой поедем. Завтра и нам пахоту начинать. Помог им. Хватит.

Тарас вспыхнул, торопливо проглотил кусок, поднялся. Молча нашел в кустах свою лошадь, впряг в телегу.

— Возьми, батя, Сивку. Я домой не пойду.

— Я вот резану тебя вожжами, опомнишься!

— Не пойду, отец. Если не откажут, в коммуне останусь.

Глаза Алексея закатились от возмущения.

— И вы идите к нам, товарищ Соколов,— сказал Кришанин,— примем!

Лицо мужика исказилось от злобы.

— Я те не товарищ. Скорее у тебя зубы позеленеют, чем я к тебе приду. У меня две коровы, две лошади, вам все и отдай? К вам Мысей вон пришел, у него в хозяйстве и мышей не было. Это вам под стать!

Из-за стола вышел Евстигней, помолился.

— Спасибо, товарищи коммунары, накормили старика... Хоть и невдосоль ушка, а есть можно.

Алексей с негодованием смотрел на отца.

— Не справишься один, сынок. Батраков придется нанимать российских,— сказал Евстигней.— Вот в кулаки и вышел.

— Ты лижи, лижи ложку чище. Я добро по ветру спущу, а внуку твоему ничего не выделю!

— Ты это умеешь, ушканья душа! Как у меня добренькое отнял, так и у сына отберешь. Тебя ведь и волки сожрут, так век блевать будут.

Мысей с берега нес лыко. Задел ношей Соколова. Тот отскочил, свирепо поглядел на него и снова набросился на сына:

— От страды уходишь! Меж двух стульев садишься.

Тарас, почтительно опустив голову, молчал. Молчали и коммунары, бросая друг на друга довольные взгляды.

Старик растирал себе грудь, словно задыхался. Затем вскочил на телегу и, еще не трогая лошадь, продолжал:

— Я тебе этого до бела савана помнить буду... Садись!

Тарас не двинулся, тупо уставившись в землю, явно избегая взгляда отца. Алексей, распаленный до пота, продолжая что-то кричать, тронул лошадь. Телега, дребезжа, затарахтела на увал. Дружок с лаем бросился за хозяином, вернулся, покрутился вокруг Тараса, опять побежал за телегой.

Тарас сел на скамью, не глядя ни на кого, и свистнул призывно. Дружок вылетел из кустов и улегся у его ног.

Мысей начал плести лапти.

— Пригодятся... Пахать да страдовать — лучше обуви не надо...

В кустах кто-то закричал со смехом:

— Правильно, Мысей. У коммунаров скоро у сапог каблучки-то пообтопчутся... Вот ты всех и обуешь...

В наступившей тишине странно прозвучал хриплый голос Мысея:

— День-то долгий сегодня... Аркашеньки все нету... Не случилось ли чего...

Угомонились вороны в кустах, усеянных светляками. Приплескивала сонная река. От нее шел веселый шум. Плыли плоты: коммунары рубили лес на строительство, на дрова, переправляли его к лагерю. Раскаты смеха отдавались от стен берегового бора, от скал. Молодежь купалась до темноты. Парни украдкой подплывали к девушкам, подныривали под них. Те бранились, взвизгивали, хохотали.

Наигравшись, высекли стальным осколком из кремня искры, разожгли костер. Высоко в темноту летело белое пламя. Отжатые косы девушек пахли водой. Деревья, томясь и дрожа, темнели. У костра они казались неживыми. На рогулипе, над костром, висел котелок с чаем.

За рекою то было, за реченькой,
За рекой то было, за широкою,—

тянулась над степью нежная песня.

Федор, сидя у костра, читал. Как только кончалась работа, он хватал книжку и забывал об усталости. Сцена свидания Овода с отцом в тюрьме до слез трогала его. Он знал эту книгу, но перечитывал снова и снова. И каждый раз горький ком подступал к горлу. «Я буду таким же. Я буду непреклонным. И ни родство, ни любовь не заставят меня прощать ненависть к нашему делу»,— думал он. Читать было трудно. Буквы от неровного света костра прыгали и то вспыхивали, то терялись совсем. Федор ушел дальше в кусты, лег, глядя в неверное сияние звезд, слушал, как ветер вздымал волну, и думал: «Вот сейчас... сейчас зашумит земля... Я обернусь... это придет Окся».

Слышался ему невнятный шепот, от которого по сердцу пробегала дрожь.

«Я буду еще счастливее. Я научу ее читать. И тогда она поймет, что лучше нашей правды нет ничего на свете. Она поверит мне. Расторопная хозяйка, она будет жить для других, всем будет приносить одну радость красотой и заботой».

И этого добьется он. Он поведет ее в жизнь осторожно и нежно. И она будет знать, что всем обязана ему, Федору.

«Я перевоспитаю ее. Сделаю помощницей... Она все поймет. И я нужен ей, нужен для того, чтобы разбудить ее ум. Красивое должно быть умным».

Хвосты костра чертили на небе ее имя, и скользит оно вместе с дымом, уплывает волнами в далекую темноту.

Облака двигались, складывались в причудливые образы. И всюду в этот вечер виделась ему Окся.

Хотелось кого-то благодарить за то, что Окся есть. И все-таки Федор боялся чего-то, не верил.

— Я счастлив,— шептал он.— Я должен быть счастлив.

То, что любовь пришла так неожиданно, пугало.

Окся теперь знала, что слова составляются из букв. Ему доставляло удовольствие водить ее пальцем по букварю и тянуть вместе с ней: «Ма-ма...»

— А я мамы своей не помню... Это не про меня...— вставила как-то Окся.— «Ма-ша тка-а-ла»... Это про Маньку Пестову. Ох и ткать она мастерица! Любой узор выведет. Я ей скатерки для приданого ткать отдала. Каждая будет с каемкой цветной, петухами разукрашенная...— Отстранив букварь, Окся изумленно вздохнула: — Не одолеть мне писанье это... Не для моего ума. Смотри-ка, про Маньку Пестову сколь верно написано. Ужо скажу я ей... А то нет, не буду говорить: я не хуже ее, а про меня ни словечушка...

Сердце Федора болело от мысли, что Окся живет совсем близко от него, а жизнь у нее другая. Он рассказывал ей о Петрограде, о России. И то, что Россия такая большая, вызвало у Окси новый взрыв удивления:

— А я-то думала, что от Таловки до Гусиного — вся и земля! Неужто вся Россия застроена селениями? Это уж ты, Федя, зря! Да ведь земля-то не выдержит, прогнется. От одной нашей Таловки и то смотри какая выбоина! Продавила Таловка землю-то, вот вокруг и стоят теперь горы, увалы да ущелья... Нет, ты это зря!

Когда же Федор начал говорить о том, что земля представляет собою шар, Окся рассердилась:

— Ты, питерский, все смеешься надо мной!

— Не смеюсь, Окся. И те звезды, что мы видим по ночам, тоже земли... Может, там и люди есть...

— И коммуны, скажешь, там есть?

Теперь обиделся Федор:

— Ах, что ты спрашиваешь напрасно! Коммуна первая на все звезды и на все миры — наша. Это уж точно! — Он бросился на траву, отвернулся, стараясь подавить вол-

нение от восторга, от смелости и мужества коммунаров, тех, кого он знал.

В глазах Окси недоверие. Невысокий лоб ее напряжен от усилий все понять.

Федор почувствовал себя в эту минуту другим, не тем, каким только что был. Он стал как бы частью Окси, Кузьмы Полозкова, всех мужиков Таловки, темных, не тронутых знаниями людей. Как и все они, он тоже ничего не знает, поэтому не должен их судить, а должен помочь им, Должен ответить за их темноту, простить им все и вести их. И снова горло его сдавило волнение. Он убежал тогда от девушки на берег, к переправе, пал на землю и сладко заплакал от распиравшей его любви ко всем, от клятвенных мыслей взять все их невежество на свои плечи, вывести людей к свету.

Отрезвел он именно от этих слов: «Вывести людей к свету!» «Для того чтобы вывести кого-то к свету, нужно учиться самому. И я буду учиться! Буду учиться. Мы все в коммуне будем учиться».

Он встречался с Оксей до пахоты несколько раз. Они уходили подальше от глаз, в тайгу, и сидели, раскрыв азбуку. Каждый успех девушки доставлял Федору радость.

Окся не улавливала смысла того, что читала́. И видел Федор, что нет у нее охоты к чтению, что учится она только для того, чтобы встречаться с ним. И когда он говорил ей о том, как много откроется ей в книгах, она скучала.

Как-то Окся обхватила Федора за шею, прижалась к нему доверчиво.

Никогда ни с кем из женщин Федор не был так близок. Теперь он оцепенел, прислушиваясь к тому, что в нем происходит.

Вдруг он побледнел, отстранился от девушки.

— Давай подальше, а то забуду я все... как себя звать, забуду!

— Хозяйство ты все-таки заводил бы, Федя... Я без хозяйства не могу!

Видимо, девушка неправильно понимала эти занятия.

Федор попробовал сказать:

— До этого еще далеко. Мы ведь только грамоте учимся.

Окся недоверчиво посмотрела на него и вдруг рассмеялась:

— Ой, ты и хитрый! Как будто я не понимаю, что к

чему! Говорю тебе — заводи хозяйство! Я уж утиральники вышитые заготовила... Тятенька шубу с бобром обещал... Всего вдосталь... Достовать в церкву пойду — всем на завидки выряжусь. И ты заводи...

Глаза ее, равнодушные в этот час, чужие, с желтизной у зрачка. Федор отвернулся. Потом снова долго убеждал ее, что хозяйство у них в коммуне большое, люди все мастеровые, умеют все делать.

— Знаю. И все-таки коня своего заводи, чтоб и дугу головой задевал, коровку... Век минутой не прожить. У нас здесь у каждого корова есть, а ты пролетария, хоть и залюбила я тебя. И чего это я тебя сразу-то стыдобилась?!

...Песни девушек растекались, плыли в ночи далеко, бились о стену пихтача и возвращались обратно десятками неясных звуков.

Ох, дайте мне карету
И пару лошадей.
Я сяду и поеду
К Марусеньке моей.

«Ох, дайте мне лошадей, я поеду!» — мысленно повторил Федор и вздохнул:

— Покурил бы я сейчас!

Слышался близко храп лошадей. Как огонек, гасла песня.

В коммуне кончился табак. Еще раньше кончились соль и спички. За солью коммунары ходят по селам, меняют на нее вещи, красят крыши, подковывают лошадей. Купить соль негде. Теперь придется работать и за табак.

Федор крикнул:

— Эй, товарищи, закурить нет?

У костра кто-то протянул:

— Нет... скучно без табаку...

Федора отыскал в кустах Тарас, протянул кисет, лег рядом. Помолчали. Тени меж кустов казались ямами. В трепетной тьме было что-то подстерегающее.

— У меня батя не кулак...— тихонько начал Тарас.— Сердце мое изныло... Боюсь, как бы в кулаки не ушел. Мы ведь хозяйство как наживали? Семью свою на работе он изводил. Ни поспать, ни погулять, ни отдохнуть. Хозяйство справное, потому что отец все продает. Кормит он нас плохо. А робим — гнемся.

— Так ведь и у нас, как видишь, не посидишь.

В кустах лошади брящали путами. Одна из них подошла к парням. Тарас поднялся, потрепал ее по шее, достал из кармана кусок хлеба. Лошадь осторожно взяла хлеб и начала жевать.

«Страдает парень»,— понял Федор.

Лица Тараса Федор не видел, когда тот говорил:

— Это так. Вы робите, как с углей рвете. Но ведь это вы робите, сами. Сами, понимаешь? Вас никто не заставляет. Вы и последний рубль легко ребром ставите. На столе полно, брюхо сыто. А я досыта у отца не глотал.

— Не выдержишь, Тарас, к отцу вернешься, если воли не найдешь. А уж тогда он будет еще злее. Бессильные все изверги. Уйдешь?

— Ни за что. Я ведь солдатская кость: вытерплю начало. А конец сам подойдет. Дедушка Истигней терпит. И я терплю. Я ведь ни с одной девкой еще не баловался.— Помолчав, продолжал: — Ни одна сердце не тронула. Все некогда. Как-то Оксю Вислову заприметил...

Федор вздрогнул.

От дыма на полянке двигались волнами плотные тени. Песни девчат смолкли. Откуда-то доносились женский смех, голоса:

— Пошто ольху в огонь? Ольха водянистая, дым один от нее. Вот пихту — та пышет, как зарница.

— Только и Окся к сердцу не прилипла,— вздохнул Тарас.— А вот ваша... беленькая одна... Саней звать. Вот она... Я, как ее увидел, не помню, на каком огне стоял.

Федор рассмеялся.

— А мне ваша Окся к сердцу прилипла,— не выдержал он, удивившись, что Тарас прошел мимо нее.— У меня сейчас ровно все сердце в соловьях.

— Не отдадут. Ни за что не отдадут... Отец у нее выжига. А мачеха — и того хуже. А ваша Саня пошла бы за меня?

— Спроси у нее.

— А ты тоже, Федор, уходи к Оксе... Брось коммуну и иди в дом. В дом Вислов возьмет: ему батраки нужны.— Тарас вздрогнул от оглушительного смеха Федора. Тот хохотал, катаясь по траве.

— Ой, Тарас, замолчи! Ради бога, замолчи! Да, как тебе это в голову пришло? Да разве я без коммуны могу? Да ты знаешь, что мы здесь сделаем? Да тебе такого и не снилось! — Федор продолжал смеяться.

Тарас обиженно подумал: «Чудные люди! И что в них такое? Я из-за отца да ради девки из дому ушел, а он ради девки коммуну бросить не может? Что они за люди? Какой веры? Неужели в самом деле коммуна их так держит?»

Невдалеке на берегу все сидел Мысей, с тоской глядел па воду, ждал. По нему прыгали красноватые тени от костра. Федор улыбнулся: старик ждал Аркадия.

И не напрасно ждал. Послышался плеск весел. Мысей поднялся, силясь разглядеть сидящих в лодке людей.

Услышав девичий гортанный голос, вскочил и Федор. Мысей, поддерживая лодку, приговаривал:

— А я ждал да ждал. Думал, уж не случилось ли чего...

— Чего со мной, деда, может случиться? — отвечал Аркадий, явно радуясь тому, что его ждали.— Держи-ка рыбу, деда.

Раздумывая над неожиданной привязанностью брата к старику, Федор спустился к реке. Кто-то подбросил в костер сучьев, и огонь запылал, поднимаясь в небо красным столбом. По реке далеко уплывал блестящий отсвет.

Навстречу Федору с берега бежали Сергей и Мишутка. Аркадий, узнав брата, заявил:

— Нас сюда отпустили, чтобы рыбой вас кормить. А это тебе подарок: угадай, кто приехал! Угадай! Кто-то очень хороший! — и неожиданно вытолкнул из темноты Таню.— А на могиле снова звезду сорвали... но мы теперь сами ее выпрямили и покрасили, и венками новыми всю могилу устлали.

Федор обрадовался и испугался, увидев Таню, не слушал мальчишек, хотел убежать, скрыться. Но девушка уже трясла его руку, преданно заглядывая в глаза, и твердила:

— Вот ты какой стал... Почернел, как цыган...

— Да и ты изменилась...— Он рассматривал ее и все больше радовался тому, что это же снова Таня, та самая Таня, с которой вместе учился и работал, с которой гулял по набережным Невы. Таня, насмешливая и дерзкая. Однако это была и не та Татьяна, воспоминания о которой он так старательно гнал, а совсем другая, во много раз лучше, строже и красивее. Глаза ее потемнели, в изломах бровей и в высохших отвердевших губах легла решительность. Федор оробел: уж ее переделывать не нужно. Сама переделалась и многое теперь знает. И одета она была не как раньше: черная короткая юбка, солдатская гимнастерка,

подпоясанная широким ремнем, делали ее чужой, незнакомой. Только голос ее по-прежнему был низкий.

— Она от укома приехала к нам... Собрание у нас в коммуне провела,— докладывали наперебой парнишки.

Ее глаза говорили о пережитых печалях. Тугие завитки отросших волос обрамляли лицо.

Таня тихо пошла с берега, уводя за собой Федора. Теперь костер уже не бросал на девушку отблеска, и Федор не видел выражения ее лица.

— Рассказывай,— потребовала она,— как ты жил, о чем думал? — Какие-то гневные ноты зазвучали в ломком голосе девушки. Она остановилась, ждала.

— Как жил, ты уже знаешь. Небось на собрании спрашивала?

— Заважничал: буду я собрание о твоей особе спрашивать! Я спрашивала, как все живут. Ну, а ты ведь всегда живешь не как все,— вымученная улыбка, казалось, тронула ее лицо.

— Ну почему же? — растерянно спросил Федор.— И я как все...

— Брось. Никто ведь с кулачками не связался. Ты один.

— И это знаешь? — Федор внезапно успокоился. Сознание, что Таня здесь, рядом, на минуту облившее его радостью, погасло, все стало для него обыкновенным и незначительным.

— И это знаю,— отозвалась Таня.— Знаю, что писать, читать ее по кустам учишь. Мне все братья твои рассказали.

Они опять попали в полосу света. Прищурив глаза, Федор с интересом спросил:

— Не ревнуешь ли?

Они твердо взглянули друг на друга. Таня с болью вздохнула:

— Некогда мне о тебе думать. Да и... пролитое полно не бывает.

Федор сердито спросил:

— А о Вавилове думать время находишь? Сильно он тебя греет? Еще на вокзале, когда встречал нас, тебя погреть обещал. Я ведь все помню.

Таня глубоко и часто задышала.

— Вавилова убили кулаки неделю назад! — сорвавшимся голосом выкрикнула она.

Федор мысленно обругал себя: «Дурак! Случись же!»
Девушка продолжала отчужденно:

— Нам в укоме амурами заниматься некогда. У нас дорога крутая. Белые банды головы поднимают. Комсомольцев убивают. Вожаков убивают. И о миленьких думать — жизнь прозеваешь. Я сейчас так поняла все, так поняла, что дышать тяжело!

— Что же ты поняла?

— А то. Партия не зря нас в деревню бросила. Мы должны быть как дрожжи, чтобы вокруг нас все бурлило.

— Вона! Да мы это еще в Питере слышали!

— Слышали,— согласилась Таня.— Но там слышали, а теперь сами должны действовать. Да ты не поймешь. Тебе кулацкая дочь мозги запорошила. Блеснула бисером на шее, ты и размяк. Не думай, что я, куда ни ткнусь, о тебя ушибаюсь. Не об этом я, а о том, что коммуне ты изменил, нашему делу.

Глаза Тани казались колючими, как гвозди.

По мере того как она говорила, в Федоре поднималась злоба: «Это я-то изменил коммуне! Это я-то!»

— Да я даже в партию хочу вступать! — выкрикнул он.

— Зря! Ты еще своих от чужих не отличаешь. Ты кулацкой дочери... Сильный тот, кто не только других побеждает и переделывает, а прежде всего себя.

Федор перебил ее, вызывающе подняв голову:

— Оксю не трогай!..

Он хотел рассказать о том новом, что пришло к нему, но слов не было. И как рассказать о том, в чем он не виноват? Оксю он выучит. Он ей нужен. Он поведет ее уверенно и точно.

— Не мешай мне! — хрипло сказал он.

— Как же не мешать! Ты теперь у всех на виду: коммунар. Тебя всякий имеет право судить,— возразила Таня.

Трещал валежник. Пламя костра сникло, опало. Колючих глаз девушки уже не было видно. От палаток шел крикливый голос Елизаветы Пискуновой, все приближаясь:

— Говорят, Танюша Орлова приехала! Где она, моя красавица?

Таня рассмеялась, с размаху подала Федору руку:

— Навсегда...— и ушла в темноту.

Крик матери, ее явно льстивый голос и последнее пожатие руки Тани — все пришибло парня. Было тревожно и пусто. Он снова лег, уткнувшись лицом в мох.

За рекой, в холодном пару, кричали лягушки. Недалеко говорил Аркадий:

— Чем ты кормишь меня, деда?

— Крупянками. На елке растут по весне. Крупянка — полезная растения... А вот это — пестики на сосне. Я полны карманы для тебя нарвал. Поешь-ка. Сладкие...— отозвался Мысей и вздохнул: — Эх, вьюноша, сила-то моя по ручейкам истекла!

— Я теперь, деда, рябчика узнал, жулана узнал. И по свисту узнаю. У дятла, как у щегла, на голове красно, будто красная шапочка, а на груди черный пиджачок. Нос черный, лакированный.

— Вот погоди, зимой векша вершинами пойдет, я тебя белковать поведу. Идешь по тайге — ничего не видишь. Только следы от векши на снегу лиловые, коготки, как укольчики, обозначаются на дереве. Найдем гайно, я тебя стрелять научу. Медведя — бог даст. Медведь с осени да и по весне отметины делает. Все вокруг корой засорит. Когтями деревья исцарапает, чтобы на это место никакой другой зверь не приходил: знай, мол. Спи-ка давай. Вишь, роса обсыпается. К хорошей погоде ночи-то коротки. Выспаться не успеешь.

— А что такое гайно?

— Гнездовье векшино.

— Векша — это белка, значит?

— Ну да, белка... Куницу подшумим...

Тетя Катя где-то совсем близко негромко сказала:

— Спать пора. Завтра работа. На заводе по гудку просыпались, а здесь гудка нет. Спите все.

Померкли последние искры костра, стихли разговоры. Звуки леса стали слышнее. Лаял Дружок, гоняясь за мышами. И этот лай оглушительно раздавался в наступившей тишине. Плыла пахучая густая ночь.

28

В эту ночь с пашни исчезло три плуга. Под утро поднятые тревогой коммунары рассыпались по кустам, по берегу в поисках пропажи. Плугов нигде не обнаружили.

Татьяна Орлова обошла палатки в надежде увидать Федора. Кришанин с Аркадием уже сидели в лодке, ждали: хотелось до жары переплыть к поселку.

Так и не повидав Федора, девушка подошла к лодке.

Ей казалось, что парень намеренно скрылся, уклоняясь от встречи. От этой мысли болело сердце.

«Ну, а что бы я сказала ему? — думала она.— Сказала бы я, что вчера неверное слово вырвалось, будто я навсегда с ним прощаюсь. И надо же было мне такое брякнуть!» Она вздрагивала от испуга. Следы ее ног будто проваливались в белую от росы траву.

Хотелось ей сказать Федору, что с Вавиловым они только работали вместе, что не нужно думать плохое.

Аркадий греб сильно. Вода журчала, с весел стекали блестящие быстрые капли.

Кришанин говорил о том, что жизнь в коммуне идет в постоянной тревоге и сознании, что главное еще не наступило. Он словно все время готовился к лучшему.

— Пахота двигается медленно,— слушала Таня как во сне.— Теперь уже совершенно ясно, что всю землю мы не осилим: не хватит семян.

— А плуги, наверное, украли пленные или дезертиры,— вставил Аркадий.

— Для чего им плуги? — серьезно возразила Таня.— Кулаки это коммуне вредят.

— Мы им ничего плохого не делаем,— сказал Кришанин.

— Борьба. Само существование коммуны им ненавистно.

Девушка говорила почти словами Кланвериса. Кришанин все больше мрачнел. И вдруг его точно прорвало:

— Это Иван Кланверис озлобил крестьян. Нас бы никто не трогал, если бы он не вмешался в их дела...

Таня уже знала о столкновении таловской бедноты с кулаками. Знала и о том, как вел себя при этом Кришанин. Она улыбнулась:

— Дело не в Иване, Константин Васильевич, всюду беднота поднимается.

То, что девушка поддерживает комиссара, обидело Кришанина. Он недовольно упрекнул ее:

— Молода ты еще, Танюша. Жизни не знаешь.

Таня как бы мимо ушей пропустила слова Кришанина. Она была печальна и рассеянна, то и дело посматривала на Аркадия. На нем были легкие лапти без опорок, как сандалии.

— Откуда у тебя, Аркаша, такая обувь?

— Это у нас новый коммунар из батраков, Мысей, пле-

тот,— за мальчика ответил Кришанин и улыбнулся: — Скоро все обуемся в лапоточки на время полевых работ.

— Хорошая обувь,— одобрила Таня и опять замолчала, не сводя с Аркадия глаз и смущая его этим.

Потом, вздохнув, снова повторила рассказ о том, что белые банды снуют по Алтаю, то и дело предостерегала:

— Будьте осторожны. Надо быть готовыми ко всему. Винтовки держите неподалеку. Ни пороха, ни патронов не показывайте до поры. Пусть пока считают, что коммуна безоружна и безобидна. Но готовиться ко всему нужно.

— Угу. Это я понимаю.

— Чехи, их корпус, мятеж подняли. Губком партии поручил Военно-революционному комитету организовать народ на борьбу. В городе военное положение. Белые с боями захватили города Камень, Бийск. Что только делается! Под Барнаулом один рабочий-жестянщик пустил в сторону Евсино паровоз на полном ходу. Паровоз врезался во вражеский состав, смял платформу, исковеркал на ней орудия, путь разворотил. Только этим врага остановили. Наши без урона отошли к станции Мальменково, чтобы бесцельно людей не губить. Теперь идут наши к Семипалатинску.

Помолчав, Таня вдруг простонала:

— Как же ты похож на Федора, Аркаша!

Аркадий молча обнимал веслами реку. Вода звенела. Утки шумели крыльями, колыхали кряканьем воздух.

Кришанин понимал, что творилось в сердце девушки, и чувствовал себя виноватым: «Проморгал парня!»

— Некогда уж очень,— сказал он, и Таня поняла его.

— Знаю. Только стыдно... всем должно быть за Федора стыдно. От кулаков надо дальше... И в партию людей принимать надо с разбором.— Таня пересела на скамейку рядом с Кришаниным и что-то зашептала ему в ухо.

Лодку колыхнуло. Аркадий обидчиво отвернулся. Опечаленный Кришанин громко сказал:

— Работы много... Две правды рядом долго жить не смогут. Это, пожалуй, верно. Но ведь людей надо воспитывать, а нам некогда.

Утренняя вода переливалась всеми оттенками радуги. Небо роняло краски на землю: то запламенеют скалы, то задернет их прозрачной кисеей.

Тяжело ударялись волны о борта лодки.

Тяпали в прибрежных лесах топоры, смолистая щепа лежала на берегах. Пели горячие пилы, стоном стонали

подрубленные сосны, рушились вершинами к реке, скрещивались, как спицы. Цвела в вырубках земляника. Белым маревом приближался поселок коммуны. Каркасы сараев, бараков, амбаров, как кружево, тянулись по берегу. Вырастали дома. Из проемов дверей шли вместо крыльца трапы, как на пристани. Окна всюду были распахнуты, на них уже стояли цветы.

Штабеля строительного леса, доски, щебень, глина — все на первый взгляд казалось хаосом.

Печники в фартуках передавали друг другу кирпичи, клали печи в бараках. Пильщики раскраивали бревна на пахнувшие скипидаром доски; их окружали дети. У каждого пильщика свои ученики. Они обрубали макушки деревьев и сучья, обтесывали, снимали кору.

На причале бились на привязи несколько лодок.

Уже не одна, а с десяток коров гуляли на выгоне. Бараки, полотняные палатки, землянки образовали несколько кварталов. По берегу и вокруг бараков дети посадили тоненькие березки.

Под огромным навесом горой лежали листы железа, а посредине — две жатки и косилки, привезенные из Питера.

Один из бараков украшала вывеска:

«Первое российское общество землеробов».

Слышалась музыка. Саня учила ребят играть на пианино. Звуки то порхали, как бабочки, то сгущались и тянулись — грозные и величественные.

Суровое лицо Кришанина смягчилось.

За бараками земля уже была вскопана, уложена в гряды; женщины устроили парники под огурцы, посадили капусту, картошку, лук, морковь. Гряды покрылись легкой, прозрачной зеленью.

Саня, увидев в окно подругу, выбежала навстречу.

Татьяна завидовала ей: живет здесь со своими, ежедневно может видеть Федора, спокойно занимается с детьми, а в Семипалатинске тревожно, да и грустно без близких. Она спросила:

— А Кланверис где?

Саня гордо сказала:

— Кланверис всегда там, где люднее. Сейчас на село ушел, к бедноте,— и смолкла. Нежное, детское личико ее пылало.

Почему-то Татьяне стало жаль ее, и она сразу устала.

— Кланверис любит тебя...

Саня, заглядывая снизу в глаза подруги, спросила:

— Ты думаешь?

Она была счастлива, что нашла человека, перед которым могла не таиться.

— Обязательно. А как же иначе? — уверила Татьяна.

— А как Федя?

Таню смутил прямой вопрос подруги.

— А что?

— Да перестань таиться... Я ведь знаю...

Глядя в сторону, Татьяна вздохнула:

— Хоть глазком бы мне одним посмотреть на эту Оксю. Понять бы, Саня, дорогая, за что он ее полюбил!..

— А может, еще не полюбил? Может, сердится на тебя: уж очень ты дорогой над ним смеялась.

— Так я... озоровала. Любил бы, так понял. В больницу ко мне после этого приходил. Значит, не сердился. А теперь... Она сильнее меня: она здесь, а я опять уеду. Хоть бы мне на нее взглянуть. Я бы все поняла сразу.

Навстречу девушкам из леса бежал дед Евстигней. Саня потащила подругу в сторону, к реке:

— Пойдем скорее... Это сплетник здешний...

Но дед догнал их и заговорил торопливо, вглядываясь в Татьяну:

— Что-то девонька ровно не ваша... не примечал... не примечал раньше...

— Наша,— коротко ответила Саня.

— Что я хочу сказать вам, Санюшка... На селе воровство поднялось, пропала телка, с веревки белье да ведра у людей тащат. Уж не ваши ли это балуют? А я ведь оттягал у сынка, у Алешки-то, теплый амбар, поселился отдельно, на одном дворе с ним... Спасибо, беднота наша сельская помогла. Они теперь во все дела вникают. Оттягали у моего сына мне уголок... А солдатка Агния Плотникова опять заиграла. С сотником Щербаковым схлестнулась. Придет из солдат Африкан — будет потеха. Уж он ей ребра-то посчитает... А Тимофей Арохин у нас коробья плести зимусь начал. Привез виц, баню подтопил и давай плести. Сплел коробок ладный. Стал выносить, а коробок в дверь не проходит. Думал Тимоха, что делать, думал, ну и давай косяки у бани рубить. Вынес короб. По сей день в нем назем возит...— И рассыпался Евстигней коротким лающим смешком.

— Нам это все неинтересно...

— Да как же неинтересно? — удивился дед.— А если воровство, тогда как?..

— Может, ваши друг у друга...

— А почему же ране-то этого не случалось.

Когда отошли девушки от старика, Саня с ненавистью сказала:

— Противный!

Татьяна согласилась.

— Да. Только сигнал о воровстве очень тревожный... очень. На нас кто-то тень навести хочет...

Саня всплеснула руками, обняла подругу:

— Как жаль, что ты уедешь. Ты такая стала... созрела в сознании, что ли. Все разбираешь... Надо предупредить дядю Костю... пойдем.

Кришанин у навеса разговаривал с Прохором Висловым.

— Это ее отец... Удивительно, не сердится на нас, пришел! — шепнула Саня.

Татьянка, не сводя со старика глаз, повлекла Саню ближе.

Вислов, заикаясь, говорил:

— С докукой я к вам, Константин Васильевич: не почините ли мне борону?

— Посмотреть нужно.

— А я привез ее... Тут, в кусточках, притаил... Я бы вам табачку-самосаду ссудил. Говорят, бедствуете из-за табаку.

В кустах стояла телега с поднятыми вверх оглоблями. Выпряженная лошадь паслась рядом.

— Да еще клянцев бы вы мне сковали штук десять. Я заплачу... Соломки могу привезти или... сальца розового...

— А что это такое?

— На зверя... клянцы...

— Капканы, что ли?

— Ну да, клянцы...

— На что так много?

— В запас.

— Мы никуда не убежим, хоть когда к нам обращайся.

— Как знать... Как знать...

Кришанин вызывающе поднял голову. Семена одуванчика летели вокруг лагеря, мелькали на солнце, как искры, налипали на ресницы, путались в волосах.

Кришанин, отмахиваясь от летавшего пуха, раздумывал над словами старика.

— Что же Константин Васильич ему не ответит? — шептала Татьянка.— Как можно это слушать?

Саня рассмеялась:

— А он все с кулаками в дружбу играет. Боится их обидеть,— и смолкла удивленно.

Кришанин сердито спросил:

— Ждешь нашего конца? А мы еще и не начинали...

— Да что вы, что вы! Я заплачу... Семенами могу...

Кришанин бросил взгляд в сторону могилы Оглоблина. На столбе опять не было звезды. Сбили.

— Ну вот что,— злобно сказал он,— за борону и за десять капканов лошадь твоя неделю на нас поработает. И семян мешок.

Губы Вислова недобро искривились. Кришанин усмехнулся:

— Только так.

— Многовато вроде.

— Нет. Хозяйство твое знаю. Легкая для тебя плата. Во время пахоты нам рабочая сила самим нужна, а мы должны твой заказ выполнять: на каждый капкан надо сутки тратить, считай,— заявил Кришанин и направился к своей палатке.

Прохор бежал за ним, соглашаясь на все:

— Ну и ладно. Так я оставлю боронку-то...

Девушки ликовали:

— Хорошо. Надо паука наказать.

Татьяне все, что происходило в коммуне, было интересно.

Теперь вынырнул из кустов Алексей Соколов, остановил Кришанина вопросом:

— Хочу узнать... Как сын мой к вам перекинулся... так не будет ли ему какой платы от вас?

— Мы батраков не держим...

— Я не к тому. Хочу узнать... Говорят, где-то еще коммуны родились, так потом... вы как... на базаре будете их вытеснять или они вас... или как?

Кришанин рассмеялся:

— Нет, Алексей Евстигнеевич, вытеснять мы их не будем...

Мужик был явно разочарован.

— Так ведь если вы не будете вытеснять, вам и не разбогатеть.

— Мы к этому не стремимся. Излишки будем в кооперативное товарищество сдавать. И другие коммуны тоже... Товарищество будет нас машинами снабжать, а на хлеб единую цену установит.

Соколов уже с открытым презрением смотрел на Кришанина:

— А я-то думал за сыном к вам податься...

Махнул рукой и торопливо скрылся в кустах.

Кришанин устало рассмеялся. Девушки сели у могилы коммунара, тихо переговариваясь.

— Вот так они к нам все и ходят и ходят,— пожаловалась Саня.— А вначале знала бы ты, что здесь было! С утра до ночи в кустах за нами следили, каждый наш шаг считали...— Неожиданно Саня потрогала рукав солдатской гимнастерки на подруге и сказала с завистью: — Тебе очень идет... Очень. И юбка короткая... В ней удобнее...

Татьянка заговорила о другом:

— Отец-то Окси — жестокий человек. По лицу видно — враг нам. Неужели ты не поняла, почему он столько поковки заказал? Слух о чехах и до него дошел, вот почему. Теперь он добреньким будет к нам прикидываться. Неужели не поняла? Опасный он человек...

Действительно, как этого не понять? Саня восторженно смотрела на подругу.

— Смотри,— снова забеспокоилась Татьянка,— опять к Константину Васильевичу кто-то идет.

На этот раз от переправы поднялись к Кришанину Полозковы. Оба босиком.

— К вашей милости, Константин Васильевич,— Кузьма смотрел на Кришанина преданно.

— Что это ты навеличиваешь меня так? И босиком зачем? — рассмеялся Кришанин.

— Бос лаптей не износит. Просьба у меня уж очень большая. В коммуну мы с бабой надумали. Долго я прикидывал. Едоков-то у меня много, стыдно. Ну, а если вы Мысея не прогнали, может, и нас не прогоните? А дети... Так у вас дети, я знаю, не помеха, все при деле: корзинки плетут, ягоды собирают... Примете ли?

— Ты, я слышал, от самогонки не отказываешься?

Бойко заговорила Анна, глотая от волнения слова:

— Нет, это уж не скажи, человек хороший. Он у меня

непьющий. Пил, да остепенился, слава те господи. Теперь в рот не берет. Он у меня непьющий...

Кришанин не успел ответить, как из кустов снова выскочил Вислов и закричал Кузьме:

— Куда тебя ветер гонит? Режешь меня без ножа! Хоть до осени бы у меня пожил.

— Не могу, Прохор Матвеевич. Ты наймешь, а здесь наши руки нужны.— И снова обратился Кузьма к Кришанину: — Примете ли?

— Ну конечно!

— Дурак ты, Кузьма,— укорял батрака Вислов.— А жить где будешь?

— Пока в твоей малухе,— строго ответил Кузьма.— Построим в коммуне дома — освобожу.

— Малуха мне нужна будет.

Кузьма жестко бросил:

— Потерпишь. Малуха твоя небом крыта, ветром огорожена, но я из нее пока не уйду.

— Что же тебе у меня не живется? Ел ты вдосталь...

— Ел вдосталь, верно. Увижу где кость, сразу и вспомню, что на ней мясо когда-то было. Какие дела нам с женой будут, Константин Васильевич?

— На сенокос пошлю тебя — за главного. Согласен? А сегодня отвези вот нашу гостью, Таню Орлову, в Гусиное, на пристань. Уезжать ей пора. Согласен?

— Я-то согласен, вот жена от детей ничего делать не сможет.

— Детей приводите сюда, на детскую площадку.

Кузьма посветлел.

Уходили Полозковы обнявшись. До Кришанина долетели слова Кузьмы:

— Вот, может, скоро и одеяло с ромашками здесь добудем...

Татьяне отчего-то стало грустно.

— Одеяло с ромашками...— шептала она.— У каждого какая-нибудь мечта...

Их молчание нарушил злой окрик Вислова:

— Окся! Где ты, Окся?

Девушки поглядели друг на друга с испугом, поднялись. Прямо на них торопливо шла Окся. Вера Кришанина провожала ее, говоря на ходу:

— И наволочки, и скатерти через неделю вам будут вышиты...

— Уж не обмани... мне приданое в это лето надо приготовить... Не обмани. Я мукой расплачусь.

Снова закричал Вислов:

— Окся, где ты, окаянная, домой пора ехать?!

Окся ускорила шаги и вдруг приостановилась, увидя девушек. Татьянка, побледнев, стояла на пути прямо и гордо, не спуская с нее глаз. На Оксе было длинное розовое платье, из-под которого видны были полосатые чулки.

Окся неприязненно окинула Таню с ног до головы и бросила:

— Буркалы-то не сломай, голоногая... Уставилась! — и скользнула мимо, продолжая браниться: — Выпендрилась!

Татьянка отошла в кусты, упала на траву. Она не плакала, просто лежала не двигаясь, словно оцепенев. Саня трясла ее за плечо и твердила:

— Танюша, Танечка... Ну, что ты? Ну, скажи наконец...

Та, поглядев на Саню, неожиданно рассмеялась:

— Федор ее оставит. Она сильная. Он любит слабых... Ему бы всех за руки водить, а она не поддастся.

— Но ведь и ты не слабая,— возразила Саня.

— Я — дело другое. Я — равная ему.

29

Саня тоже завидовала подруге. Та живет в крупном городе, в гуще событий. А сюда даже почта приходит с месячным опозданием. Ей хотелось немедленно делать что-то важное, большое, менять судьбы людей.

Вспомнила Саня, как недавно ходила она в Таловку, пыталась записать любителей книг в библиотеку коммуны. Однако калитки были закрыты, порой чуть-чуть вздрагивали занавески у редких на улицу окон.

У одной из калиток Саню увидел дед Евстигней.

— Не пускают? — спросил он.— Успели, заперлись...— И, захихикав, направился к другому дому.

Сане хотелось спросить у Татьянки совета, как им победить и привлечь сельскую молодежь, но ту окружили женщины, и говорить подругам больше не пришлось.

Из красного уголка донеслись звуки пианино. Кто-то неумело трогал клавиши. Если прислушаться, то можно в замедленных звуках разобрать знакомый напев. Это Аркадий. Он способный, Аркадий Пискунов. В каждом, кого знает Саня, заложено много способностей, и если их понять

и развивать терпеливо, то коммуна скоро будет семьей талантливых людей.

Вот перед Кришаниным неожиданно остановился Сергей. Поклонился, вылупил глаза и, копируя голос Кузьмы, произнес:

— К вашей милости, Константин Васильевич... Не зайдете ли все-таки домой?

Кришанин рассмеялся, внимательно поглядел на сына. Сережа вытянулся, загорел, кудри выцвели, нос облупился, босые ноги в ссадинах. Следя за взглядом отца, Сергей, все так же подделываясь под Кузьму, продолжал:

— Бос лаптей не износит...

Кришанин обхватил мальчика за плечи, и вместе они направились к палатке.

«Артист! — думала Саня.— Вот зимой учиться будет в собственной школе!»

— Пап, я такую коллекцию яиц собрал, знаешь?! — говорил мальчик.

— Ну-у? — удивился отец.

— Верно, пап. Мы с Саней гербарий собираем для школы. Ну, я пошел, пап. У меня дела.

— Иди, иди, работяга!

Солнце расплавило верхушки сосен, и они жарко тлели.

Из кузницы в открытую дверь падала огненная полоса света, ложилась поперек берега.

Толпились, громоздясь друг на друга, кудрявые облака, сквозили, исчезали.

Саня забежала в просторный сруб школы, походила по будущим комнатам, представляя классы, детей за партами, большие доски и себя, учительницу, и громко сказала:

— Здравствуйте, дети! — и рассмеялась.

На земле валялась щепа. Пахло смолкой, солнцем.

С берега летели голоса девчат. Кто-то пропел под общий смех:

И часто из-за Катеньки
Мужья с женам дрались!

— Подсолить бы песню-то, уж больно пресна, прокиснет...

— У нас в пищу соли недостает!

— А если так:

И часто из-за Катеньки
Мне ночки не спались...

А то что же получается: «Мужья с женам дрались!» Неправильно и не по-нашему.

Саня выбежала из сруба, бросилась следом за женщинами, которые показывали Тане хозяйство коммуны. Ей хотелось, чтобы все знали, как способен каждый человек, как развернулись сразу все дарования у людей. И это только потому, что они живут в коммуне. Это свободный труд обогатил всех. Рабочий парнишка учится успешно музыке. Простые женщины-работницы переделывают, смеясь, неудачные слова песни. Скоро будет так, что все способности людей расплеснутся в полную меру. «Будут у нас свои артисты, поэты, художники, инженеры! Мы так богаты!»

Саня раскинула руки и побежала к людям, приговаривая восторженно про себя:

— Я лечу! Лечу! Лечу!

Вот Вера Степановна рассмеялась и, разглядывая огрубелые руки, сказала:

— Мы уже огород огромный вскопали. Видели?

Она не горевала, не жаловалась. Пух одуванчика лег ей на плечо. Глядя на мужа, Вера Степановна отметила:

— Ты совсем как цыган стал. И пиджак выгорел, и весь ты пропылился, даже волосы... Соленым потом пропах. И полынью...— И снова спросила у Татьяны: — Видела?

Около бараков суетились куры, дрались два взъерошенных петуха, похожие на метелки, рылся в земле поросенок.

— Откуда это? — спросила в свою очередь Татьяна.

— За работу. Вечерами мы шьем, одеяла стегаем невестам. И Саня с детьми корзинами да решетками зарабатывает.

— Молодцы вы...— взволнованный Кришанин обхватил жену за плечи.— Танюша, ты расскажи нам о номере «Известий»... вернее, о статье Ильича «Очередные задачи Советской власти». Как досадно, что почта к нам не приходит... Давно уже... в конце апреля напечатана.

— Это то, что нам нужно, статья,— произнесла Татьяна.— Словно для нас написана. Владимир Ильич очень ясно показал трудности... Крестьяне пропитаны мелкособственнической психологией, каждый думает о себе. Ильич говорит, что надо воспитывать новую психологию... Надо эту статью в свободное время читать вслух, разбирать. Ленин верно говорит, что пролетарская революция развязала мелкобуржуазную стихию... Вы это здесь очень хорошо видите. Хлеб прячут, хлебом спекулируют... Даже в

Москве, на глазах Ильича, есть базар, «Болото» называется, так и там спекулируют хлебом.

Вера Степановна спросила:

— Чехословацкий-то корпус поднял контрреволюционный мятеж. Чего им нужно?

Бегали среди взрослых дети, мешали разговору. Саня собрала их, завела игру, стараясь не пропустить ничего из беседы.

— Понять не трудно. За их спиной буржуи, которые все потеряли, теперь ищут защиты за границей, деньги там берут на организацию восстаний. Украину немцы взяли. Заняли Крым. Англичане захватили Мурманск... Чехам помогают Сибирь отрезать от центра; кольцо суживается. А тут еще падаль всякая: эсеры, кадеты, меньшевики объединились в «Союз возрождения», просят заграницу войска посылать против нас... Вот чехи и пытаются переворот сделать. Уже Челябинск взяли, лютуют там, Петропавловск, Тюмень, станцию Тайгу. Вот какое положение.

— А Ленин? Что Ленин?

— Ленин — на посту. На него многое свалилось.

— Но как это допустили?

— Эшелоны чехословацкого корпуса двигались на восток по сибирской дороге. От Волги до Владивостока — мятеж. Сибирь, Урал, Поволжье. Уже сдался Ново-Николаевск... Советы уходят в подполье! В Барнауле борьба.

Нестройный хор детских голосов тянул:

Как у дяди Трифона
Было семеро детей...
Они не пили, не ели...

У Кришанина повлажнели глаза. Он пошутил:

— Вот нам бы ни есть, ни пить, а врагов разбить!

Голос его дрогнул. Все рассмеялись.

— Без борьбы не разобьешь,— вставила Вера Степановна.

Кришанин вынес из правления большой пакет, подал его Тане:

— Передай, дорогая, в Семипалатинске вдове Оглоблиной. Адрес указан. Мы тут посылаем немного денег. И вообще, Танюша, вы не оставляйте ее...— Он посмотрел на могилу.

Саня, словно понимая его по взгляду, перебила пение детей:

— Ребята, звезда опять с могилы сброшена, цветы по-

мяты. Правление поручает вам посадить новые цветы, поливать их, следить за звездой и за могилой. Возражения есть?

— Не-ет!

— Ну и за дело! Новую звезду прибьем. И, надеюсь, она будет всегда на месте. А вон нам и подмога идет!

С переправы Полозковы вели своих детей.

Кузьма ушел за лошадью. Саня печально смотрела, как Татьяна готовилась к дороге, прощалась со всеми, передавала какие-то книги из своего чемодана Кланверису, который внезапно появился около нее.

Выпятив животики, сбившись кучкой, дети Полозковых нелюдимо смотрели на коммунарских.

Рыженькая девочка-коммунарка с тоненькими, как палочки, ножками все совала в руки старшей дочери Полозковых безрукую куклу:

— Возьми, поиграй. У нас игрушек много.

Саня подталкивала оробевших в круг, к своим, и нежно говорила:

— Давайте руки. Будем хоровод водить.

Подкатил на бричке Кузьма. Татьянка еще раз молча обняла Саню, которая неожиданно заплакала: у обеих было такое чувство, что они расстаются навсегда. Наконец Татьянка уехала. Женщины нехотя разошлись.

Дети требовали от Сани новой игры.

— Пошли за цветами,— предложила она.

Ребята рассыпались по берегу.

Фельдшер Рыжов следил за Саней из окна.

— Смотрю я, Александра, много же ты крутишься с малышами. А вон Матвей Пискунов говорил сегодня: «Забрала бы Татьяна с собой эту Саньку. А то кормим мы ее ни за что, за побасенки, которые детям болтает»,— залпом произнес он.

Саня резко повернула к нему побледневшее лицо. Горе распирало ей горло, давило, рвалось.

— Не может быть! — Ей казалось, что она кричит, тогда как губы шевелились беззвучно.

Саня бессильно опустилась на траву. Она понимала, что ее работу с детьми в хоровом кружке и в библиотеке мало видно. Но сказать так, как сказал Пискунов, бессовестно. Слова были обидны и несправедливы.

Саня всхлипывала и сама себе жаловалась:

— А дети разных возрастов, и к каждому надо мне

подойти... И стихи разучить, и песни... В лес с ними хожу, гербарий к школе собрали, корзины плетем... А Танюша уехала...

Здесь, в кустах, на Саню и наткнулся Кланверис.

— Саня, что с тобой, беленькая... Ну-ка...

Девушка торопливо вытерла глаза.

— Скажите, дядя Иван, мой труд в коммуне нужен или нет?

В его лице было так много участия, что Саня вспыхнула. Он гладил ее по голове и удивленно тянул:

— Конечно... В чем дело, девушка?

Саня рассказала.

Кланверис вытирал платком ее слезы и повторял:

— Ну, успокойся, маленькая... Запомни, ты очень нужна в коммуне... И мне ты очень нужна. И я должен наконец сказать тебе это. Да, нужна.

Саня хотела что-то ответить, но он, охваченный неожиданной нежностью, остановил ее:

— Молчи... молчи, беленькая... Все будет хорошо...

Он говорил с ней, как с ребенком, который ушибся. Но ее обида была глубже и значительнее: в ее необходимости усомнились! Весь ее труд в коммуне считается безделкой, и это не давало ей успокоиться.

— Побудь здесь. Я сейчас вернусь к тебе,— попросил Ян, уходя.

С берега неслись крики детей:

— Александра Савельевна! Где вы?

— Тетя Саня! Смотрите, какой я букет собрал!

Она не откликнулась, вся отдавшись тому новому, что происходило в ней. Это было сложное чувство: она нужна коммуне. Уж если об этом сказал Иван, так это так. Она нужна и ему. Ему. Однако ей казалось, что говорил он об этом спокойно. Не таким представляла она себе первое объяснение! Из правления доносился голос Кришанина:

— Товарищи правленцы! Прошу зайти ко мне.

И Саня знала, что это собирают правление из-за нее и что ее оберегают, не дают в обиду, заботятся о ней, что она не одна. Это наполнило ее чувством благодарности и любви к людям.

— Саня! Где Саня? — кричал Кришанин.

Она уверенно направилась к баракам. В комнате уже собралось все правление. Кришанин допрашивал Пискунова:

— Матвей, что ты о Сане наболтал?

— Ничего особенного. Я сказал, что интересно послушать, как Саня с ребятишками разговаривает,— любит их. А Рыжов ругаться начал, что мы зря ее кормим!

Кланверис, бледный до синевы, спросил фельдшера, еле разжимая рот:

— Ты зачем смуту сеешь? Девушка плачет. Дети по лесу разбежались без надзора. Да еще и наклеветал на члена правления.

— Зря ты, Иван, бабьи сплетни разбираешь. Страда, а мы время тратим,— заметил Пискунов.

Кланверис побледнел еще больше.

— Бабьи сплетни, говоришь? Нет, дорогой. Это черта характера нашего фельдшера: портить настроение людям и сталкивать лбами. Пусть задумается. У нас нелегкая жизнь, и всякое злословие будем разбирать сразу, чтобы оно вглубь не заходило, чтобы коммуна не раскалывалась. Надо воспитывать доверие друг к другу, а не вражду. Людьми надо заниматься. Ты недооцениваешь вопроса... А у Рыжова один проступок мы пропустили: напился в доме у кулака. Нам некогда было, а он думает, что мы об этом забыли. Предлагаю его на время страды снять из фельдшерского пункта и направить на сенокос.

— Это можно,— согласился Кришанин.

— Почему ты жену свою не посылаешь? — визгливо спросил его Рыжов.

— Она все свободное время в огороде. К тому же заказы таловцев с женщинами выполняют.

— Тебе перессорить всех хочется или так намолол? Да разве можно клеветать? — шумели правленцы.

Рыжов, хмуро оглядев всех, выскользнул из комнаты.

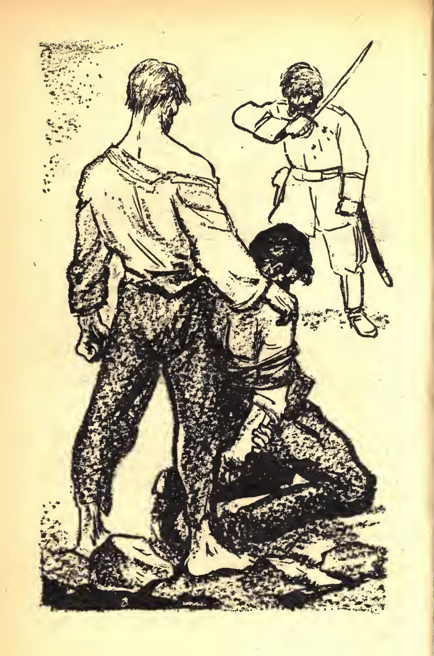
— Нам с него глаз спускать нельзя. Дурно он воспитан. Воспитывать его надо! Воспитывать и учить!

Саня задержалась на пороге. Она знала: сейчас за ней последует Ян, продолжит разговор, которого она так ждала. И он вышел, взял Саню под руку, погладил ее ладонь. Лицо его было растроганно.

— Вот так, беленькая. Сейчас я пойду на пашню. Мы еще с тобой поговорим. Обо всем... Мы будем с тобой вместе. Всегда вместе... Поняла?

Саня кивнула. Ян сказал еще:

— А глаза-то у тебя... синь-пересинь...





ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Между севом и сенокосом обычное затишье. Люди отдыхали.

По праздникам через реку из Таловки доносились песни, звуки гармошки, а то и дикий визг, крики о помощи: дрались пьяные парни и мужики.

Каждый день молодежь коммуны ходила смотреть всходы. Теперь уже все носили сандалии из лыка, которые плел Мысей. Эта обувь всем нравилась: легка и удобна.

Так шли они и в этот день, когда по-особому блестела земля и отдыхала в тепле, курилась ароматами трав, цветов и леса. И небо, казалось, курилось, истекая голубизной и сиянием.

Тарас был счастлив тем, что так вот просто может идти рядом с Саней, порой касаться рукой ее руки, вместе смеяться. Все ему чудилось значительным, наполненным особым смыслом, особой нежностью и теплотой...

Поднимались курчавые посевы. Тоненькие острые листочки обсыпали степь. Тут же вылезали прочные бурые листья сорняков: эта степь принадлежала им, они тут жили веками и теперь выходили из земли, заглушая пшеницу.

Младшие Пискуновы о чем-то спорили. Федор же был мрачен, в разговор не вступал.

Саня то и дело оборачивалась к нему, продолжая говорить Тарасу:

— Теперь нам будет свободнее. Я могу почаще ходить на село, знакомиться с девчатами...

— Это трудно! — воскликнул Тарас, почти оскорбленный: не должна Саня быть с его грубыми сельчанами как своя!

— Разве это можно! Ты учительница... Да я бы тебя на руках носил!

Саня долго настороженно смотрела на него. Некоторое время молчали. Так же молча все остановились, глядя вдаль. Саня закричала:

— Посмотрите! — Она протянула руки к пробивающейся нежной поросли.

— Это мы сами посеяли хлеб, бросали в землю по зернышку, и он взошел... Теперь все будет хорошо! Говорят, на будущий год сеять будет легче: земля, вспаханная раз, уступчивее. Мы вспашем больше земли, весь массив будет через год вот так голубеть!

Лица коммунаров прояснились, словно с этого часа ушли тяжелые сомнения, родилась уверенность, что все будет хорошо, честно и прочно.

К ним по полю мчался Кузьма, размахивая большими руками. Добежав, долго не мог заговорить от горя и возмущения.

Он нашел огромные потравы, несколько километров гнал с поля крестьянских лошадей.

— Не туда гнал,— сказал Тарас.— Надо было гнать в наш поселок, к коммуне, работать их за потраву заставить.

Быстро вернувшись домой, ребята подняли тревогу.

Кришанин отправил часть парней назад — дежурить вокруг посевов.

Под вечер таловские девушки собрались к коммуне.

Словно к чему-то навеки непонятному и опасному, приглядывалась в этот вечер к ним учительница, не зная, с чего начать. Выставила на окно красного уголка граммофон, прокрутила несколько пластинок.

Девушки щелкали орехи, молча слушали незнакомые песни, мало-помалу приближаясь к интересной певучей трубе.

Саня кричала им из окна:

— А вы сюда заходите... Я вам «туманные» картины покажу.

И они зашли в комнату, чинно расселись у стен, не переставая щелкать орехи, выплевывая на пол скорлупу. Каждая в руках держала маленький узелок с орехами.

Но девчата забыли об орехах, как только на белом полотнище показались первые кадры незамысловатой истории.

Саня удивлялась их вниманию и восторгу.

Девчата полушепотом переговаривались:

— Гли-ка, стеклышко, а как отпечатывается...

— Нам бы на посиделки такой фонарь...

— А вы сюда приходите,— приглашала Саня.— Здесь будем посиделки устраивать. Мы будем с вами дружно жить. Только... девушки, скажите у себя дома... передайте вашим отцам, пусть они нам не мешают... Нехорошо это. Вот потравы... Ведь мы не вытаптываем ваши поля...

Девушки выслушали ее слова о потраве равнодушно, не прекращая лущить орехи, отбивались от комаров, тучами носившихся кругом, и все оглядывались: парней коммунарских не было видно.

Они встрепенулись, когда на поляне прозвучал голос Тараса:

— Тетя Катя, дайте мне ножницы... самые большие... я верну.

Саня видела, что девушкам стало скучно, но продолжала говорить о потравах. Они выслушали без интереса, тотчас же забыли обо всем..

Саня тихо плакала одна у темнеющего окна. Она не понимала, отчего на сердце легла тяжесть и такой безрадостной показалась жизнь.

В окно с улицы заглянул Кланверис:

— Ого! В одиночестве и в слезах. В чем опять дело, беленькая?

— Они как истуканы! — вырвалось у Сани.

— Воп в чем дело! Терпение... Терпение! Подожди, все будет хорошо. Пойдем-ка, девочка, на поле, проверим караулы...

Идя укатанной сухой дорогой, Саня успокоилась и уже смеялась над собой. Иван, такой сильный, решительный, всегда рядом. И сейчас ведет ее лунной тропой, обхватив за плечи. Он поможет во всем.

Вот он заглянул ей в лицо и спросил мягко и заинтересованно:

— Ну, отплакалась?

Она, совершенно счастливая, не в силах сказать ни слова, закивала.

Он растроганно рассмеялся и прошептал:

— А беседу твою с таловками я под окном слушал. Хорошо, девочка...

Счастье Сани росло, заливало сердце.

— А как ты ее назвала, эту беседу? — продолжал Кланверис. И так как учительница молчала, ответил сам: — Наверное, так: «Мы вас не трогаем, не трогайте и вы нас».— И, не выдержав, весело и громко рассмеялся. Засмеялась и Саня.

Их тени шли впереди, покачиваясь, затемняя лунные лучи на дороге. Ян шутливо проворчал:

— Обратно пойдем, они от нас отстанут! — И притопнул ногой, будто стараясь затоптать свою тень.

Счастье Сане представлялось вечным: все было хорошо в жизни: и эта лунная дорога, и дружба с Яном, которая с каждым днем росла, и этот запах дымка. Вот открылся костер — огромный, как столб. Вокруг него метались тени, суетились и прыгали. Теперь ощутимо пахло вкусным вареным мясом.

Кланверис отстранил девушку, пошел быстрее.

— Что здесь происходит? Почему сбились в одном месте? — закричал он.

Парни ему ответили веселым хохотом; сцепившись за руки, они живой изгородью охраняли круг. А в середине этого круга Тарас, сидя на земле и уложив меж ног серую овцу, снимал ножницами с нее длинную шерсть.

Около копной высилась шерсть, белая, черная, серая.

Кто-то закричал сзади:

— Ребята, щи готовы!

— Телку зарезали.

— Давно мяса не видели. Рыба надоела.

Большой котел с крепким раздражающим ароматом мяса высился на таганке.

Кланверис повторил, размыкая круг:

— Что здесь происходит?

Ему ответило несколько голосов:

— Да вот, поймали на посеве. Целый гурт.

— Мы так решили: они нас, а мы их...

— Сколько варежек зимой будет!

— Значит, до грабежа дошли? — совершенно подавленный, спросил Кланверис.

— А они топтать посевы могут? — хором возразили ему.

— Проучить одного-двух, чтобы не повадно...

— Гоните весь гурт в поселок. И котел, и мясо — все несите туда же. С караула я снимаю вас.

Кто-то пытался возразить. Но Кланверис сурово повторил:

— Приказываю всем немедленно вернуться домой!

Обратно Кланверис шел быстро. Саня еле поспевала за ним.

Тени переместились и теперь снова бежали впереди, и Саня с грустью думала:

«А мы хотели от них убежать».

Заговорить с Яном она не решалась. Он сам прервал молчание:

— Так-то вот, девочка... Теперь готовься к новой беседе с таловцами: «Как вы нас, так и мы вас». Что же делать? Парни наши по-своему правы. Что же нам делать, девочка?

2

Был на исходе летний вечер. Далекие облака отливали в окна бараков багровым заревом. Красное знамя тяжелыми складками повисло над крышей правления.

Чернобровый казак из Таловки долго смотрел на знамя, шевеля губами. Потом неприветливо спросил у Кришанина, который возился под навесом, строгал доску, делая вид, что не замечает гостя:

— Не забежали ли к вам овечки?

«Вот оно... началось...» — подумал Кришанин, не торопясь отложил в сторону доску, повернулся к казаку. Неожиданная ярость охватила его: «Мы ничем не мешаем крестьянам... Мы живем в стороне... Всегда готовы помочь... Они же травят наши посевы...»

Не объясняя себе почему, Кришанин решил взять ребят под защиту. Он не спал ночь, ужасаясь тому, что натворили парни, днем не мог спокойно работать, придумывал ребятам всякие наказания, а сейчас при виде чернобородого злого казака в нем поднялся гнев. Он спросил:

— Овечки, говоришь? Сколько их?

— Да штук этак двадцать...

— Иди посмотри в загон, твой гурт овец или нет...

Когда казак признал овец, Кришанин набросился на него:

— Ты что же их так долго не стрижешь? Они у тебя испарятся под такой шубой.

— Отдай шерсть! — закричал казак. Волосатая бородавка на его щеке ощетинилась.

— А ты нам вытравленную пшеницу вернешь? Зачем овец к нам на поле согнал?

Только чернобородый, ругаясь, погнал овец, прибежал молодой казак в рыжей папахе:

— Истигней сказывал, что телушка к нам забежала, такая... пегая.

С прежним озлоблением Кришанин ответил:

— Не знаю, твоя или не твоя... Отведай вот щец, может, узнаешь, твоя или нет...

— Я судить вас буду! Своего от чужого отличить не могут! Хуже старого режима началось!

— Мы тоже тебя судить будем — не трави посевы!

— Сильно гнете... Не разогнуться будет! — с угрозой бросил казак, уходя.— Все село обокрали. Шубу из чулана у соседа моего украли!

— Это неправда!

— До вас мы замков не знали!

Это было как проклятье — подозрение в воровстве: кто-то старался восстановить таловцев против коммунаров.

— Эй, лошадка-то бревна везет — моя, будь она проклята! — кричал густой низкий голос.— Блудит! Ни на минуту с глаз спустить нельзя.

Из кустов вышел брыластый мужик в белой рубашке без пояса.

— Чего же ты ее на целую ночь на наш посев отпускаешь? Вот поработает на нас недельку-другую, может, поумнеет! — с затаенным гневом проговорил Кришанин.

— Где вы такой закон взяли? Совсем обезбожели! Недельку! Легко сказать!

— Кулачье все! Живодеры! — выругался Мысей, когда казаки ушли. Он с утра выводил своих лошадей на траву, а на работу давал пойманных на посеве.

Потрав стало меньше. Скоро посевы поднялись, прозрачные и тонкие колосья под ветром колыхались, перекатывались волнами.

Июнь зноем обливал землю. Травы буйно входили в силу.

Спешно отбивали косы. На сенокос выехали даже дети. Вереница всадников, вьючных лошадей, целая армия людей тянулась по косогору.

Цветы плыли навстречу струящимся потоком, гладили гривы лошадей.

Кришанин мечтательно оглядывал огромный луг, шептал:

— Здесь косилки пройдут.

Звенящий звук заливал поляну; от него точно булавкой покалывало сердце. Горячая нестихающая земля звенела, томительно благоухали донник и медовый тысячелистник.

Кузьма закричал:

— Анна, лови цветы-то! Не на одно одеяло хватит! Я теперь тебе от счастья и опомниться не дам!

Он с Мысеем и Тарасом начали косьбу.

Душная трава падала. Тяжелые валы пересекали поле. Неумело размахивали косами коммунары.

Большие елани обкашивали косилками.

За косилкой бежали дети, косматый Дружок путался у них в ногах. Высунутый язык его вздрагивал.

Оводы тучей носились за косцами.

Несколько стреноженных лошадей прятались в кустах, размахивали хвостами, силясь отогнать насекомых. Ботала, надетые им на шеи, густо звенели.

Мысей посоветовал парнишкам, которые пасли лошадей, разжечь небольшие костры. И лошади спасались у огня.

Сиденья одяоконных косилок занимали старшие братья Пискуновы. Густая медовая теплынь, стрекотанье сенокосилок пьянили.

Федор время от времени останавливал лошадей, брал масленку, спускал тягучую жидкость на шестерни.

Цветочной пылью забивало глаза, рот.

Мысей точил косы. К нему то и дело подходили коммунары, просили помочь. Звон оттачиваемых кос плыл по полю.

Кто-то, пытаясь точить сам, обрезался, и Вера Кришанина врачевала неудачливого у шалаша.

— Научатся,— бормотал Мысей, вытирая лицо подолом синей своей рубахи,— и к литовочкам приобыкнут...

Кланверису казалось, что сейчас, вот сейчас он упадет. Но рядом размахивал косою Рыжов. Лицо его было залито потом. И Кланверис продолжал работу, только сбросил рубаху. На голые плечи тотчас налетел овод.

— Сгоришь... Оденься,— посоветовал Кузьма, обхватывая сзади руками Яна, стараясь показать, как должна стоять коса.— Ты ее на пятку прижимай,— учил он.

Ян то и дело пил из берестяного туеса. Таких туесов и лагушков Мысей изготовил для коммуны много.

В полдень косьбу прекратили, подсели ближе к воде.

У берегов, в заводи, кружились водоросли. Тонкие их нити, казалось, все время отрываются и уплывают.

Многие бросились в воду. Тугая прохлада освежала.

Мальчишки купали лошадей, сидя верхом. Кони вырывались, скидывали неумелых всадников в воду. Визг и смех стояли на реке. Отряхиваясь, лошади обдавали людей сверкающими брызгами и кидались в кусты, стараясь спрятаться от оводов, катались на дороге, в пыли.

Женщины углубились в лес с корзинками и быстро вернулись, крича:

— Грибов! Грибов-то!

Корзины и верно были полны.

— Грибов здесь много,— подтвердил Мысей.— Наломать и в засол можно.

К обеду телеги были завалены грибами.

— Анна, запрягай лошадь, грибы возить будешь!

Лицо Анны Полозковой вспыхнуло радостной готовностью.

Она говорила:

— Я лошадь запрягать горазда: иному мужику так не запрячь. Они повод завяжут высоко, и на седелке высоко. Лошади тяжело, она кверху голову несет...

Кришанин думал растроганно: «Здесь легко прожить. Рыба, грибы, ягоды: сама природа нам помогает».

Саня увлекла детей за земляникой.

— Вот скоро за черемухой пойдем с вами. Говорят, здесь ее собирают, сушат и пекут из нее пироги.

После обеда Мысей прошел по лугу, пошевелил скошенную машиной траву: ее можно было сгребать.

Дружок прыгал в траве, гонялся за мышами, рыл лапками норки. Овсюг усиками нацепился на его шерсть, репей облепил пушистый хвост.

Слышался зов кукушки, струнное стрекотанье кузнечиков.

Прыгала по траве стрекоза с прозрачными крыльями.

Мысей поймал себя на том, что поет. Хватающий за душу напев точно вобрал все его жалобы.

К его песне примешались еще какие-то звуки, надсадные, неспокойные.

В кустах, опутанных космами хмеля, прятался Мишутка, младший сын Пискуновых.

Он тягостно всхлипывал, размазывая по лицу слезы. На коленях у него лежали два птенца с голыми шейками: кто-то подсек гнездо тетерки.

— Ну, что уж реветь-то! — сказал Мысей, подсаживаясь рядом.— Погубили, да. В большом деле можно и не заметить.

— Да... здесь всем хорошо...— тянул мальчик.— А почему птенцам плохо?

Мысей понял: мальчик радовался всему — и небу, и запаху увядающих трав,— все было для него неожиданно прекрасным. И вдруг он столкнулся со злом.

— Бывает, вьюноша. Не реви-ка. Я вот всю жизнь один, будто камышинка. А у тебя вон какая семья. И я теперь в ней ем хлеб не Христа ради. Теперь я тропинку из глаз не потеряю. Вот осенью сделаю я вам било, палку такую длинную. Двинем мы в кедрач и начнем шишки сшибать. Векшу тебе покажу. Пойдем-ка, грабельки я тебе легкие выберу, кошанина поспела,— ворковал Мысей, смутно жалея себя за то, что погибло в нем столько нерастраченной нежности, что жизнь была неполной.

Уже успокоенный, Мишутка спросил:

— А что такое, дядя, ушканья душа?

— А это заячья, значит... Приобыкнешь и к нашим словам... Все узнаешь...

Старики любят окружать себя молодыми. Каждый тянется к жизни, к движению. Ощущение, что в эти дни он родился заново, наполнило душу Мысея радостью.

Он крикнул в полный голос:

— Сгребать будем! Сено готово!

Грабли прибивали сено к ногам; с сухим шуршанием скатывалось оно в копны.

— Сено — все листовник...— говорил довольный Кузьма.

Копны росли. Дети с граблями бегали от валка к валку, перекликались:

— Саня, а черемуха уже чернеет, я видел.

— А Арканька Пискунов вот таких окуней ловит...

То тут, то там вспыхивали песни.

По всему лугу спешно сгребали сено, свозили копны.

Набежавший ветер рвал из рук грабли, раскидывая сено, гнул кусты рябины, и казалось, что дерево машет крылом.

Люди теперь работали молча, боясь потерять на слова время.

Солнце тихо спускалось в легкие светящиеся облака.

Воздух пьянил. Струился плотный ветер; казалось, можно прильнуть к нему, как к стене. Оголенный луг стал огромным. Тяжелые копны сена медленно перевозили к поселку: там легче его оберегать.

Ехали с покоса, когда уже закрыли свои корзинки цветы. Пахло дегтем, свежескошенной травой, теплой рекой.

До дома добрались затемно. Уложили сено в стога напротив барака.

Ночью всех разбудили звонкие удары в железку у надзорной вышки: тревога. Сонные выскочили на улицу коммунары. Окна бараков осветило зарево. Пылали склады, где хранились керосин, минеральное масло; стога горели, как свечи.

Ветер разворачивал пласты сена, открывая золотые гнезда огня, рвал и мчал по земле искры. Бился истошный крик:

— Багры давайте, багры!

В зловещем свете было видно, как из конюшни старый бобыль выгонял лошадей.

— А как же мы торопились... Косили да сушили,— с горечью шептал он.

Кони в испуге отступили от побагровевшей реки, хрипели, упирались.

Огонь перекинулся на бараки. Порой его глушил ветер, но он снова всюду просачивался с шипением и треском.

Качался дым. Качались ветви старой раздвоенной сосны, закрывали и открывали небо, покрытое звездами.

Закричала дико Елизавета Пискунова:

— Куда бежишь? Стой, вор!

Она поймала Евстигнея, который незаметно вошел в барак и понес оттуда в лес подушки. Бежал он быстро, падал, вскакивал и снова бежал. Полы его полушубка цеплялись за ветки.

Тоненько верещал старик:

— Я спасаю ваше добренькое. Очумела, какой же я вор, пусти! — Он вырывался из цепких рук женщины. Подушки упали на траву.

Федор подбежал на помощь матери, поднял подушки и заявил строго:

— Ну, вот что, старик: больше ты к нам не ходи, кормить мы тебя не будем. И в сельсовете потребуем, чтобы в твоем амбаре обыск сделали: говорят, в Таловке воровство поднялóсь. Под нас мы тебе промышлять не дадим! А за подушки судить будем.

— А свидетели где? — крикнул Евстигней.

— А вот мы.

— Вам не поверят,— отвечал он немедленно.

— Почему же это нам не поверят?

— А потому, что ты с кулаковой дочерью схлестнулся. А я видел... Ты по злобе на меня и несешь.

Елизавета, выпустив старика, погрозила сыну кулаком:

— С тобой после поговорю! Вишь ведь, девок тебе коммунарских нет!

Искры летели вверх, рассыпались, как дождь, и гасли. Коммунары рвали доски от обшивки бараков.

Саня, упав на землю, плакала. Над ней склонился Кланверис, трогал за плечо, утешал:

— Ничего, беленькая, ничего. Они думают нас задушить. Мы снова сена накосим и снова все построим...

— За что они нас ненавидят?

— Борьба, девочка... Но мы все равно найдем, кто сжег.

Кришанин размышлял, слушая его слова: «Если бы не ты, все было бы по-другому. Теперь нам все надо начинать сначала».

И, словно угадав его мысли, Ян сказал:

— Но если бы пришлось все начинать сначала, я все равно так бы повел себя. Иначе мы не можем.

Из кустов вышла Вера Степановна. Лицо ее показалось распухшим и красным.

— Плакала? — спросил Кришанин в удивлении: он никогда не видел жену в слезах.

— Нет, не плакала,— отрывисто ответила она и отвернулась,— всем тяжело. И если все заплачем, что будет?

— Да, нам своей слабостью людей развинчивать не приходится... Но я считаю, что во многом виноват Иван...

И был потрясен ее ответом:

— Он правильно себя вел, Костя. Если бы пришлось все начинать сначала, я тоже повела бы себя так же.

Кришанин с горечью думал:

«Неужели я ошибаюсь: мирно с зажиточными нельзя? Нет, неужели я ошибаюсь?»

3

Конец июля. Воздух особенно прозрачен. Сияющие дни, теплые длинные вечера, стрекот кузнечиков, песни девчат да мелодичный звон ботал на лошадях — все создавало картину большого мира и радости.

Коммунары скоро забыли о пожаре, или делали вид, что забыли. Правда, члены правления жили все время в предчувствии еще большей беды.

Каждый день коммунары по-прежнему ходили смотреть, как наливается колос.

Острокрылые ласточки сопровождали их.

Сане казалось, что многое зависит от правленцев. Даже колосья при них стоят прямо и величаво. Еще утром стебли пшеницы были бурые, а к полудню уже желтели.

Овсы опускали белые сережки, пшеница клонилась от нежной теплоты, замирала. Желтой дымкой поднимался над полем цветень.

Все верили, все дышали вместе с землей.

Уберем, так и в Питер послать хлеба сможем.

Когда солнце никло, коммунары возвращались к лагерю по лугам, снова полным стогов сена. По берегам качались гроздья сизо-черной дымчатой черемухи. Терпко дышал хмель. Седая отава сверкала, переливалась от росы. После пожара прибыло работы. На месте черных пожарищ, пахнущих гарью, строили заново склад и навесы. Росли дома.

На огороде, как розы, кудрявились кочаны капусты, давно отцвела картошка. Качался желтый подсолнух.

Сердце Сани переполнялось сложным чувством непонятной тревоги, опасения и гордости. Люди казались девушке скромными, похожими друг на друга. У каждого свои слабости, но все они добры и миролюбивы. Они не хитростью добиваются успеха, а честно зарабатывают его, поэтому и не зазнаются от победы, поэтому и не опьянели от нее.

По ночам неугомонно лаял Дружок. Саня в тревоге вскакивала: это кто-то чужой кружит вокруг Пихтарей. Было жутко и в то же время надежно: верные люди всегда выйдут из положения, и силы их ничто не подорвет.

Саня с Анной Полозковой собирались в лес за черемухой. Анна пригласила с собой Оксю. И то, что Окся согласилась, особенно радовало девушку.

«Все узнаю... Встречаются ли они с Федором, любит ли она его. Танюше напишу... И что у нее за характер»,— мечтала Саня, снаряжаясь в дорогу.

Еще качался за окнами серый свет недалекого утра, а Анна уже кричала с улицы:

— Санюшка, что ты долго?

А та медлила, глядя в окно, выжидая, не появится ли Кланверис. Черный, в пыли, с воспаленными глазами, он бежал, размахивая над головой газетой, радостно кричал:

— Мы были правы. Ленин издал декрет о создании комитетов бедноты. Мы были правы... Теперь кулакам крышка! Мы их вызовем на комбед, обложим налогом...— и смолк, увидя Саню в странном снаряжении. В сапогах, подвязана по-старушечьи платком, в черной кофте, снятой с Катерины Ивановны, с туесом за плечами и корзиной в руке, Саня была так забавна, что Кланверис захохотал. Смеялись и остальные, выкрикивая шутки:

— Саня, на маскарад, что ли?

— Выпадешь из кофты-то!

Саня прошлась важно и гордо по поляне, притопнула сапогами, затем чопорно поклонилась Кланверису:

— Отложить борьбу с кулаками до завтра!.. А сегодня, может, пройдешься со мной за черемухой?

— Ах, беленькая, не могу... Работы по горло...

— Пойдем, Янушка,— уже жалобно просила Саня.— Ягода вкусная... Черная ягода — черемуха...

— Не могу, солнышко. Сегодня начинаю парней стрельбе учить... Надо на всякий случай...

...Тонкие ветки черемухи гнулись от вязких тяжелых

ягод. Окся повисла на вершине дерева цветастым фонарем, дергала ветки, сдаивая ягоды, обрывая их целыми кистями. Анна обрубала ветви топором; тогда девушки сползали на землю и копошились в пышной листве. Берег реки был завален срубленным увядающим черемушником, губы ягодниц связаны терпким соком.

— А когда у вас на селе посиделки начнутся? — допытывалась Саня и подумала: «Может, вместе с Иваном придем?» Сердце ее заливала радость.

— Осенью...— ответила Окся.— Да что это ты, девка, горишь вся? Спичку к тебе поднеси — вспыхнешь!

— Будем с тобой ходить? — смеясь, отозвалась Саня.

— Нет, я не люблю их,— отозвалась Окся.

— И правильно, Окся,— вставила Анна.

— Почему?

— Я тоже не люблю. Меня девки не оставляли на ночь после посиделок: никому спать не давала. Полежу немного, вскочу в темноте, уйду, вернусь. Полежу да снова вскочу. Так всю ночь.

— Куда ты все бегала?

Анна помолчала, не желая сознаться, что бегала к своему дому, заглядывала в окна, пытаясь увидеть, не дерется ли отец.

— В избенке у вдовы, где устраивали посиделки, заводской гудок слышался, как поднесенный в ладонях,— заговорила она.— Жили мы тогда в Семипалатинске. Помню одну ночь... Сразу после гудка за углом завыла собака. Я затряслась, предчувствие такое забередило: «Опять будет драка!» Если отец работал в ночную смену, я на посиделки не ходила: без него можно было немного уснуть. Как-то я только задремала, отец и вернулся. Как потом объяснилось, соседка Антоновна мою мать к своему мужу приревновала и насплетничала отцу. Мать трубу открывала, чтобы печь растопить. Отец закричал: «Слезай!»

Она побелела, сжалась в углу. Отец схватил лом, начал им бить по печи. От кирпичей осколки полетели. Я закричала: «Тятенька родимый... Тятенька...» Отец влез на печь и начал мать избивать. Та вначале умоляла: «Иван Савельевич... Иван Савельевич...»

Обмелевшая за лето река копошилась, журчала. Это стеклянное неровное журчание и рассказ Анны вызывали у Сани непонятную грусть и жалость и к Анне и к себе.

Она перестала собирать ягоду, оглядывалась и слушала

тишину, полную загадок и смысла. Золотые пряди солнца опутывали землю. Скоро на ней все люди станут счастливы и спокойны. Не будет озлобления, недоверия и гнева, все будет ясно и все надежно. И всего хорошего для людей добьются они, коммунары.

— Ну же, рассказывай дальше! — торопила она Анну.

— Днем мать прикрыла синяки и ушла куда-то. Отца с работы я встретила, он спросил: «Ты, белая жужжалка, что не в школе?» — «У меня, тятя, голова болит...» — баю.

Мать вернулась под вечер. Села у окна, подперла голову кулаком и глядит на Иртыш. Я пристроилась рядом, погладила мать по плечу. Та словно и не слышала, все смотрела на тихую воду. Я, чтобы утешить ее, и говорю: «Его самого-то, мама, бить надо: он на днях с соседкой в амбаре закрылся...»

А мать будто и не слышала, все смотрела на воду.

После драки отец несколько дней всегда говорил добреньким языком. Мать ошиблась, поверила и упрекнула его соседским амбаром.

На этот раз он меня избил. Да так, что и теперь косточки звенят, а девчонки меня же за синяки высмеяли. Я изверилась во всех. Мать, бывало, посылала меня на посиделки, я отказывалась.

С тех пор у меня голова кружится... А скоро и отец умер. Мы сюда с матерью переехали. Тут только я и жизнь увидела. Но и здесь на посиделки не ходила. Грех один...

— А недавно вы с Кузей дрались,— подразнивая, бросила из листвы Окся.

Анна рассмеялась.

— И верно, девки. Бой был большой. Долго мы с ним к этому бою готовились.

— Расскажи, тетя Анна,— попросила Саня.

— Рассказывать много нечего. Как пришел мой Кузьма с войны зимусь, тосковать начал. Все говорил чего-то непонятное, что жизнь неустроенна, что счастье неизведано. Из дома в степь все бегал. «Мне, бает, там легче дышится».

В селе варили самогон. Над каждой баней вонючий дым вился. Варил самогонку и хозяин наш, Оксин отец.

— Могла бы об этом и промолчать,— бросила Окся.

Не ответив ей, Анна продолжала:

— Раз взялся ему помогать Кузьма, попробовал самогоночки, не обжегся. Поглянулось, видать,

Прикладываться частенько стал. Тогда хозяин запретил ему подходить к аппарату. Но Кузьма, как услышит знакомый запах, идет и по чужим баням, где гнали самогон, выпрашивал «попробовать» и каждый день домой пьяный являлся. Я выла. Противны и ласки стали его. А он, как назло, чем больше выпьет, тем ласковее. Кричу, бывало: «Напился опять, и губы бантиком!»

Дали мне люди добрый совет: оказывается, вылечить от пьянства можно.

Пришел раз Кузьма домой, пятый угол ищет, я выгнала из избы детей, взяла катанок — валенок по-городски — и принялась мужа хлобыстать. На него аж морок напал.

Утром подняться не мог: синяков не было, а весь припухлый... Тело болело.

Я его припарками, примочками лечила, ревела над ним. Говорю ему: «Избил тебя кто-нибудь, Кузя».— «Что ты, говорит, Анка, придумываешь! От побоев синяки должны остаться!»

Отлежался, вышел из дома, а вернулся снова пьянее кабака. Я опять его «полечила». На другой день он и на подворье к хозяину выйти не мог. Я говорю: «Отравляет тебя кто-нибудь, Кузя... Не пил бы ты: погубят ведь злые люди!»

Бросил ведь пить-то! И жить бы, радоваться. Но кто-то по селу разнес, как я мужа от пьянства вылечила. Слух этот, видно, и до Кузьмы докатился. Раз он опять вернулся домой пьяный. Как за порог, так и свалился. Я даже взревела от горя. Втащила его на кровать, раздела и давай опять хлобыстать катанком. Смотрю, вырвал мужик катанок — да меня! Такая потасовка у нас пошла! Не только катанки, а и горшки и ухваты полетели. У обоих носом кровь хлынула.

С тех пор мы ладом живем. Кузьма пить бросил. «Боюсь, отобьет, говорит, жена катанками печенку!» А я нарадоваться не могу.

Смеялась Окся:

— Славно! Надо о твоем рецепте на сходке рассказать, чтобы все жены своих мужиков этак полечили.

Черемухи было много. Говорить стало труднее, рты были набиты вязкой ягодой.

— Урожай нынче на черемуху,— помолчав, отметила Анна, оседлав сук.

— А ты много-то не ешь. Насушим черемухи к зиме,— уговаривала ее Окся.— А ты в коммуну берешь или нам?

— В коммуну! Я теперь коммунарка! — со смехом заявила Анна.

Окся протянула разочарованно:

— А-а!

Голос Анны отзывался откуда-то из-под листвы:

— Опять десять лет черемухи не будет...

На минуту ягодницы притихли, услышав треск поверженных деревьев.

Окся, снова принимаясь рвать ягоду, проговорила:

— Не одни мы здесь сегодня пасемся, вишь, ходят! — И рассмеялась: — По нашим отброскам кто-то побирается...— И смолкла: перед ней вырос всадник на белой лошади, в котором она узнала лесообъездчика Алексея Соколова.

— Бог на помощь! — прокашлявшись, хрипло сказал тот.

Саня видела, что женщины оробели, только не понимала почему.

— Милости просим! — отозвалась Анна.

Соколов не спеша достал из кармана кисет с самосадом, свернул цигарку, закурил. Лошадь отбивала оводов пышным белым хвостом.

Женщины тревожно переглянулись, однако продолжали обирать дрожащее дерево.

— Как тебя мужик-то отпустил? — спросил у Анны конник, пуская клубы дыма.

— А чего мне сделается? — ответила та.

Лесообъездчик молча докурил, отъехал на пригорок и остановился.

— Ну хватит, набрались. Давайте-ка, бабоньки, впереди коня по дорожке ножками... Туесы, если они тяжелы, на коня можете поднять...

Туесов ягодницы на коня не подняли. Вышли на тропу; Окся бегло взглянула на всадника, нырнула в густые заросли мелкого черемушника, но лесообъездчик настиг ее.

— Но-о, не дури, красотка!

Анна покорно ждала на тропе. Ягод при ней уже не оказалось: она их спрятала в кусты. Идя перед мордой лошади, ворчала:

— Еще моя бабушка черемушку рубила, а я что — дура?

— Да помнишь ли ты бабушку-то? — заинтересованно спросил Соколов, покачиваясь в седле.

Отяжелевшие птицы скакали на дороге.

Окся, подтолкнув Анну, указала на свой туес, наполненный ягодой. Женщина поняла. Черпая ягоду горстями, они отправляли ее в рот. Черные пальцы опухли от сладкой мокрети, как и губы. Есть черемуху не хотелось, но женщины глотали ее вместе с косточками, чтобы не пропала. Саня не понимала, что происходит.

У села женщины приостановились, обернулись к всаднику:

— Смилуйся, Алексей Истигнеич! — попросила Анна.

— Шагайте-ка с добром. Сколь дерева посекли, да еще и милости просят!

Ягодницы, опустив подоткнутые подолы, шли по селу, стараясь не глядеть на окна.

Председатель сельсовета, выслушав Соколова, осведомился:

— Под корень рубили?

— Где под корень, а где ветки сшибали,— объяснил тот.

— И небось говорили, что черемуха десять лет ягоду давать не будет? — обратился Терехин к Анне.

Та серьезно ответила:

— А ты откуда знаешь, что про это говорили? Верно: в каждые десять лет черемухой все дерево обсыпано...— И повторила: — У меня еще бабка черемуху секла, а я что — дура?

— Ну, дура не дура, а вот посадим вас на недельку, так и поумнеешь! Пиши-ка, Истигнеич, акт.

— Да как же — посадишь! У меня малые дети!

— Знала, на что шла. А дети у тебя в коммуне, под присмотром.

Саня стояла в стороне. Она по-прежнему ничего не понимала. Оксю отпустили.

Анну и Саню втолкнули в темный и пыльный чулан.

— Вот отдохните здесь, коммунарки. Пусть коммуна штраф за вас внесет. Нас вы за все штрафуете.

Сесть было некуда. Женщины стояли, прислонившись к стене. Лица облепила паутина. Скоро чулан открыли, вызвали Анну. Саня осталась одна.

Время тянулось медленно. Она не знала, день сейчас или ночь. Стыд болью сжимал сердце. Только сегодня Кланверис говорил с ней, весь день переполняла ее радость от этого разговора. Впервые назвала она его Янушкой, а он только улыбнулся... Янушка. Иван. Теперь он будет смеяться. Теперь над ней можно только смеяться: сблизилась с таловцами!

С улицы доносился сонный колокольный звон.

В сельсовете послышались шаги многих ног, мужские голоса, смех. Саня, сидя на корточках, прислушивалась к словам.

— Бараки, пожалуй, не сжигайте, пригодится нам...— Это голос того, на коротких ножках, председателя сельсовета.

— Ничего. Коммунары как тараканы. Ставь бараки, они снова туда забьются.

Звенели стаканы, пахло самогоном. Саня решила, что она грезит. Что это за люди? Услышав имя Кришанина, она застучала в дверь:

— Откройте! Откройте же!

— Постойте-ка, казаки! Какая-то птичка бьется.

Ржавый замок заскрипел. Дверь открыли. Саня рванулась к свету, но ее снова впихнули в чулан. Она успела узнать Щербакова. Он стоял, широко расставив ноги.

— Эге... Да это коммунарская... Нет, подожди. Подержи-ка, Филипп, дверь. Я пропущу стаканчик.

— Откройте! — продолжала кричать Саня.

— Сейчас, птичка... подожди...

Дверь снова открылась. Саню обхватили сильные руки, заткнули пыльной тряпкой рот, накинули на голову мешок. Кто-то грубо свалил ее на пол.

...Она лежала без сил, без движения, боясь думать о том, что произошло, с трудом различая пьяные голоса за перегородкой.

— Казаки, за коммунарку не бойтесь, ничего не будет! Время их отошло! — хвалился тот, самый страшный и самый бессовестный человек. Она слышала только его голос и дрожала все больше.

Снова открылась дверь чулана. Саню связали, завернули во что-то, спеленали, бросили на телегу и повезли.

— Свою бабу с отрядом не потащишь, а эта сойдет,— радовался Щербаков.

— Они наших телушек резали, овечек стригли. Ну вот и мы им крылышки пообщиплем...— Через мешковину он щипал, тискал связанное тело Сани, приговаривая:

— Ай и девка же досталась! Беленькая, свеженькая, совсем дитя сладкое. Славная потаскуха будет. Ну, ты гони, не оглядывайся. Эту девку я для себя... не завидуй.

Трясло. Тарахтели колеса. Пахло гарью. Саня задыхалась, теряла сознание, проваливалась куда-то и боялась очнуться.

4

В этот день подростки набрали много ягод. Поджидая Саню, угощали взрослых смородиной и малиной, покрытой розовым пушком. От ягод исходила прохлада.

Мысей неожиданно принес в лагерь сноп созревшей пшеницы.

— Спелая?! Да что ты говоришь! — удивился Кришанин.

К конторе набежали коммунары, разглядывали шершавые колосья, вышелушивали по зернышку, пробовали на зуб.

— Вот она какая спелая-то.

— Значит, можно жать?

— Пора. Июль — собериха.

Еще раз вывели из-под навеса жатку, отбивали косы, осматривали серпы.

Кланверис, нетерпеливо ожидая Саню, поставив на окно граммофон, завел его, чтобы слышала она в лесу манящие звуки. Блестя трубой, граммофон хрипло пел, выкашливая разухабистый мотив.

Кришанин, сидя за столом, врытым в землю, перед тарелкой с ягодами, положил голову на вытянутые руки и уснул.

Граммофон заглох.

— Скоро на ходу спать будем. Пусть отдохнет.

Вернулась из Таловки Елизавета Пискунова. Подол единственного ее праздничного платья был запылен.

— Празднуете? — зловеще спросила она.— Песенки играете? — И, подскочив к спящему Кришанину, выкрикнула обжигающую язык новость: — А батюшка в церкви на всенощной письмо семи архангелов читал.

Кришанин давно не спал, слушал все и не мог опреде-

лить, что сейчас будет, как поведут себя люди, не мог решить, как ему самому вести себя.

— Ну, говори, что за письмо от архангелов?

— «Погибнут, говорит, от меча и огня большевики и те, кто сочувствует им! Большевики, говорит, немцам Россию продали...» Чехи на нас идут... Батюшка обращение к молящимся делал — содействовать и помогать!

— А что народ? Народ-то что говорит? — спросил Кришанин, подняв голову.

Елизавета мрачно взглянула на него.

— Народ согласен. Согласен действовать и помогать!

— Врешь! — грозно закричал Кришанин.— Врешь ты все! — И сжал кулаки.

Впервые ожесточился он и против церкви: она мешает человеку чувствовать себя хозяином, мешает улучшить жизнь.

Затаенная неуверенность поднималась в сердцах людей. Они робко высказывали мысль, что урожай — это еще не настоящий успех. Никогда, видно, не добиться им полной удачи.

— А мы не только урожая добивались, как вы не поймете,— сказал Кланверис.— Мы людей будили. И что бы с нами ни случилось, мы здесь многое сделали.

Как никогда, понял он в эту минуту, что каждый день в коммуне был осмыслен и что своим трудом они боролись за жизнь, за самих себя, за счастье.

Его слушали понуро.

Прибежала Анна. Еле открывая черный от черемухи рот, закричала истошно:

— Саню выручать надо! В сельсовете в чулане сидит, штраф за нее требуют!

Кланверис посмотрел дикими глазами на нее и бросился к переправе. Федор задержал его криком:

— Подожди!.. Всадники...

К лагерю подъехали три конника в черных мундирах, в казачьих фуражках, испуская крики. Впереди — сотник Щербаков. Витая плеть, надетая на руку, повисла сбоку.

Остановившись перед бараками, не слезая с коня, крикнул:

— Эй, выходите все!

Коммунары смотрели на всадников из окон, часть людей высыпала на улицу, но все враждебно молчали. Щербаков, взмахнув плетью, продолжал:

— Слушайте, вы! На Алтае советской власти больше нет! Есть Временное сибирское правительство. Покоряйтесь ему, или мы разнесем ваше гнездо так, что вы и перьев не соберете! Даем на размышление пятнадцать минут.

Послышался женский плач.

Мужчины сгрудились вокруг правленцев:

— С тремя справимся... Где оружие? — спросил Кланверис.

— В земле зарыто оружие...

— Место здесь нам невыгодно для борьбы — равнина. Мы у них как на ладони,— отозвался Пискунов.

— Не трогать оружие! — тихо приказал Кришанин, глядя вдоль дороги.— В бой вступать бесполезно... Может, уладим мирно...

Поднимая пыль, к лагерю приближался отряд казаков.

— Федор, Тарас, возьмите из ночного лошадей,— шептал Кланверис.— Скачите к Полозкову в поле, пусть бедноту поднимает.

Парни тихо проскользнули за бараки, лесом пробрались к лошадям, пали на них, покрутились и помчались. Кони рванулись. Казалось, земля исчезла из-под копыт.

Щербаков вплотную подъехал к сбившимся в кучу коммунарам:

— Сдайте оружие, какое есть...

Правленцы вынесли из барака и положили на крыльцо несколько винтовок. Щербаков вперил в председателя коммуны тусклый, непонимающий взгляд.

— Это все? Обыскать! — он указал на палатки и казармы.

Туда бросились спешившиеся казаки. Женщины с плачем бежали за ними. Послышались крики. Мужской голос твердил, задыхаясь:

— Не дам! Меня тебе не осилить! Не дам, не вырывай!

Обезумевшие женщины впивались зубами в руки казаков, рвали им усы.

— Отойди! Это мне от отца-матери! Отойди!

— Не трогай часы! Мои, заработанные!

Кланверис кинулся в барак, врезался в гущу казаков и начал оттеснять их к выходу:

— Прочь отсюда, грабители!

Все слилось в общем шуме: свист плетей, звон разбитых стекол, брань казаков, плач детей и женщин.

— Бандиты! — все кричал Кланверис.

Крики «Бей их!» перекатывались по берегам.

Щербаков визгливо и нараспев говорил:

— Приказываю разойтись по деревням. Не больше, чем по две семьи. Если ослушаетесь,— через три дня расстреляю каждого десятого.

Бродили по лесу коровы и лошади. Пылали бараки. Белыми пятнами распластались по земле подрубленные палатки. С узлами награбленного бежали к лошадям казаки.

— Все поняли? — грозно переспросил Щербаков, напирая грудью лошади на коммунаров.— Мы придем сюда ночью. Чтоб чисто было!

Из дверей барака вывалились Кланверис и два казака. Комиссар бился свирепо, увертывался от ударов, наконец вцепился рукой в рыжий чуб одного из казаков, с силой ударил головой о косяк. К нему на выручку бросились несколько коммунаров, но снова засвистели плети.

Бушевал ветер, будто хотел сорвать и унести этот тяжелый день с его слезами, людской бессмысленной жестокостью.

Неожиданно с переправы прибежали люди из Таловки. Над головами у них блестели косы, вилы, топоры, охотничьи ружья, мелькали цепы и дубины. Щербаков торопливо отдал команду:

— По коням! — и рубанул плетью храпевшего коня.

— Ускакали, сволочи! — кричал Кузьма.— Жаль, оружья у нас нет!

Кришанин невесело рассмеялся:

— Что бы сделали мы с этим вооружением?

— Куда ты зарыл ружья? — наступал на Кришанина Ян.

— Давайте-ка собирайтесь. Здесь вам пока оставаться нельзя. Укроем вас по деревням,— говорил Полозков.— Я вокруг надежных людей знаю...

Женщины вели испуганных детей. Девочка в красном сарафане на ходу заплетала косичку, семеня за матерью.

Медленно всплывала из-за чащи леса луна. Река осветилась белым пламенем, деревья откинули на землю неверные тени. Выл ветер, рвал с конторы флаг.

Уцелевшее имущество, лошадей, инвентарь, станки —

все поделили коммунары между собою. Поделили и порох, чтобы каждый сохранил его до нужного часа.

Появился в толпе Тарас. Он ослаб, голова его то и дело опускалась на грудь.

— Что с тобой? Откуда ты?

— Саня... Сани нигде нет... Говорят, Щербаков увез...

Коммунары приостановили дележ имущества. Громко заплакала тетя Катя.

Кланверис тихо заговорил:

— Людей терзают... Саня... Такая девушка! Они думают, что разбили нашу жизнь. Это мы бесцельной жизни крестьян значение дали. Коммуны нет, но коммунары остались. Это не конец. Это перерыв!

Вера Степановна силилась разжать стиснутые губы, пыталась что-то сказать и не могла.

— Костя, волосы-то у тебя слиняли добела! — Пискунов расширенными глазами смотрел на голову председателя.

Тарас, бесцельно побродив по лагерю, снова вскочил на коня и ускакал.

«Виноват я... виноват...— думал Кришанин.— Не нужно было оружье в землю закапывать...»

— Господи, за что? За какие грехи? Что мы плохого делали? — спросил Матвей Пискунов заикаясь и поднял лицо к дремучему небу. Оно было усеяно звездами. Вот одна сорвалась, вместе с тонкой золотой нитью устремилась на землю.

Неожиданно Матвей сказал твердо и на этот раз не запинаясь:

— Клянусь не опускать руки! Клянусь верность хранить нашей коммуне!

Ветер трепал камыш на берегу, венчал поднявшиеся волны белыми шапками.

Коммунары чувствовали, что они часть единого. Вместе они видели цель, вместе чувствовали себя сильными, а порознь теряли под ногами почву. Каждый отдельно не верил в свои силы.

Со всех сторон зазвучали клятвы:

— Клянусь навечно двигаться вперед, к коммуне.

— Клянусь бороться за жизнь нашу светлую!

Анна Полозкова смотрела на всех, как на героев, и тоненьким, как волосок, голоском твердила:

— О господи, люди-то какие! О господи!..

Это было последнее собрание коммунаров. Решено было вести агитацию в деревнях, поднимать крестьян.

Занималась утренняя заря. Небо казалось стеклянно-зеленым. Свежо перекликались мокрые голоса петухов.

Кришанин повел Кланвериса к месту, где было спрятано оружие. Но откопать его не удалось.

Снова прискакала казачья сотня, окружила лагерь. Щербаков, отделившись от всадников, закричал:

— Лодки, плоты у вас есть? Переправляйтесь к селам по две, по три семьи. Мои казаки проводят вас.

Кланверис выпрямился, окреп от какой-то мысли и произнес:

— Все равно наша возьмет!

Его голос прозвучал тихо и серьезно, как угроза.

5

Кришанин и Екатерина Важенина сняли на окраине села Гирево домик на одном дворе с хозяевами. Под навесом устроили столярный верстак.

Напротив, через улицу,— лавка, всегда почему-то закрытая. Скрипела над ней железная вывеска, это нагоняло тоску.

Целыми днями Константин строгал, тесал, выпиливал, клеил коробки, сундучки с причудливыми рисунками, ларчики с замысловатыми замками, украшал их резьбой.

Работа помогала: в жизни все становилось яснее и проще.

Хозяева, увидев его мастерство, заказали поставить наличники к окнам, украсить резьбой массивные сундуки, полати, божницу.

Плата за квартиру окупалась. Приходили соседи с заказами на коробки и изразцы. Вера Степановна, Катерина и Сергей помогали Кришанину.

Он отделывал ворота домов и наличники тонкой кружевной вязью, ставил на крыши коньки петухов, звезды или месяц. Мастерил для охотников лыжи.

Хозяин Серафим Сидоркин, сутулый человек, жил тихо и все чего-то боялся. Стукнет ли скобка у калитки, закричит ли петух, он бледнел и быстро уходил в дом. Матовая жидкая борода его тряслась.

Кришанины поняли, что прячут Сидоркины где-то сына. Об этом невнятно болтала их дочь, юркая, всюду сую-

щая нос девчонка. От кого прячут Сидоркины сына, осталось неизвестно.

Вера Степановна, выслушав ее, сказала:

— А ты зачем говоришь пустое, Проска? Большая, должна понимать, что об этом рассказывать никому не нужно. Сколько тебе лет? Десять. Совсем большая, а болтаешь.

Хозяин заболел. Жена его, бледнолицая, сухая и немногословная, как и муж, во время его болезни замолчала совсем.

Вера Степановна напомнила ей:

— Я ведь фельдшер. Разрешите, я посмотрю больного.

Настя неприветливо бросила:

— На своего мужа смотри...

Но через несколько дней она ворвалась в избу к квартирантам с воплем:

— Ой, батюшки, блажнит ему!

Кришанина не сразу поняла, кому и что значит «блажнит».

Надев белый халат, она ушла к хозяевам. Вернулась помрачневшая.

— Сыпняк.

Теперь и Кришанины замолкли. Даже Сережа не шалил, не гримасничал, стал очень походить на отца.

Вера Степановна тосковала по старшему сыну. Уже месяц, как потеряла его из виду. Часто украдкой плакала, и все же, казалось, услышь она его голос, больше испугалась бы, чем порадовалась.

Константина охватывала тоска по городу. Питер. Там все знакомо, спокойно и дружелюбно. Здесь же не исчезает ощущение неустроенности, люди недоверчивы и полны ненависти.

Кришанин каждый раз чувствовал себя усталым после пустого, бестолкового и шершавого дня, но, скрывая свою боль от жены, обязательно выходил из дома. Каждый день его словно насильно втягивали в жизнь.

Дома в селе густо толпились в лощинке. С косогора казалось, что они вдавлены в землю, пугливо щурятся, беспомощные и робкие.

Узкоперые густые пихты окружали их. На пихты садились птицы. Качавшиеся лапы дерева пускали струю игольчатых брызг.

Поблескивала река, обросшая по берегам тростником и метелками осоки на кочках.

Однажды Кришанин поднялся на невысокую горку, на склоне которой увидел несколько странных круглых строений с куполообразными верхами, прикрытыми кошмой. Долго смотрел, стараясь понять, что же это такое: аул, юрты?

Невдалеке паслись овцы, около которых стоял сухой старик в серой мохнатой папахе. Он посмотрел на Кришанина и вдруг что-то закричал, замахал руками, сгоняя овец вниз, и все оглядывался в непонятном страхе.

Когда Кришанин рассказал об этой встрече жене, та задумчиво произнесла:

— Казах... Кыргыз, как их здесь называют. Хозяева края, вечно угнетенные...

Больше на эту горку Кришанин не ходил, не желая пугать казахов.

Вера Степановна не спрашивала мужа, куда и зачем он уходит. Знала: муж ищет связей. Он возвращался помрачневший, с остервенением брался за работу. Из часов на стене словно сыпался мелкий звук. Стрелки, трогая цифры, двигались медленно.

«Не терять бодрости, не терять бодрости»,— твердила себе она. Но тревога за мужа, за сына, оторванность от всего привычного все сильнее терзали ее. Казалось, они одни на свете во враждебном мире и никогда не кончится унылая, без надежды жизнь.

Когда по вечерам Кришанин уходил из дому, вобрав голову в плечи, женщины настороженно следили за ним.

Выйдя на улицу, он останавливался, слушая тишину. В домах не зажигались огни. Село, казалось, копошилось, дворы перебрасывались собачьим лаем да петушиным криком.

По воскресеньям звонили на церкви колокола, гремели дикие песни пьяных казаков.

Хозяин бродил, загребая ногами по двору, исхудавший и бледный.

— Спасибо те, выходила меня,— сказал он фельдшерице.— Я отблагодарю, не киргизишка ведь я... понимаю.

Шли бесконечные проливные дожди. К утру лужи подмерзали. Работать под навесом было уже невозможно. Сидоркины разрешили работать Кришанину в избе.

Константин все молчал. В полутемной, наполовину осевшей избе лицо его казалось землистым.

Шуршала стружка. Шваркал по доске рубанок.

— Где же наша Саня-то? — время от времени спрашивала Катерина Ивановна и вздыхала.

Где Саня, никто не знал.

До Кришаниных дошли смутные слухи, что Пискуновых оставили жить в Таловке, а Кланвериса переселили в Никольское.

Скоро свалилась Настя. И снова Кришанина дежурила у нее по ночам.

— Хорошо, что мы лекарство успели взять.

Выходила она и Настю.

Приветливее смотрели на квартирантов Сидоркины. Все чаще заговаривал Серафим с Кришаниным.

— Ну вот, разодрали вы плугом землю — целыжень. Слышно, хлеба у вас выросли — мышь не проломится...— Скребя негнущимися пальцами матовую бороду, он продолжал, глухо отрубая слова: — Бар разгромили. А чего добились? Они снова поднимаются. Семья на семью пошла. Чехи появились! Я сына прятать от них должен. Мне надо землю. А вам земли не надо. Вот нам никогда и не договориться. Я голос свой вам отдавал. Ленину. С ним хорошо, ни о чем не надо думать: он за нас все продумал. С ним все бы успокоились. А прошли богатенькие...— Бесцветные глаза Сидоркина в красных опухших веках нелюдимо прятались под клочья бровей и выглядывали оттуда остро и упрямо. Зубы, желтые и крупные, крепко сжаты.

Как-то в разговор вмешалась Вера Степановна:

— Ленин призывает, чтобы народ тоже думал.

Пренебрежительная, гневная улыбка тронула сухие губы Сидоркина. Кришанина поняла: женщина не должна мешать мужскому разговору, и рассмеялась.

— Вот говорят тоже,— продолжал хозяин,— что Ленин немцам Россию продал.

— Не верьте слухам.

— Не знаю, как и сказать... Говорят, Ленина убили... в августе еще...

— Что? Что ты болтаешь? Да я тебя!..— Кришанин тряс Серафима за горло.

Вера Степановна бросилась к ним, оторвала цепкие руки мужа.

Долго они стояли в молчании. Плакала, вся трясясь, Катерина.

— Не верю... Не верю... Ленин не может умереть,— шептал Константин Васильевич.— Надо сейчас... Сейчас же... к своим...— Он безвольно сел на табурет. Сидел долго, безнадежно вперив взгляд в тусклое окно.

Его вялость и равнодушие ко всему пугали Веру Степановну все сильнее.

Тоска его росла. Росло сознание ненужности в жизни, ощущение беспомощности мучило его, чувство вины перед коммуной.

По селу гулял тиф. Кришанину звали в дома. Ее уже не чуждались. Даже детям разрешали играть с Сережей.

Расспрашивать кого-нибудь о Ленине Кришанины не решались.

Однажды Вера Степановна завела с мужем разговор о вечерней воскресной школе, в которой училась у Надежды Константиновны Крупской.

— Очень мы ей доверяли. Я тебя встретила, надо было кому-то поведать... А кому, кроме родной учительницы.

Кришанин поднял голову, взгляд его стал живее.

— Неужели рассказала?

— Все до подробностей. В девяносто шестом году, еще перед ее арестом.

Он потеплевшими глазами посмотрел на жену, улыбнулся.

— Вот бесшабашная! Да разве ей интересно выслушивать всякое.

— Ей все интересно. Большого она сердца человек.

— Что делается сейчас в столице? Что с Владимиром Ильичем? — В голосе Константина чувствовалась такая безнадежность, что Вера Степановна испугалась, торопливо продолжала:

— Мы ее с уроков провожали. Доведем до Старо-Невского. Жила она в доме с проходным двором. И все смеялась: «Хорошо, говорит, от шпиков уходить».

Кришанин повеселел, встал за верстак. Закружилась белая пахучая стружка, забегал рубанок.

Вера Степановна продолжала:

— Она ведь с четырнадцати лет, когда еще гимназисткой была, уроками семью содержала. С учением Маркса познакомилась в нелегальных кружках. Все говорила нам, что его учение — это руководство к действию. А с третьего

года, как только Ильич приехал, она первая его помощница. И в одиночной камере сидела, и в ссылке с ним была. Там она книгу о рабочей женщине написала, а подписалась Саблиной. Имя ей часто приходилось менять. В Питере после ссылки жила под именем Прасковьи Онегиной, а партийная кличка ее была смешная: «Медведь». О ссылке Надежда Константиновна любила рассказывать. Там они с Ильичем поженились. Помню, к нам в кружок у Черной речки (а кружки были по пятка́м. Пять человек, значит) Ильич впервые пришел. В широком пиджаке. Шляпа с полями. Маленькая бородка. Лысина небольшая. Глаза острые, говорил быстро. Спрашивал нас о разном, о жизни рабочих, о том, когда завод основан, мастерские. Мы тогда собирались два раза в неделю. Я совсем молоденькая была.

Порывшись в сундуке, Кришанина достала сверток, завязанный в марлю.

— Посмотри, что я сохранила. От самого Питера везла.

Это были брошюры, пожелтевшие от времени, с распухшими, завернувшимися углами: «Объяснение закона о штрафах, взимаемых с рабочих на фабриках и заводах» Ленина, «Новый фабричный закон», «О стачках», «О промышленных судах».

— И номер «Известий», где напечатана статья Ильича «Очередные задачи Советской власти», я сохранила. Не расстаюсь с этим,— подержав газету на весу, сказала Вера Степановна.

— А мне и не говорила,— упрекнул Кришанин.

— Все как-то некогда было,— уклончиво ответила Вера.— Я училась по ним. Владимир Ильич так хорошо рассказал, как надо к рабочим подходить, изучать их нужды и вести их к политической борьбе.

— Те методы устарели.

— Ну почему? Он будто и наши дни увидел.

Как бы не расслышав ее последнего замечания, Константин нетерпеливо попросил:

— Ну и дальше? Что было дальше? Расскажи, кто эту школу посещал? Брат мой — я знаю.

— Ленин в кружках за Невской заставой работал. А к нам в школу его кружковцы приходили учиться. Я во многом еще не разбиралась. Там поняла, что бога нет. И многие поняли. Говорили: точно легче стало, надеяться не на кого, кроме себя, не перед кем стоять навытяжку.

— Мы сообщали Надежде Константиновне, что делается на заводе,— вставила Катерина Ивановна.

— На уроках мы от нее не слыхали слова «забастовка»,— продолжала Вера Степановна.— А вот как жизнь изменить — это она объясняла. И поняла я, что ее работа, да и работа каждого революционера, незаметная, на первый взгляд не геройская: стремления людей учитывать, помогать им и вести их за собой.

Вера Степановна находила такие слова, от которых Кришанину становилось легче, от которых проходило чувство раздвоенности и безнадежности. Он понимал: не зря жена вспомнила об этом, к чему-то она готовит его. Не зря голос ее звучит покоряюще и непреклонно.

— Надо спрашивать с себя как можно больше! — значительно произнесла она.— Восстание поднимать надо... подпольную ячейку найти... Не одни же мы в Гиреве!

«Вот и выяснилось, для чего она об этом говорит. Поднимать восстание! Легко сказать, когда живешь, как на кратере! — взволнованно думал Константин Васильевич. И тут же возражал себе: — Не-ет, она права... Она — мой страж — не даст свернуть в сторону...»

Оружие не давало ему покоя. Что было бы, если бы он тогда не спрятал его? Зачем он зарыл его в землю?

Константин рисовал себе картины борьбы и всегда приходил к мысли, что нужно было принять бой.

Тут же другой голос в нем говорил, что бой был бы бесполезен: щербаковцы убили бы всех. Со вздохом оглядывался он на сынишку. Сердце в испуге падало: представлялся Сережа с раскроенным черепом. И Константин думал, радуясь: «Хорошо, что я спрятал винтовки!»

Так и не придя полностью к одному решению, проговорил:

— Сейчас главное — найти большевиков, объединиться...— От изучающего взгляда жены он не отвел глаз и повторил: — Да, найти большевиков.

Вскоре Кришанин успокоился, возвращался из своих походов в село бодрый, обновленный. Раз даже запел, лукаво посматривая на женщин, и, как всегда, не выдержал:

— Людей я нашел. К восстанию будем готовиться... Но не скоро... Оружия нет. Делать пики будем сами, пули из свинца и олова уже отливают. В обойму закладывают четыре самодельных и один заводской патрон. При выстреле он очищает ствол от сажи. По пятнадцати да по двадца-

ти тысяч патронов и день делают. Готовятся! Понимаете, готовятся. А самое главное... самое главное, угадайте, что я узнал?

Женщины смотрели на него с улыбкой, стараясь угадать: какая еще обжигающая радость ждет их?

— Владимир Ильич жив! Он был ранен и поправляется. Жив Ленин! Жив Ленин!

6

Пискуновых приютил Кузьма Полозков. Тесная малуха, казалось, трещала и вот-вот рассыплется, так в ней стало людно. Спали на полатях, на полу, в сенях.

Матвей часто сидел у маленького окошка и бесцельно смотрел на опустошенный огород. В окно глядела мертвая луна. Качалась потерявшая листву мертвая береза. Пискунову чудилось — все умерло.

Мысей обитал неизвестно где. По утрам приходил к Полозковым и оставался у них целый день.

Кузьма сохранял жизнерадостность. Чуть рассветало, бил самоварной заглушкой по столу и кричал:

— Вставать! Побудка! — и смеялся: это напоминало коммуну.

Старшая дочь Полозковых, девочка лет девяти, как хозяйка, прибиралась в избе.

Самому младшему сыну стелили под большим сосновым столом; он спал, выставив из-под домотканой скатерти босые ноги.

Анна приносила пищу. В этот день она принесла еще и новость.

— Насильничают... Вешают... В паровозной топке, сказывают, большевика сожгли... В Буланихе бабу одну в землю живую зарыли... В Черном Доле восстание, сказывают, мужики подняли, беляков выгнали из села и свою власть поставили, да ненадолго: беляков-то — сила! Саню нашу Щербаков за собой возит...— Анна смолкла. В сенях громко зарыдал Аркадий.

В избе жарко натоплено. Самодельная мебель — скамьи и табуреты — чисто выскоблена.

До малухи долетели звуки музыки: это у Висловых завели граммофон, захваченный у коммунаров.

Федор побледнел, бросился ничком на полати и затих. Кузьма злобно сказал:

— Ничего, правду мы найдем... Кровь из ногтей, а докопаемся до нее...

Долго молчали, думая каждый о своем. Как бы подытоживая общие думы, Анна вздохнула:

— Осатанели люди. Не знают, куда голову приклонить... Но искать надо... Распутывать в головах у людей надо...

Каждый день Матвей Пискунов куда-то исчезал. Возвращался домой поздно, взлохмаченный и мрачный.

Через неделю в малуху пришел Вислов. Анна освободила табуретку, обмахнула ее фартуком:

— Садись, хозяин.

Прохор сел, медленно начал оглядывать избушку.

Он казался теперь совсем другим. Одевался нарядно: в лаковых сапогах, в широких суконных шароварах, в романовском полушубке, из-под которого выглядывала вышитая рубаха. Поджатые губы были злы и лукавы.

Осмотрев стены, он так же медленно начал осматривать притихших людей.

— Ну, вот что,— произнес он наконец.— Даром держать в малухе я вас не собираюсь. Пора сейчас страдная, солнце налилось, как плод. Хлебушко убирать надо. Мне работников надо. Кузьма, Мысей и Анна на жатву пойдут. Матвей с Федором — в кузницу: мне поковка нужна...— Вислов презрительно осклабился: — Только так. Уразумели? Я теперь вам должон быть черта страшнее... Вот вы где у меня! — он потряс кулаком.— Я все могу с вами сделать! Будете на меня робить — уцелеете. Не будете — землю кровушкой польем. Выбора у вас нет.

Выбора не было. За жилье нужно было расплачиваться. За жизнь расплачиваться.

Кузница на пепелище коммуны сохранилась. Пискуновы снова работали в ней.

Здесь пахло копотью, ржавым железом. Матвей бросал в пекло уголь. Федор тянул залощенную веревку. Поднимался, вздыхая, мех, раздувал мелкие угли.

Дверь кузницы всегда открыта. Около нее все время крутился Дружок.

Осень. Изредка прыгали по крышам дожди.

Но и после работы Матвей ежедневно куда-то исчезал. Возвращался быстро, неизменно хмурый.

Федор решил проследить, куда уходит отец.

Туман утонул в камышах. У обгорелого столба чесался

Дружок. На Федора он взглянул грустными красноватыми глазами.

Идя берегом реки за отцом, Федор смотрел в сторону Таловки и отмечал про себя: «Вот тот прозрачный дымок вьется над домом Висловых. Там Окся...»

Думал он о девушке спокойно, не рвался к ней. Просто отмечал для себя, что дымок этот идет из ее трубы. После разгрома коммуны он Оксю не видел. Несколько раз, проходя огородом мимо малухи на берег, Окся сильно запевала:

Я от солнца, я от непогоды
Лицо бело берегла.
От худой славы-напраслины
Никуда млада я не ушла!

Анна, усмехаясь, следила за Федором. Он понимал, что Окся вызывает его на берег. Но видеть ее не хотелось.

Вокруг бывшего лагеря, на картофельном поле, копошились женщины и дети. Рыли картошку.

Пискуновы прошли мимо берегом реки, прячась, перебегая от сосны к сосне. Отец впереди, сын сзади. На реке скрипели бегунцы — коростели.

В осеннем лесу столько новых красок, что у Федора вдруг болезненно сжалось сердце: коммуна погибла, его товарищи не видят этого тихого дня, полного прозрачной синевы, этой поблекшей травы, багряных осин и желтых берез на фоне темных пихтачей, не чувствуют этой осенней усталости. Показалось, что, увидя все это, он в чем-то остался перед коммунарами виноватым.

С дерева вспорхнули птицы, как подброшенная вверх горсть гороха. Трескучий всплеск крыльев заставил Пискуновых остановиться.

Бабье лето. Блестящими нитями паутины затканы травы, кусты ивняка и ольхи стоят как восковые. Все отцветает и блекнет.

Какую-то часть пути отец шел тропкой, не таясь. Федор продолжал от него прятаться. Он уже понял, куда отец идет.

Когда открылось поле коммуны, старший Пискунов залег в кусты. В сквозной листве деревьев солнечные просветы как оконца.

Вот так же недавно лежали в кустах мужики, выслеживая каждый шаг коммунаров.

Сейчас поодаль грузили на воз тяжелые снопы.

По полю ходили жатки и косилки коммунаров. Жарко стрекоча, косы врезались в пшеницу.

Вязальщицы ловили валок сухого колоса, перехватывали раскрыленным пояском из соломы, закручивали в тугой сноп.

Желтые мотыльки однообразно мелькали над клонившимися колосьями. Кудрявые суслоны, как бабки, стояли на поле.

Вился визгливый голос Прохора Вислова:

— Чище собирайте! Хлебец для защитников наших... чехов пойдет...

Вислов сидел на коммунарском сером трехлетке и с восхищением оглядывал поля. Трехлеток недоверчиво поводил белками озорных глаз.

— Что же ты, Груня, такую горстку колосьев оставила? Вычесть у тебя из платы придется... Чище собирайте. Пусть ни один колосок под снег не уйдет! — кричал Вислов. Женщины кололи его злыми глазами.

Федор видел, как затряслись плечи отца.

Медленно отползая, поднялся, выпрямился и зашагал к родному пепелищу. Сердце ломило, стучало в виски. А перед взором неотступно стояла одна картина: впряженные в плуг, коммунары падали на полосу. Лошади надрывались, дрожали от напряжения. И эти кусты. Из них тогда неслись выкрики.

Сейчас кусты мирно покачивались, шелестели листвой. В них прятался и рыдал старик, первый председатель коммуны. Федор, не разбирая дороги, бесцельно брел куда-то. Кулак Прохор Вислов богатеет на их труде... Это не просто кулак Прохор Вислов. Это отец Окси.

Нет любви на свете, нет нежности; существует лишь ужас и зло. Федор приостановился, вспомнив Оксю. Отдышавшись, снова побрел, перепрыгивая через истлевшие, угрузнувшие в землю коряги. Где-то сильно била синица, как в колокольчик. От этого делалось еще неспокойнее.

Федор забирался все больше в глубь леса.

Ветки кустарника рассекали воздух, как хлысты. Кроны сосен сомкнулись, тесно переплелись. Когда деревья расступались, на полянах стояли столбы солнечного света. Их Федор обходил стороной.

Сухая трава доходила до пояса, шуршала. Над следами вставали облачка пыли и тут же развевались.

Это на кулака, пособника белым чехам, работают теперь люди.

Это ему, Прохору Вислову, они с отцом куют капканы для охоты. Один, второй, десять — много, словно все лисицы, все волки принадлежат ему.

Куют цепи для быков, куют косы, серпы, затворы.

«Плохо же ты знаешь меня, Прохор Вислов!»

Отец... Сердце Федора сжималось, как только он представлял отца плачущим.

«Он друг мне... Он друг всем. А я все хотел его переделывать! Он настоящий друг!»

И снова Федор мысленно переносился к своим. Идет борьба, святая борьба. Все равно скоро победа, не будет неравенства. Люди с любовью станут смотреть в глаза друг другу. Он ненавидел всех, кто мешал этому. И сейчас, сжимая кулаки, не переставал думать о Вислове.

Федор сидел на берегу и бросал медленно и лениво в воду камушки. Один за другим расходились круги на гладкой слюдяной реке. Расходились, уплывали, тонули. И новый круг бороздил поверхность, качался упругими кольцами и исчезал.

Невысоко летели гуси. Можно было разглядеть красные лапы, отнесенные назад. Скворцы стаями собирались на берегу.

Обомшелый камень выглядывал из реки. Струи воды, набегая па него, шипели. В заводях накопился мусор. Спали у причала лодки. Багровый закат освещал и воду, и лодки, и кусты печальным ржавым светом.

Представился Федору Кланверис. «Где-то он теперь? Опять один бьется и всех зовет.— И страшная горечь сжала сердце.— Мало я ему помогал! Он надеялся... а мне Окся мозги запылила... Вот теперь бы... Во всем мне надо на него походить!..»

Казалось Федору, что в его жизни произошли важные события, что он уже не тот, каким поднялся утром с постели. «Найду Ивана... Завтра же отправлюсь к нему... Найду...»

Подошедший отец сказал:

— Пойдем. Работать надо,— и смолк: с такой нежностью посмотрел на него сын.

И потянуло старика открыться, высказать все, что мучает. Он сел рядом с Федором и проговорил:

— Думает ли о нас Ленин? Ведь мы в ловушке!..—

И опять отец погрузился в свое обычное состояние тупой тоски, которая все чаще захватывала его мутными волнами.

...Снова заметались по берегу удары молота, гул железа. Вился белый дымок из узкой трубы над кузницей.

Стороной бежали Аркадий и Мишутка.

— Дружок, ко мне!

— Вот найти бы охотника, уговорить бы, чтоб и меня взял на охоту...— мечтал младший.— И попали бы в темном лесу на медведя... Охотник-то — бах-бах! А медведь прет на него! Я в то время с рогатиной ка-ак выскочу! Да ка-ак воткну! Захрустят медвежьи косточки! Спасу я охотника от когтей! Да ты куда свернул? Нам ведь на ярмарку, за жило!

— Иди знай, спаситель,— отозвался баском Аркадий.

— К отцу-то зачем? — не унимался Михаил.— Мама велела сразу идти в Гусиное на базар, порох продать.

— Он коммунарский, продавать его нельзя.

Зайдя в темное помещение кузницы, Аркадий протянул отцу две пачки пороха.

— Где взял?

— Мама продать велела. Она нам покоя не дает, все денег требует. Рыбу наудим — продаст, ягоды или грибы — продаст. А теперь вот порох продает. Здесь охотников много, а пороха нет.

Отец в изнеможении опустился на круглое сиденье, обтянутое обгорелой кожей.

— Никуда вы не пойдете,— вмешался Федор.— Давайте сюда порох!

— Мама уже две пачки на муку променяла,— сообщил Михаил.

— Кому?

— Хозяину Прохору... Я видел...

— Все рушится... все рушится...— бормотал старик, поднимаясь.

— Подожди, отец,— Федор снова усадил его.— А вы, ребята, вызовите сюда Кузьму. Отец, приди в себя: работу кончать нужно...

Ребята помчались к селу. Их догоняли из кузницы дробные удары молотов.

Собака легла, посматривая в открытые двери на кузнецов. Потом задремала, чутко насторожив уши. Вдруг она вскочила с радостным лаем.

Освещенная отблеском пылающих углей, в дверях возникла фигура Кланвериса.

Пискунов прослезился от радости, увидя его, и долго не мог успокоиться. Руки у него дрожали.

— С тобой в Гирево или в Никольское уедем. Невмоготу, Иван... Кто нам дорожку здесь укажет? С кого глаз не сводить? — Он смолк, внимательно поглядел на Кланвериса, который казался больным, усталым. Веки его опухли, белки глаз были испещрены кровяными жилками.

— Понимаю,— задумчиво сказал Ян.— Все понимаю. Трудно. Всем трудно. Нашу Советскую республику второго сентября объявили единым военным лагерем. Вся политическая, экономическая и культурная жизнь страны — все на службу фронту. Живем под лозунгом «Все для фронта! Все для обороны республики!». Вот с чего нам глаз сводить нельзя... Вот какая дорожка нам обозначена...— Через каждые несколько слов Ян лизал сухие губы.— Борьбу мы в районном штабе решили вести широко,— приглушенно продолжал он.— Казаки свирепеют все больше, с населением расправляются круто. Народ к нам прет: каждый видит уже, что в стороне остаться нельзя... У нас только оружия мало... патронов мало... И вам задание от штаба есть — пики ковать. Полозков на лодке их к нам будет возить, с ним я уже говорил сейчас... А мы — под зеленую крышу пока, в леса.

Федор, упрямо глядя на Кланвериса, сказал:

— Я с вами уйду, дядя Иван...

Тот мягко ответил:

— Ты нужен здесь, Федя...

Пискуновы приободрились: за ними пришли. Они нужны. И, конечно, придется оставаться здесь.

— Слушайте, партизан один сочинил о вас,— продолжал Кланверис с улыбкой.— Слушайте:

О грозная пика сибирского люда,
Ты с нас бы оковы сняла!
Мозолисты руки того не забудут
И век будут помнить тебя!

Пискунов молодо блеснул глазами, поднялся, откинул назад голову, повторил слова о пике торжественно, как молитву. Потом строго заверил:

— Надейся, Иван, будем ковать пики... На святое дело себя не пожалеем!

Над могилой коммунара по-прежнему не было звезды. Но цветы, посаженные детьми, буйно разрослись. Их почему-то не трогали.

Все трое прошли мимо могилы в лес. Разрыли и достали ящики с оружием. Опустевшую яму зарыли снова, притоптали землю. В лесу тишина. Только слышалось тяжелое дыхание уставших людей. Почти бесшумно они закидали ящики хворостом.

— Их сегодня же ночью с Кузьмой на лодке надо отправить.

Вернувшись в кузницу, сели, отдыхая. Когда Кланверис поднялся, старый Пискунов мягко спросил:

— Ночуешь, может?

— Не могу. Опасно, да и товарищи ждут.

Осторожно выглянув за дверь кузницы, Кланверис кивнул им, скользнул в лесок.

Одиночество Пискуновых кончилось: с ними была их кузница, их дело, в котором они знали все. Удары молота весело отбивали:

— Будет жизнь. Будет счастье.

7

Зимой Кришанины прибили к стене кусок линолеума, взятый еще из Питера. Ровно в восемь часов утра в избе раздавался ровный голос «учительницы». Сережа знал, что это уже не мама, а учительница, строгая и взыскательная. Она не позволит болтать, не разрешит выбегать во время урока на улицу. После каждых сорока пяти минут — перемена. Тогда Сережа мог пойти во двор, хоть это и нелегко: бушевали метели, дверь в сени заметало так, что открыть ее можно было с трудом. Бывало, всей семьей начинали дверь откапывать, затем вывозить в коробках снег в огород. Сугробы высились наравне с крышами надворных построек.

Снова зазывали Сережу в избу, продолжать занятия. И так всю зиму. Только раз, в конце года, когда взрослые с утра произносили неизвестное Сереже имя адмирала Колчака, уроков не было совсем, Сережа мог целый день быть на улице. Но, как назло, сейчас ему этого не хотелось. Взрослые были озабочены.

Сережа прислушивался к их разговорам.

— План уничтожения Советской республики ясен...

— С востока — Колчак, с юга — Деникин, на Петроград идет Юденич. Мы за линией Восточного фронта. Отрезаны.

— Ленин же говорил, читал вчера тезисы... что надо взяться за работу по-революционному. И коммунисты, и профсоюз, и рабочие массы — все мобилизуются для борьбы с Колчаком...

На следующий день занятия возобновились. Сережа стал замечать, что отец и мать все чаще уходили теперь из дома. Возвращались возбужденные. И снова мальчик слушал взволнованные разговоры.

— Какую песню сегодня о Колчаке пели! — Сиплым, как бы отсыревшим голосом Константин Васильевич затянул:

Пики, пилы, топоры, они с ума меня свели.
Как ни гляну — везде рой, хоть собакой теперь вой.
По Иркуту, по Оби — везде видны пикари.
Послал пики я карать, от них стали умирать.
Страшна пика, как фугас, про то думал я не раз.
Пулеметы все отбиты, виноваты в этом пики.
Будь ты проклята, змея! Что же буду делать я?
Лягу спать — вижу во сне: пика движется ко мне.

Вы понимаете, что это значит? Это значит, что народ протестует! О Колчаке такие песни слагать,— значит, накопилось, вот-вот прорвется!

Наступил день, когда родители, уйдя из дома, не вернулись. Катерина Ивановна была спокойна, и отсутствие их мальчика не тревожило.

— Ты меня, Сереженька, теперь бабушкой зови, не тетей Катей. Зови — баба Катя, будто ты мой внучек.

— Понимаю.

— А про отца с матерью спрашивать кто тебя начнет, говори: сирота, мол, я.

Сергей был очень тих, сосредоточен, согласно кивал головой и на все отвечал одним словом:

— Понимаю.

Он бегал с Проской по улицам. Речь его стала груба. Раз он запел, лихо откинув голову:

Атаман у нас молоденький,
Не выдадим его.
Семеро в могилу лягем
За него за одного.

— Во-первых, не «лягем», а ляжем,— поправила его Катерина,— а во-вторых, где ты слышал эту песню?

— Большие парни на улице пели. Их к Верховному правителю России Колчаку в армию берут. Они и пели. Пьяные и с балалайкой. Забор один свалили и в лавке окна выбили.

Отряды мобилизованных шли и шли по селу. Одни уходили, другие приходили. Этому не было конца.

В дом к хозяину то и дело забегали солдаты. Катерина толкала Сережу в комнату и стояла у дверей, прислушиваясь к разговору во дворе.

— Шинель есть?

— Нет, какая шинель. Хворый я, не воюю.

— А у соседей есть?

— Поищите сами.

— Лошадь есть?

— Проел лошадку.

— На чем же ты пахать и молотить будешь?

— Ветер хлебушко обмолотит.

— А сани чьи?

— Мои.

— А упряжь сохранилась?

— Сохранилась...

— А ну, ребята, вывози сани. Да подождите вы! Упряжь заберите, сено с сарая... Сено, говорю, не забудьте!

Ругались солдаты: сани, нагруженные сеном, зацепились за столб у ворот.

И снова тихо во дворе. Вился и ложился на землю снег. Сереже все было интересно.

Проска бегала босиком по заснеженному двору: обуть ей было нечего. Стонал дымоход.

Стараясь развлечь Сережу, Катерина говорила:

— А ты бы почитал что-нибудь. У вас в Питере-то всякие книги были. Книги у вас люди брали читать. Я сама у вас взяла «Кому на Руси жить хорошо» — книжка такая.

Книги были и здесь, но Сережа, порывшись в них, отходил от полки: скучные, картинок нет.

— Неинтересно, знаю. Наши-то книги Вера спрятала. Какие «наши» книги и какие «не наши», Сергей не знал. Он забирался в постель, под одеяло.

Напротив стоял столярный станок. Стружки не было,

по запах ее остался. Мальчик вдыхал его и, тоскуя, плакал под одеялом.

— Ты дядю Петю своего помнишь? Брата твоего отца? — спросила раз Катерина и сама ответила: — Нет, где тебе помнить. Слушай, расскажу я тебе. О нем всяк знать должен. У нас, на Обуховском, все его помнят и любят. Хоть и мало он на воле ходил, все больше по тюрьмам. А когда появлялся, то всем нам учителем был. Чем больше ему мешали, тем ревнивее работал. Еще в третьем году он у нас кружком руководил. Искровский кружок. Мир для меня тогда был еще не шире ладони. Много он нам о Ленине рассказывал. Погиб твой дядя в заключении в двенадцатом году. Увели его на допрос из камеры вечером, а утром по тюрьме слух пустили, что Петр повесился.

Ветер фыркал над крышей, улетал, возвращался, катался перед окнами. Он пугал мальчика. И смерть дяди пугала.

— Никто из заключенных этому не поверил,— продолжала Катерина.— В тюрьме бог знает что поднялось, руки разбивали — в двери камер колотили.

Смерть Петра совпала еще с одним злом: на реке Лене тогда рабочих расстреляли.

Катерина, заметив, что мальчик испуган, заговорила о другом — о близкой весне, о вздувшихся реках, о зеленой траве.

Под убаюкивающий голос Сергей уснул, тихо посапывая.

Проснулся от вскрика Катерины.

Посреди комнаты стояла Саня в полушубке, в валенках. Прозрачное лицо ее отливало синевой. Она внесла такую струю мороза, что сначала показалось, будто в лампе потух огонь.

Она говорила:

— Не плачьте, тетя Катя.

— Да где же ты была?

— Не спрашивайте меня ни о чем...

Катерина вся как-то нахохлилась, села на скамью.

Она поняла: кого жизнь однажды прихлопнет, тот навсегда остается легко ранимым.

— А как же Иван? Как Тарас-то теперь? Ведь Тарас тебя разыскивать уехал.

— Не нашел... А вы, тетя Катя, поседели. Помните наш концерт? Парик так вам шел тогда. А теперь вот и

без парика... Своя седина. Вы тогда еще сказали: «Скоро свои седые вырастут». Верно.

Катерина продолжала допытываться:

— Убежала?

— Не до меня им.

И снова спросила Катерина, стараясь увидеть проблеск жизни на помертвевшем лице Сани:

— Как же Иван-то? Ведь любит он тебя...

Саня безучастно выслушала ее слова, в светлых глазах мелькнуло удивление: кому она нужна? Кто может ее любить? И существует ли любовь на свете в мире крови и слез?

— Может, расскажешь все? — попросила Катерина.

Саня, уставившись глазами куда-то в пространство, молчала.

Как, какими словами рассказать обо всем, что с ней случилось?

— Дня три назад я ушла,— сказала она только.— Караул не поставили около избушки, я и ушла... В лесу блуждала, боялась, что облаву за мной вышлют, тогда мне крышка... Они все могут. Башкой о сосну — и мозги на вершину!

Все — и огрубевшая речь, и остановившийся взгляд запавших блестящих глаз,— все в Сане пугало Катерину.

— На дядю Костю наткнулась в лесу. Стоит с ружьем и ворон считает, в сугробе утонул. Смотрит на меня. Стоит и смотрит. И я стою и смотрю. Так мы и стояли... молчали, смотрели друг на друга. Потом он тихо так сказал: «Саня?» Он мне и записку о работе дал, и адрес ваш указал... А говорил со мной все шепотом и все оглядывался...— И опять Саня вперила в одну точку глаза, боясь, что они выдадут ее невеселые думы. Она скрыла от Катерины, что Кришанин повел ее какими-то тропинками к дороге торопливо, словно уводя от чего-то. Она спросила его, где Иван, связаны ли они с партизанами, с партией. Он ни на что не ответил, заговорил о другом, избегая смотреть ей в глаза. Лицо его было жалостливо и растерянно.

Саня поняла, что лишилась его доверия. Это было жестоко и несправедливо. «Чужая!» — вилось в голове страшное слово.

Всего этого она Катерине не сказала. А та удивленно-радостно всхлопывала руками:

— Какое счастье, что ты на Костю напала! Вот хорошо-то! Наверное, он тогда в полевом карауле стоял...— И смолкла Катерина, поняла что-то и вспыхнула от жгучего стыда.

Саня виновато спросила:

— Выпить у тебя ничего нет, тетя Катя?

Та не поняла или не хотела понять:

— Самоварчик поставим.

— Нет... Я не о том. Может, самогончик.

Бледная сидела перед Саней Катерина Ивановна и молчала. Губы ее тряслись. По лицу катились слезы.

Сережа выскочил из-под овчин, бросился к учительнице на шею. Она погладила его щеки огрубевшей рукой, от которой почему-то пахло хвоей.

Глаза ее на миг влажно блеснули:

— Скоро учиться пойдешь, Сережа? Меня сторожихой школы назначили.

— Кто назначил? — недоверчиво спросила тетя Катя.

Саня указала глазами на мальчика и заговорила о другом.

— Жить буду при школе. К вам ходить не придется. Нельзя.— Саня закашлялась надрывно, сухо.— Много здесь этих архангелов?..

— Никого нет. Местные лютуют. А те вперед гонят, на Екатеринбург, на Пермь. Рыжов часто заходит, все спрашивает, где Кришанин.

Сережа снова забрался на постель. Ему было легко, тоска прошла. Саня вяло протянула:

— Рыжов? Ему говорить, где наш председатель, не следует.

— Я и не сказала.

Сережа уснул теперь уже до утра. Проснулся от грустных слов тети Кати:

— Не последний ли денек нам рассвел?

Теперь Катерина с Сережей иногда ходили в школу к Сане.

— Поможем ей печи топить. Больная она... не под силу ей.

С ними увязывалась и Проска. Саня всякий раз, увидя их, ворчала:

— Тетя Катя, я вас просила... не ходите ко мне. Опасно для вас на улице. Пусть дети одни приходят.

Дома тоскливо. Сережа все прислушивался, не брякнет ли скоба у сенных дверей, не придет ли Проска.

Скоба неизменно каждый вечер брякала. Проска, как всегда, долго шарила руками в сенях, отыскивала дверь. Дверь, обросшая в углах куржаком, отворялась, скрипела. В избу вползали клубы белого холода и тут же таяли, скрывались за печью.

— Тетенька Катерина, отпусти Сережку школу топить,— раздавался с порога тоненький голосок Проски.

Сережа сжимался, ожидая: бабе Кате скучно оставаться одной в пустой избе. Она долго жевала сухими губами, думала. На этот раз, поймав жадный взгляд мальчика, медленно выдавила:

— Пусть идет...

Весело бежать по заснеженным тропам. Метель залепляет косматыми хлопьями окна, вдоль улицы косо гонит мокрый снег. Ноги тонут в пышных свежих сугробах. Сережа потерял материн подшитый валенок. Вместе с Проской, шаря голыми руками в снегу, они наконец выгребли его. Нога хлюпала в растаявшем снегу, мерзла. Сережа не жаловался, зная, что ступня скоро будет гореть.

Тучи обложили небо. Казалось, они вот-вот рухнут и тогда белая пышная дорога станет черной.

Школа стояла на отшибе, за селом. Широкое кирпичное здание обнесено большой просторной оградой. Ели, закутанные в снежные шубы, обступили его, качались сосны. С них падали сухие, как мячики, шишки, буравили снег.

У входа в школу — поленница дров.

Детей встретила Саня, одетая как старуха. Даже голова обмотана черным платком. Глаза блестели лихорадочно.

— Помощники пришли? Руки-то застыли... как гусиные лапы...— Быстро она ввела детей в сторожку, усадила на узкую кровать, застланную лоскутным одеялом. Притянула гостей к себе и начала мять красные детские ладони, дула на них, отогревая. Они сварили картошку и ели ее без хлеба, макая в крупную серую соль на розовом блюдце.

Потом оделись, выбежали во двор: нужно было наносить дров.

Печи выходили в большой зал с некрашеным полом,

Дрова разгорались, потрескивали. Зал наполнялся мерцающим светом. Саня шуровала кочергой в огне, подбирала пальцами выпавшие угли, бросала их обратно. Это ребят больше всего удивляло.

— Холода стоят... На степи снеговица,— говорила она.— Придут ребятишки утром со всех деревень, закоченеют, а тут, пожалуйста, тёплынь...

Стены школы тоже начинали тихо потрескивать. Дети мыли в классах доски, вытирали пыль с парт. Саня мокрым пихтовым помелом обметала углы. На стенах висели буквы на белом картоне в клетках. Саня, указывая на них черенком помела, говорила Проске:

— Это вот буква «А».

— «Е»-то как сдобная витушка. Мама такие пекла,— догадалась вдруг Проска. Незаметно для себя она выучила все буквы.

В зале, в простенках меж огромными сводчатыми окнами, висел портрет адмирала Колчака. От огней в печах по нему бегали красные блики. Волосы то вспыхивали золотом, то заливались багровой тенью и, казалось, сползали и падали.

Затопив печи, Саня бросала к одной из них овчину. Все трое усаживались на мех. Сторожиха начинала сказку про бабу-ягу и про лешего, про Иванушку-дурачка и царь-девицу.

За помутневшими окнами мело, шумели сосны, дрожали и стонали стены школы, в печах свистело пламя. Дети жались друг к другу, пугливо озирались. Казалось, сейчас выскочит из класса баба-яга в ступе и закружит под высокими сводами зала, завизжит поросенком, зарычит медведем.

Веселость навсегда покинула Саню. Ее словно побило морозом. Вперив глаза в одну точку, она неожиданно смолкала. Взгляд ее наливался ненавистью. Ребята боялись ее.

Она куталась в черную шаль, много и жадно курила и все покашливала, поднося ко рту белый платок.

Только раз дети увидели ее веселой. Глаза ее светились радостью, будто кто-то добрый шепнул ей ласковое слово. Она без умолку говорила о чем-то, обнимала детей, волнуясь, говорила:

— Вспомнили меня наши... Теперь я оживу... Вспомнили... И нету больше черной ягоды — черемухи...

Ребята, пе понимая ее, переглядывались.

Теперь Саня часто выносила к печке книгу, читала про себя, что-то отчеркивая.

Раз из книги выпал листок папиросной бумаги, сложенный вчетверо.

Саня не заметила, продолжала читать. Затем ушла. Сережа развернул листок, силясь разобрать тускло напечатанные на машинке слова:

«Дорогие товарищи, ваши записки, посланные с Комарцем, получил. Мы ни на минуту не забываем о вас, посылали неоднократно деньги — мало, не по нашей вине. Теперь решили создать специальное Сибирское бюро ЦК из пяти человек. Принимаем сейчас меры к постановке прочной связи с вами.

Внутренне мы крепче, чем когда-либо. Возможны временные неудачи, но значения они не могут иметь. Мы победим. Установим прочную связь, и работа пойдет полным ходом. Привет всем вам от всех нас. Я. Свердлов».

Внизу Саня приписала:

«Ленин обратился к башкирским полкам, призвал выступить вместе против Колчака. Кроме того, в «пятке» сообщают, что Яков Свердлов умер».

Сережа снова свернул листок.

— Что ты прочитал? О чем это? — допытывалась Проска.

— Да так... ни о чем... Саня записала свои расходы, понимаешь? За хлеб заплатила, за картошку... Понимаешь?

Он отнес листок в сторожку, положил перед Саней и сказал сурово:

— Такие вещи не теряют...

Саня покорно ответила:

— Спасибо, Сережа...

Она записала детей в школу. У Сережи в классе висела икона богородицы. Начальница школы — Мария Александровна Старицына с узеньким лбом, пышной прической и расчетливыми самолюбивыми движениями. Шаги мелкие, неверные, будто каждый из них последний.

Она оглядывала учеников на уроке недоверчивыми узкими глазами, нацеливалась на одного и не отпускала его весь день. Чаще всего она так «нацеливалась» на Сережу:

— Ну, ты, большевик, отвечай!

Ученик должен был, поднявшись, перекреститься и трижды поклониться иконе. После этого отвечать.

Сережа молиться не желал. Он знал урок, но упрямо молчал. Было обидно, что ученики шушукаются, смеются. Он называл учительницу «Машеней», жаловался на нее Сане; та успокаивала его:

— Подожди, милый, скоро... скоро.

И Машеня часто говорила:

— Подождите, вот скоро...— Она тоже чего-то ждала. Голос ее звучал угрожающе.

По знаку заведующей весь класс срывался в прихожую; дети натягивали полушубки, шапки и по короткой лестнице — прямо в снег. Сугробы закипали: ученики кружились, заваливали друг друга снегом и весело-звонко кричали.

9

Тоненькая, подвижная, со светлыми волосами, с четкими чертами красивого лица, Саня все время менялась. То ее глаза вспыхивали жизнью, энергией, то потухали, мрачнели. В этот день она была оживлена, подметала классы, шумно стучала крышками парт. Потом запела громко. Ребята следили за ней из-за косяка. Увидя Сережу, она поманила его к себе, прижала к груди, начала целовать, както неестественно всхлипывая, заговорила:

— Ты домой и сегодня опять не уходи: время тревожное — бои кругом.— Отведя от мальчика вспыхнувшие глаза, продолжала:— Кто-то у беляков поезд под откос спустил. Теперь они совсем озверели. Да и нужда, наверное, у бабушки. Не ходи! — Саня заплакала. Он нее пахло самогоном. Сережа отпрянул, кинулся к выходу.

Он не был дома две недели и представлял, как войдет, как радостно бросится ему навстречу баба Катя. Сережа прочитает ей сказку про сироту. И не пойдет больше в школу к непонятной и порой страшной Сане.

Окна школы блестели изморозью. Сережа вышел во двор. На него пахнуло снежной пылью. Свисал снег с лапчатых пихтовых веток, будто пена, высился грудами по сторонам дороги.

Сережа то бежал, скользя по колеям, то ехал на задубевших валенках, как на санках, то дул на озябшие руки.

Издали увидел он избу, ушедшую по окна в снег, конек крыши, украшенный снопом ярких гроздьев рябины,

Баба Катя его не встречала. В распахнутые двери сеней намело снег. Постель была расшвыряна по избе, стол перевернут. Видно, баба Катя недавно стирала. Корыто валялось на полу, вода разлита, мыльная пена застыла, в корзине смерзлась куча белья. У стен валялись замерзшие тараканы. Сережа долго стоял у порога.

— Может, она тараканов морозит... Вишь сколько их понападало.— Не снимая шубенки, Сережа вымел голиком за порог мертвых тараканов и направился за дровами.

К поленнице намело сугробы. Мальчик прорыл лопатой, которая стояла в сенях, дорожку, натаскал дрова.

— Придет баба Катя, а в избе тепло!

В печурке нашлись спички. Сережа умело поджег бересту. Дрова зашипели, затрещали.

Пока грелась вода, он секачом отскреб с пола лед, белую застывшую мыльную пену и вымел тонкие льдинки из избы.

На стеклах растаяла пальмовая изморозь, поползла тонкими струйками. От пола пошел парок. Баба Катя не приходила.

Дрова прогорели. В избе стало тепло, темно и страшно. Сережа закрыл трубу, забился на печь да там на кошме и остался, прислушиваясь к посвисту метели.

Утром, так и не дождавшись Катерины, Сережа истопил печь, нагрел воды и перестирал оттаявшую кучу белья. Белье было чужое. Понял: баба Катя этим зарабатывала на хлеб. Он знал, что нужно делать: прополоскать белье в реке. Прорубь, загороженная ветками пихты от ветров, зеленела тихой водой. Белье он сразу не отжимал, укладывал в корзину и, только придя домой, отжал над корытом, развесил на веревке, растянув ее по избе. Сережа все сделал точно и верно, не переставая думать о бабе Кате.

Заскрипел снег под ногами. Кто-то вошел в сени. Радость подхватила мальчика, бросила к двери.

— Баба Катя!

В избу вошла Настя. Помолясь на темную икону, печально произнесла:

— Вижу, словно Сережа на реку полоскать рубахи бегал. Надо, думаю, узнать. Здравствуй-ка!

Голос ее был тих и срывался. Это встревожило Сергея.

— Здравствуйте, тетя Настя! — отозвался он и, пятясь, отошел к печке, прижав к груди маленькие кулачки.

Настя рухнула на лавку, долго перебирала концы суконного серого платка, наконец шепотом заговорила:

— Домовод же ты... У вас ведь две недели и дыму из трубы нет... Бабу-то... знаешь...— помедлив, громко вздохнула,— в каталажку утащили...

— Кто?

— Эти... хранители-то России. Бьют ее там... От жалости сердце ломит... Я вся жалостью изболела.

Лицо Насти враз стало мокрым. Она закрыла его концами платка.

Сережа вдруг ослаб, ноги перестали держать, и он медленно повалился на пол.

Настя, всхлипнув, произнесла:

— Сабли-то у них как змеи. У нас сани увезли, упряжь — не подавились. Мой-то вместе с сыном прячется. Боязно глаза открыть.

Очнулся Сережа на кровати под одеялом. Хозяйка сидела около него и приговаривала:

— А ты повой, повой, легче душе будет.

Сережа не выл. Он заметил, что лицо у тети Насти доброе-предоброе. Мелкие слезы одна за другой выбегали из глаз на дряблые щеки, скатывались на грудь.

Мальчик проговорил:

— А мы с Проской в школе стихи учили и песни.

Настя кивала головой, а слезы все стекали у нее на грудь.

— За твоих ее бьют,— пролепетала она.

Сережа торопливо поднялся, полез на печь и сбросил оттуда валенки.

— Куда ты?

— Где она сидит?

— В волости, в амбаре. Старая-то каталажка полнехонька. Теперь в амбар людей толкают. Пойдешь?

Сережа кивнул. Накинул шубейку. Ему хорошо был знаком крутой косогор и дорога к волости. Там ребята катаются на санках.

Снег был лучистый, на нем виднелись следы вороньих лап. На горе стояла береза с узловатыми ветками. Около нее собака жадно лизала снег.

У волости казак в лохматой белой папахе с ружьем постукивал ногой об ногу в красных расписных валенках.

«Как журавль на болоте»,— подумал мальчик, направляясь к амбару.

— Куда? — простуженно крикнул казак.
— К тебе,— отозвался Сережа.
— Убирайся отсюда, больно прыток: тут политические.
— Дяденька, миленький, баба Катя там стынет... Хоть голос бы ей подать...

Казак оглянулся. К дому приближались какие-то люди. Закричал громко:

— Убирайся, говорю. «Баба Катя стынет»! Пусть твоя баба Катя на холодке проветрится, подумает.

Сережа спустился к реке и стал карабкаться в гору с другой стороны, обдирая о наст ладони. Ему казалось, что взбирается он очень долго и именно в эти минуты с бабой Катей сделают что-то страшное. Наконец перемахнул через забор и, приминая снег, подкрался к задней стене амбара. Прислушался. Ветер шипел и сыпал снегом с крыш. В амбаре тихо, словно там было пусто. Совсем близко раздался скрип снега под ногами часового.

Переждав, пока шаги не стихли в отдалении, Сережа припал лицом к холодным бревнам амбара.

— Баба... баба Катя!

За стеной послышался шепот. Кто-то шарил по стене руками. Может быть, вот тут, совсем близко, сидит она. Только проклятая стена мешает погладить седые редкие на висках волосы.

— Чью бабу-то надо? — приглушенно спросил молодой чистый голос.— Мы тут все чьи-нибудь бабы...

Шаги часового снова приближались. Мальчик припал к сугробу и затих. Что-то беспокоило его. Какой-то громкий шум сковал движение. Тук-тук! — отбивало совсем рядом. Пересохло во рту. Сережа лизнул снег и подумал: «Как собака под березой».

Снег во рту быстро таял, мальчик набирал его раз за разом, глотал холодное обжигающее месиво. И вдруг понял: стучало его сердце.

Шаги казака смолкли. Снова мальчик приблизил лицо к стене.

— Катерину Важенину мне. Сережа я.

И сразу же услышал громкий стон и шорох. Рядом заговорила Катерина:

— Сереженька... ты ничего... Ты за меня не бойся.

Только сейчас Сереже захотелось зареветь громко, на всю землю. Он кусал губы, около него в снег падали слезы, острые как буравчики.

— В школу пока не ходи,— продолжала Катерина тверже.— Сиди дома. Хлеб тебе принесут. Каждую минуту в избе сиди. Наших ищут. А вдруг отец с матерью и придут. Ты им прикажи хорониться, а то... спаси бог. Уж если так за них бьют, значит, они где-то здесь...

— Сильно бьют, баба Катя?

— Не-ет... Так, вичками каждый день погреют, боятся, что мы тут замерзнем, ну и беспокоятся...

Чей-то простуженный голос прозвучал рядом:

— Ты елею принеси... смазываться.

В амбаре кто-то тихонько рассмеялся.

— Я, баба Катя, стирку провернул, тараканов сморил, ты не думай. Дома буду сидеть, дел-то много... Гладить вот...

От стены амбара Сережу отшвырнула в снег нога в красном валенке.

— Ты еще не ушел? — закричал казак.

Сережа метнулся к забору, но утонул в сугробе.

— Замерзай тут!

Сережа замерзать не собирался: не впервой ему лазать по сугробам.

Схохотнув, казак спросил:

— И как же твоя бабка поживает? Какие новости говорит?

— Я не за новостями бегал. Новости сам собирай! — обрезал мальчик.— Помогай, чего глаза пялишь? — сказал он сердито. И казак подал ему винтовку, прикладом вперед. Озябшие руки не держали, гладкий приклад вырывался. Но все-таки мальчик выкарабкался из снега и, отряхая одежду, крикнул: — Я жив, за меня не бойся, елею тебе принесу!

Короток зимний день. Уже смеркалось, когда Сережа возвращался домой. И если бы не так быстро вечерело, Сережа дольше был бы на улице. В пустую избу входить не хотелось.

Собака все еще лизала снег на горе. Промерзшие ветки березы ломались и падали, позванивая. Сережа, не понимая сам отчего, снова сладко, со всхлипом заплакал.

Катерины не было еще два дня. Мальчик успел высушить и проутюжить белье. Настя принесла пузырек елею, но из дома выйти Сережа не решался. По утрам он находил в сенях большой ломоть замерзшего хлеба и чашку тоже замерзшего молока. Ел, неизменно забирался на печь и

ждал: вот стукнет калитка, в избу войдет мать. И он скажет: «Беги. А то и тебя бить будут!»

И вот стукнула калитка, послышались неверные шаги. Вот и дверь нашли сразу, не шаря по стенам, открыли и через порог в избу повалилась Катерина да так и осталась лежать без движения.

Сережа спустился с печи. У приступка упал, пополз, втянул женщину в избу, с трудом перевернул на спину, развязал и спустил с головы шаль.

Повизгивая, начал ощупывать ее руки и плечи. Женщина открыла глаза и чуть улыбнулась.

— Помоги,— скорее понял по движению искусанных и распухших губ, чем услышал мальчик.

С трудом они поползли. Катерина прислонилась спиной к очагу.

— Избили... барская потеха,— еле выговаривая слова, произнесла она.

Сережа снял с нее куртку, стянул ботинки, подложил под спину подушку. Затем взял с божницы пузырек и начал смазывать елеем багровые руки.

Катерину била дрожь.

Сережа осторожно напоил ее горячим чаем. Она несколько оживилась.

— Я им все высказала... «Нету, говорю, у меня погребов да чуланов, негде мне большевиков прятать. Избушка на курьих ножках чужая». А они кричат: «Отрекись от них!»

Сереже стало страшно, так неспокойно, отрывисто и хрипло прозвучал ее смех.

Катерина приподнялась, молча взглянула на икону. Глаза казались белыми от гнева.

— Отрекись, говорят! Да как же их в сердце не держать! Дело растет, и сердце растет. Не отрекаюсь! Нет, господи! — Она попыталась улыбнуться и показалась очень беспомощной.— Я живу, ем, дышу. И у меня есть руки...— Она пощупала дряблые мускулы на своих огромных руках.— Я еще послужу делу.

Уже без помощи Сережи Катерина добрела до кровати, припала к подушкам.

— Морок напал...

И то, что она произнесла слово, которое он слышал от Анны Полозковой, чем-то успокоило Сережу. Он задул

лампу. В темноте слышно стало, как на улице всхлипывала пурга да в избе прерывисто шептала Катерина.

— Все я теперь знаю. Колчак почти до Волги-реки дошел. Города жжет, деревни золой засыпает. А под Пермью наши... Совет обороны людей собирает... Помоги, господи...

Сережа, лежа рядом, гладил Катерину по голове, по груди, по впалым морщинистым щекам:

— Спи... Я тебе сказку расскажу... В некотором царстве да в некотором государстве, именно в том, в котором мы живем, жили да были старик со старухой...

10

Как-то утром Катерина разбудила Сережу ласковым воркованьем:

— Вставай-ка, Сереженька... Скворцы к тебе прилетели, иди, принимай...

Сережа вскочил, быстро оделся, схватив сумку, побежал в школу.

И верно, на каждом голом дереве качались и свистели на все лады птицы. Обледенелые ветви деревьев размокли, с них капала вода. Соломенные крыши украшали блестящие рубчатые сосульки.

По утрам стояли морозы, лужицы подергивались тонким слоем хрустящего льда. В оврагах лежал снег, покрытый кучами навоза.

В школе все по-прежнему. Только Машеня была необычно ласкова.

— Вот нам сейчас Сереженька решит пример,— сказала она.

Мальчик вышел вперед, но отвечать не мог. От ласкового тона учительницы сердце подскочило, горло сдавило клешней.

Класс притих.

— Опять будет кол,— участливо прошептали сзади.

Однако Машеня поставила Сереже пятерку.

«Что-то случилось, наверное. Вишь какая добрая стала: языком-то змею из норы выманит».

Что случилось, поняли вечером. Когда затопили печи, в школу неожиданно вернулась начальница. Торопливо сбросив шубку и положив ее на окно, приказала:

— Принесите из сторожки лесенку, дети.

Они принесли в зал лесенку. Машеня влезла на ней к портрету адмирала в простенке и начала снимать его.

Из сторожки выбежала Саня.

— Зачем вы снимаете портрет?

Старицына резко обернулась, впилась в Саню глазами. Зрачки ее сжались. Ненависть оживила холодное лицо:

— Красные партизаны район взяли... Теперь Ленина надо в простенок...

— Оставьте. Не вашими руками это делать...

Машеня медленно спустилась с лестницы.

— Значит, ты хочешь сохранить в школе Колчака?

Саня оглянулась на присмиревших детей.

— Пойдите в сторожку,— распорядилась она.

В окно из сторожки ученики увидели, как Машеня выскочила из школы и, торопливо скользя по тропе, помчалась со двора. Бархатная, опушенная белкой шубка была не застегнута, меховая шапка съехала на затылок.

Проска, кривляясь, запела:

На ней шубка лисья,
Шапочка с пером...
На ней шубка — в триста,
Шапочка — в пятьсот...

Дороги с каждым днем все больше чернели. Завалины оттаивали. В каждом дворе раздавались рев коров, тревожное блеянье овец,— животные просились на волю. Серый дым стлался в низинах. Наплывал запах гари, и пугали всех глухие раскаты орудийной пальбы. Шли бои то дальше, то ближе. Дети в перемены во двор не выходили.

Район несколько раз переходил из рук в руки. Дети догадывались об этом по поведению Машени: если в простенке появлялся портрет Колчака, властвовали колчаковцы. Когда гул орудий откатывался от села, школьники выбегали на улицу.

На деревьях как-то неожиданно вскипела листва, пихты и елки сверкали молодой хвоей.

Горели села. Толпы беженцев шли и шли мимо школы. Тянулись обозы. На телегах навалены сундуки, самовары, узлы. Крестились женщины, глядя на церковь испуганными глазами, успокаивали детей, которые громко ревели, сидя на узлах. Возле возов тяжело шагали мужики, подгоняя усталых лошадей. Прошлогодняя трава сухо шуршала под ногами.

Школьники, перекинувшись через забор, глядели на печальную вереницу обозов.

Часто к ребятам во двор выходила в перемену Машеня.

Саня держала Проску и Сергея в сторожке. В открытое окно со двора слышался голос Старицыной:

— Дети, слушайте, дети...

Проска следила за начальницей из окна и шептала:

— Машеня-то довольнешенькая! Идет вперевалочку, и руки на пояске.

Сережа злился.

— И что ты, Саня, нас не отпускаешь?

— Так надо.

Однако мальчик вышел раз на широкий солнечный двор. И сразу же из толпы парнишек раздался голос:

— Ребя-а! Большевик выкатился, настоящий! Лупи его!

Мальчик увидел, что Машеня отошла к высокому забору и наклонилась, как бы снимая щепкой грязь с калош. Сосновые шишки градом посыпались на голову Сергея, на плечи, на грудь. Расщепленные, острые, били больно, сухо отскакивали. А ребята все кричали и метили в лицо колючими шишками.

— А-а, большевик!

По лбу потекла кровь. Сережа спрятал лицо в ладони и без слов всхлипывал, прижавшись к кирпичной стене школы.

Из сторожки выскочила Саня, платок ее хомутом съехал на шею, волосы подхватил ветер и расшвырял по плечам. Подняв помело над головой, она ринулась в гущу ребят, что-то бессвязно выкрикивая.

Подталкивая Сергея в сторожку, она руками хваталась за стенку и бесшумно шевелила синими губами. Сережа увидел ее огромные, злые глаза и заплакал.

Сергея вымыли. Лицо и руки горели, как после ожогов.

Проска говорила:

— Все твой отец... какой-то большевик выискался, а тебя за него бьют.

— Ничего,— успокаивала Саня.— Теперь уж недолго осталось.

Из белых бинтов на Саню глядели скорбные недетские глаза. Она, подумав, сказала:

— Шел бы, Сереженька, домой. Заколотят тебя здесь.

Сергей ответил, еле раздвигая распухшие губы:

— Нет, пе буду пугать бабу Катю.

Проска неожиданно заплакала:

— Мне теперь и играть не с кем. Ты как большой.

Сергей пе понял, промолчал. Заслышав звон шпор и мужские голоса, он размотал с головы бинты и, не объясняя ничего Сане, вышел из сторожки.

В углу зала тихо сидели солдаты, похожие друг на друга, опустив к полу медные трубы. Возле стоял огромный барабан.

Красивые девушки в белых платьях шептались у окна. У холодной печи курили офицеры. В Сережин класс солдаты вносили ящики с бутылками, посуду и какие-то коробки. В одном углу офицеры играли в карты. В другом скучно тянули:

Коль славен наш господь в Сионе...

Офицер с черными усиками и крючковатым носом ходил по залу журавлиным шагом, как бы переступая через лужи, вилял бедрами и отдавал распоряжения надломленным голосом:

— Стойка будет здесь... Пожалуйста, стойка здесь,— и первый опрокинул в рот полный стакан розового вина.

Из темноты класса выскочила Машеня со сбившейся прической, застегивая на ходу белую кофточку. За ней — высокий распорядитель вечера с черными усиками.

Распорядитель подскочил к солдатам, что-то крикнул, и шум заглушили звуки оркестра и нестройный мужской хор:

Ах, шарабан мой, шарабан,
Денег не будет, тебя продам...

Саня, впустив Сережу в сторожку, закрыла на крючок дверь и с ненавистью проговорила:

— Вишь ведь, распелись... А вы, ребята, не откликайтесь, если стучать будут... Сегодня нам придется прятаться...

Дети кивали головами, соглашались. Саня подумала: «Борьба. Даже неразумные понимают это...»

Вспомнился Ян.

«Говорил он мне: «Сама-то ты — чистый родничок... Замутить тебя боязно...» Вот, Янушка дорогой, и замутили... не побоялись...»

Слезы, вот они здесь, у самого горла. Слезы спаситель-

ные... Чтобы они все-таки вылились наконец, Саня разжигала себя воспоминаниями. Но они ушли куда-то, благодатные слезы. Она сидела у окна, сжав зубы, окаменелая и внешне равнодушная ко всему.

11

Весной и летом девятнадцатого года на Алтае бесчинствовала колчаковская власть. Горстка колчаковцев и местные заправилы пьянствовали, пугали население бесшабашными песнями и разгулом, иногда налетали на дома, где были молодые парни, силой угоняли их на фронт.

В августе начались восстания крестьян, которыми руководила подпольная большевистская организация. Формировались вооруженные отряды. Создалась партизанская Красная Армия и главный штаб Алтайского округа.

Вера Кришанина пробиралась в село для связи, забегала повидать сына, взять из запасов коммуны медикаментов и вымыться в бане.

На этот раз они встретились спокойно, без выражения буйной радости. Сережа обнял мать и оглянулся на дверь, на окна. Тихо, почти шепотом, спросил:

— Позвать Саню?

Мать кивнула. Мальчик бесшумно оделся и вышел из избы.

Катерина поставила самовар, угощала Веру Степановну чаем с сахарином. Обе, поглядывая друг на друга блестящими глазами, обменивались новостями.

— Антанта нападает открыто,—рассказывала Вера.— Окружили страну кольцом. Голод и разруха. Колчак, Деникин, Юденич. Красной Армии, а значит и нам, приказывается отвечать на это сильными ударами. Но в ЦК тревожатся, боятся за нас. Стараются предотвратить лишние осложнения.

— Плохо мы вооружены,— вставила Катерина.

— Надо быть теснее с населением. Помнишь, Ильич в марте сказал, что впервые армия строится на неразрывной слитности с Советами. Мыслью и сердцем он с нами!

Связь с коммунарами по всем деревням была налажена. Пискуновы присылали пики и сабли, одну партию за другой.

Катерина не выдержала, достала из валенка, заброшенного на печь, знамя коммуны, развернула его.

Обе растроганно смотрели на блестящий кумач, когда вошла Саня.

Вера Степановна, впервые увидев Саню, обняла ее и долго молча смотрела в глаза. Потом начала целовать бледное лицо девушки.

Та простонала:

— Не надо, Вера Степановна. Нет у меня ни радости, ни слез. Все пересохло. Ненависть только осталась.

— Иван-то радуется, что ты нашлась. Собирается к тебе, да подготовка к восстанию... Некогда...

Саня пробормотала:

— Ни к чему теперь мне все это... Запишите песню. Партизаны должны выучить ее, чтобы по всем деревням, по всем дорогам она звенела.

Саня запела:

Ты силой на службу военную взят,
Тоскуешь с родными в разлуке,
И деспот наш общий — кровавый Колчак —
В крови обагрил свои руки...

Синие глаза ее потемнели от ненависти. С болью и страстью она выводила:

Приди к нам, товарищ, мы встретим тебя,
Как брата, как сына родного.
И вместе разрушим мы гнет Колчака
Во имя девиза святого.

Было страшно слышать, как Саня поет: строго и угрожающе. Сережа спрятал лицо в коленях матери. Он не отходил от нее, без умолку говорил:

— Хочется мне в коммуну. Сейчас там знаешь, как хорошо! Птичьих гнезд, рыбы много... Аркадий с Мишкой одни всю рыбу выудят и всех птиц пересмотрят.

— Подожди. У тебя будет еще не одна весна и не одно лето. И в будущую весну прилетят птицы. Расколышут воздух. А в кусты снова набьются светлячки...— обещала мать.

Саня ушла.

Сергей задремал, уронив голову на колени матери. Вера не шевелилась, боясь его потревожить.

— От старшего-то ничего нет? — тихонько спросила Катерина.

Вера Степановна, перебирая волосы сына, отрицательно покачала головой: нет, от Геннадия вестей не было.

В избу вошел фельдшер Рыжов, подпрыгивая на длинных ногах. Кришанина обрадовалась, увидя коммунара, кивком головы указала на табурет около себя.

Когда тот присел, зашептала:

— Рассказывай, как живешь? Все в Никольском?

— Да живу по-всякому! — отмахнулся тот. Острый его нос покраснел. Мелкие черты лица стали резче.— Ты как? Все здесь?

Вера Степановна хотела рассказать о жизни в партизанском отряде, о своих, но последний вопрос Рыжова ее насторожил: если он спрашивает, где живет она, значит, ничего не знает об отряде. Она кивнула.

— Долго мы будем так прозябать? А что в столице делается? Где Ленин? Почему нас не выручают? — забрасывал Веру вопросами Рыжов.

— Ничего не знаю.— Кришанина испугалась собственной настороженности: «Свой своего боится. До чего мы дошли?» И тут же подумала о Рыжове: «Ничтожные безжалостны».

Рыжов подошел к шкафчику с медикаментами.

— Сохранила нашу аптеку? — изумленно-радостно воскликнул он.— А остальные лекарства целы? Дай-ка мне немного лекарств. У нас в селе сыпняк гуляет. А лечить нечем.

Ей не хотелось давать ему лекарства: в них большая нужда в отряде. И снова она пристыдила себя: «До чего дошла. Если ты не делаешь добра по влечению, делай его, чтобы не сотворить зла,—вспомнила Вера чьи-то слова.— Наверное, за каждую микстуру будет Рыжов брать с крестьян и сырым и вареным. Такие дела водились за ним и в коммуне».

Тихо уложила она сына в постель. Катерина все время делала ей предостерегающие знаки, но Вера Степановна не замечала их, подошла к шкафу.

— Кто здесь из наших? — настойчиво продолжал расспрашивать Рыжов.

— Не знаю, никого не вижу, никуда не хожу. Все живут замкнуто.

— Да, да... Такое время... А Константин Васильевич где?

«Не знает! Ничего не знает!» — почему-то радуясь, думала Вера Степановна.

12

Назначенный день восстания приближался. Работы было много.

Кришанины пришли домой оба еще раз в сентябре. Он — чтобы увидеться с товарищем из укома, которого Семипалатинск выслал для руководства восстанием, она — за лекарствами для отряда.

Сын спал. Оба в темноте постояли над ним, не желая будить. А так хотелось потрепать кудрявые волосы, заглянуть в пытливые глаза.

Выполз откуда-то Серафим. Его матовая бородка стала белой.

— Как там? — спросил он, обращаясь к Кришанину.— Сопротивляются?

— Сопротивляются,— коротко ответил Кришанин.

Вера Степановна подхватила:

— Их сопротивление — одна судорога. Народ к нам идет.

— Недобиток, значит, Колчак-то... Мы вот с сыном к вам собирались, под зеленую шапку... Как вы на это? — Заметив веселый блеск глаз собеседника, с достоинством заметил: — У нас два дробовика есть. За себя повоевать надо, чтобы в последний раз... Добить и про войну позабыть...

— Из-за того и воюем, что воевать надоело,— бросил Кришанин.— Иди собирайся, мы здесь не задержимся...

Серафим суетливо убежал.

В ворота дробно и властно застучали. Через минуту колотили в окна и в сени, видимо, проникли уже во двор. Раньше так стучали, когда приходили к Кришаниной от больных. Катерина зажгла лампу, открыла дверь.

В избу вошли Щербаков, Ефим Беляков, Прохор Вислов и Рыжов.

Фельдшер, избегая смотреть на Кришаниных, оглядел аптеку и заявил:

— Из Питера мы везли больше...

Вера Степановна, потрясенная, молчала.

— Где лекарства? — приступил к ней Щербаков.

— Я здесь лечу многих... Пользую и лекарства...

— Забрать!

Порошки, флаконы с микстурой, ампулы, бинты и вату — все Прохор ссыпал в мешки.

Кришанину Щербаков приказал:
— Одевайся!
Вера Степановна побледнела. Обнимая мужа, сунула ему в руку какую-то ампулу и прошептала:
— Если будет очень плохо... очень плохо...
Кришанина повели. Вера Степановна посмотрела вслед мужу, перевела взгляд на Рыжова.
Тот был бледен. В углах рта легли скорбные складки. На прощание не кивнул, не улыбнулся.
— Неужели... неужели...— У нее похолодела спина, потом ее обдало жаром.
— Опомнись, Веруша... Подожди плохое думать...— утешала Екатерина.— Может, принудили...
Та оцепенело смотрела в сторону. Подозрение, что Рыжов предатель, ошеломило. Тело онемело, было посторонним, не принадлежало ей.
«Надо быть скупым в своем горе. Надо быть скупым!»
Вера Степановна медленно подняла голову. Словно стягивая слова с губ, произнесла:
— Нет, Катя, никто не знает, какую аптеку мы везли из Питера; по принуждению Рыжов мог этого и не говорить.
...Кришанин в немом отчаянии глядел на небо. Предутренние звезды бледнели. Он думал о том же, о чем думала и Вера Степановна: «Неужели Рыжов предатель?»
Мелькали обрывистые мысли:
«Что фельдшер может еще знать? Известно ли ему, что мы прятали оружие? Нет, не может быть. Но что винтовки есть, известно... Кто еще арестован? Неужели и Пискунов провалился? Нашли в кузнице пики или Кузьма успел все переправить сюда?»
Хотелось обернуться, посмотреть на Рыжова. Тот ехал сзади на бричке, охраняя мешки с лекарствами.
Вера — хороший товарищ. Облегчала ему жизнь. Теперь старается облегчить и смерть. Незаметно Константин сунул ампулу с ядом в карман. «При обыске перепрячу. Когда будет трудно... очень трудно...»
Его с силой втолкнули в какой-то сарай. Он споткнулся о чьи-то ноги, упал.
— Кто здесь? — спросил он.
В ответ простонали.
Спички остались при нем. Зажигая их, увидел, что

весь сарай забит людьми. Разглядывая лица арестованных, ужаснулся: Кланверис. Он, как и Кришанин, был послан в село Никольское для встречи с председателем укома.

Трудно при утлом огоньке пересчитать своих.

Рыжов. Щуплый невзрачный фельдшеришка знает, кто ходил к Владимиру Ильичу.

«Владимир Ильич! Дорогой Владимир Ильич! Не оправдала коммуна твоих надежд! Мало тебе еще огорчений — появился Колчак! Много ли он успеет напортить?» Мысли снова перескочили к Рыжову. «Какая ошибка — довериться предателю! Какая непростительная глупость!»

Кришанин лежал на земляном полу, не меняя положения. Странный душевный столбняк нашел на него.

За сараем слышались шаги часового — удалялись, приближались. Ни одной щели. Будить товарищей не хотел: кто-знает, какой день провели они и сколько страданий ждет их завтра? За стеной послышался окрик часового, выстрел. Еще и еще. Палили по сараю. Пуля где-то совсем рядом, как мышь, ушла в землю.

Интересно, почему сунула мне Вера яд? Она мудрая. Значит, думает, что это конец. Сколько же ты выстрадала, моя молчаливая жена! И сколько тебе еще придется страдать!»

За стеной — шаги многих ног, брань, удары. Заскрежетал замок.

В открытую дверь Кришанин увидел посветлевшее утреннее небо. В проем двери втолкнули Матвея Пискунова и ребят — Аркадия и Михаила. Кришанин помертвел от страха: «Значит, пики обнаружены! Но для чего арестовали детей? Где Федор?»

Кто-то вздохнул:

— Смелость нас погубила.

— Пап, а долго нас продержат? — раздался голос Аркадия.

— Молчи, людей не тревожь, — отозвался старик. — О господи, прости и помилуй!

Холод леденил ноги и медленно полз по телу.

«Молись, молись, — думал Кришанин рассеянно, — а все правление коммуны схвачено...»

Снова застучал засов. Теперь в проеме дверей стояло солнце, било в глаза. Арестованные просыпались, садились, оглядываясь.

Часовой долго стоял молча, широко расставив ноги, Затем крикнул:

— Кто коммунары — выходи!

13

Позднее было выяснено, что произошло в тот вечер, когда Пискуновых арестовали.

...Затихло село Таловка. Что делается в домах за глухими оградами, никто не знал.

Окся Вислова качала зыбку на длинном шесте. В избе темно, как в молельне. Девушка тянула скучно и длинно:

— О-о-о! А-а-а!

Скулил во дворе щенок. Ребенок садился, пускал пузыри, тянулся к веревке... В окно виден двор, хомуты, висевшие на бревенчатой стене.

Окся не заметила, как ребенок покачнулся, выпал из люльки и дико заорал.

Почернев от ненависти, с выкаченными глазами вбежала Палага:

— Проклятая... Тебя и женихи обегают! Вековушкой прокукуешь... Не наследница ты, а жернов на шее!

— Легко меня бить: я не оборонюсь. Ты моим приданым всю жизнь себе карман чинить хочешь! — бросила, задыхаясь, Окся.

Мачеха отшатнулась, удивленная тем, что девка заговорила, но тут же сильно ударила ее по лицу.

Окся не плакала, не стонала, выносила щипки и насмешки, но все повторяла:

— Ну, доведешь ты меня! Подожди!

Когда натешилась Палага, девушка расчесала спутанные волосы.

К голове больно было прикоснуться, целые пучки волос падали Оксе на колени. Она с трудом заплела косы.

Отец словно забыл о дочери. С тех пор как погнило зерно, снятое осенью с полей коммуны, отец не находил себе места. Озабоченный и злой, придирался ко всем, кричал.

Окся не могла понять, как могло погибнуть зерно. Отец свез его в свои амбары, совершенно новые и сухие.

Непонятно, отчего железная крыша амбара начала пропускать дождь, отчего швы, соединяющие листы железа, распались и подмоченное зерно попрело. Только зи-

мой Вислов заметил это и теперь кидался на всех, подозрительно вглядывался в лица батраков.

Вислов дома бывал мало, а если приходил, то ел, не глядя ни на кого, и уходил снова. Окся понимала, что отец чего-то боится.

В этот вечер мачеха больше ее не трогала.

Окся влезла на полати, где теперь приходилось ей спать: в светелку Окси мачеха поставила свои сундуки.

Когда отец пришел к ужину, Палага сама накрыла на стол.

— Окся где?

— Спит.

— Убирай со стола, потом поем... И уходи... Сейчас люди ко мне придут.

Мачеха покорно исчезла в горнице.

Отец плотно занавесил окна, засветил пятилинейную лампу, пощупал огнем темноту в углах, достал из-за икон портрет царя, долго смотрел на него, неожиданно плюнул в сторону, повесил портрет в простенок.

— Окся!

Девушка не отозвалась.

Прислушиваясь к ее дыханию, отец вышел в сени. Во дворе все еще жалобно скулил щенок.

Часто теперь приходили в дом незнакомые люди. По голосам трудно было угадать, кто они. Окся и не старалась: нечего ломать голову над этим, когда нужно думать, как жить дальше.

«Уйду к Феде Пискунову, коммуна теперь из пепла не вырастет»,— все думала Окся.

Рисовались ей зеленый берег в цветах, свой веселый дом с резными наличниками, ласковые руки парня.

«Не пройдет мимо, не засвистит. Светлы окошечки мои посерели».

Вспомнилось, как прежде встречались они в бору и уходили берегом дальше от людей. Садились. Федор притягивал Оксю ближе:

— Как бы туман тебя не унес,— и развертывал букварь.

Окся читала, писала на серой бумаге старенькие дряблые буквы, сморщенные, дрожащие, кривые.

Длинны девичьи думы. В жар и в холод бросают они ее сердце. Но лежать нужно тихо: не соскочишь, когда в избе чужие сидят и шепчутся, как конокрады. Не выбе-

жишь на огород, не посмотришь на малуху, где живет Федор, не послушаешь звонкий его шаг.

«Если тятенька выделит коровку, лошадку, так и проживем...»

Окся узнала голос сотника Щербакова из Бухтарминской станицы, того, который, говорят, жену забил смертным боем и выкрал в коммуне беленькую девку. Сейчас он спросил:

— Она спит? — и полез на полати, как всегда оскалив ржавые зубы. Его липкие руки ощупали плечи и грудь девушки.

Сотник тяжко и шумно задышал, спустился с приступка и хрипло сообщил:

— Спит, хоть обдирай! — Прокашлялся и уже отвердевшим голосом начал: — Завтра с утра ты всех оповести, а вечером, как стемнеет, я со своей сотней нагряну. Армия адмирала сюда откатывается. Уфу уже оставили... Мы этим коммунарам все кишки вытрясем... Иначе нам надо шкуру менять! Понял, Прохор?

— Понял,— глухо ответил тот.

— В живых мужиков не оставлять... Резать и жечь. Резать и жечь! Чтобы и думать о коммуне забыли.

Все рассуждения Окси смело как вихрем. Осталось одно горе — Федор. Она кусала подушку, чтобы не закричать, стискивала кулаки.

— Оружие всем роздали?

— Всем...

Отец проводил посторонних к воротам. Залаяла собака. Заскрипели половицы в сенях под тяжелыми шагами отца. Сойти бы с полатей, броситься к нему и спросить: «Кого бить хочешь? Федю? Да ведь это ты меня бить хочешь!» Но далек стал отец, не поймет.

Долго стоял он посреди кухни. На стене качалась его большая тень. Снова тихо окликнул:

— Окся...

У него беспокойный, недоверчивый взгляд. Лысый, бородатый, широкоплечий, он был страшен. Окся притаилась.

Щенок скулил все тоньше и жалобнее.

Прохор задул лампу. Дверь глухо захлопнулась, пропустив его в горницу. Тонкие лунные иглы пробивались сквозь щели в ставнях. Пробегали легкие, ненадежные

тени. На полатях душно. Прокуренный воздух забивал легкие.

Окся спустилась, добралась до крыльца, предостерегая себя:

— Тише... Тятенька-то почуткóй...

Она не знала, открыты у нее глаза или нет, все было черно.

Села на ступеньку, всхлипнула:

— Федя... Федюшка... Солнышко незакатное... Чо же делать-то будем?

Чудилось ей, что Федор стоит рядом, ждет ее, и это наполняло сердце сладкой болью.

Мысленно она шла к кузнице, кралась под деревьями, трепеща от страха. Чьи-то крики летели над ней. И всюду слышался голос Федора.

Она и в самом деле пошла утром крадучись к кузнице, прячась за кустами.

Поле коммуны нынче не засевалось. Сурепка ползла по нему холодной желтизной.

Подкравшись к кузнице, Окся вызвала Федора.

Он вышел к ней в изношенном сожженном переднике.

Она была простоволоса, ресницы отяжелéли от слез. Силясь улыбнуться, сказала:

— Федя... Я не могу больше... Бежать... не решусь никак... Приходи сегодня попозднее к нам в баню, поговорим.— Она встретила его ответный спокойный взгляд.— Надо. Запало ночью словечушко...— В полумраке утра блестели ее влажные зубы.

Из кузницы выглянул заросший и багровый от огня отец:

— Куда убежал? Нам надо торопиться...

В кузнице — груды ржавого лома, жатки, диски сеялок, земляной пол пропитан маслом.

По берегам раздавались громкие удары кувалды. Сельчане просили подковать лошадей, подварить зубья к бороне, поправить плуг. Под навесом стоял мешок: за работу брали мукой, табаком, сахаром, маслом.

Дети то и дело шмыгали от малухи к кузнице, унося заработанное к матери.

Чаще всех приходил Алексей Соколов. Он ничего не заказывал, садился и следил за работой кузнецов. Говорил мало и только о том, какую обиду нанес ему сын Тарас, уйдя в коммуну.

— А теперь вот совсем потерялся. В какую краску окрасился, в красную ли, в белую ли? Если в белую — мне стыдно: вон беляки как бесчинствуют... Девку у вас украли...

— А ты ведь сам ее арестовал,— хмуро напомнил Пискунов.

Соколов заметался под его взглядом, залепетал:

— Так ведь я лесообъездчик как-никак... Поучить надо было: сколь черемухи загубили...

Пискуновы молчали, недоверчиво слушая старика. Только раз Федор не выдержал:

— Твой сын не один потерялся: коня нашего прихватил. Если в красную краску выкрасился, коня не жалко. А что, если в белую?

Старого Соколова слова парня оживили:

— У вас ведь добро общее, не все ли равно! Мало я Тараса драл — все учил его: «Не ввязывайся! Поборются и без нас». Плохо драл. Вот он и не знает места. Без нас бы разобрали, кому власть, кому подвластье. Вы вон хлебушко подняли да хотели его в Питер отправить — дело ли? Сами еще не у шубы рукав, а в Питер! Вот вас хлебушком-то бог и наказал.

Когда Соколов ушел, отец заметил рассеянность сына.

— Тебя что, опоили? Как бьешь?

Федор вздрогнул и снова заколотил по железу. «Проклятая война. Разорили коммуну, выгнали с привычного места! Клаверис говорил: «Коммуна не умрет, восстановим хозяйство!..» Тогда Окся уйдет к нам в коммуну».

Мысль, что он сегодня увидит ее, обжигала. Федор сбивался, ударял не в такт, зля отца.

Уже темнело, когда в кузницу прибежали парнишки с обедом, завязанным, как всегда, в красный платок.

— Мама ругается, говорит, замрете... Ждали вас обедать...

Старик пополоскал в бочке с водой руки и, перекрестясь, сел обедать. Федор тоже тщательно вымыл руки, но от еды отказался.

— Я, пап, пойду сейчас...

— Куда это?

— Надо...

Отец молчал, прожевывая хлеб.

— Я помогу вместо него, пап,— вмешался Аркадий.— Я умею. И я знаю, чего вы куете... Я знаю...

Мальчишки выросли и считали, что дела взрослых касаются и их.

— Я знаю... помогу...— твердил Аркадий.

— Я тоже знаю,— плаксиво заговорил Мишутка.— Я тоже помогу...

— Цыц! Ты иди на берег, карауль дядю Кузьму. Он в лодке подъедет...

Федор понял, что отец уступил, и быстро вышел из кузницы.

Окся ждала. В маленькое оконце бани слабым лучом проникал вечерний меркнущий свет.

Она встретила Федора открытым взглядом, обхватила шею, крепко прижалась к нему и заплакала.

— Ну что ты, что ты, глупенькая... Ну, не надо,— бормотал он несвязно, целуя девушку.

Окся все теснее прижималась к парню, охваченная незнакомым чувством свободы.

Федор понимал, сколько опасного соблазна в ее невинной податливости, отстранился.

— Я не хочу, Окся, обижать тебя... Уйду лучше...

— Нет! Нет! Она довела меня,— прорыдала Окся в испуге.— Делай со мной чо хошь... мне не стыдно... только не уходи...

Неожиданная смелость девушки непонятно чем оскорбила Федора.

— Окся, что с тобой! Приданое до свадьбы не отдают.

— Перед богом я жена твоя... У меня подушки есть, перина. Я все у них заберу... У меня все есть.

Запутанные, рваные слова испугали Федора еще больше: неужели вся его любовь сводится к подушкам, к перине? Он рассмеялся:

— Зачем мне все это? У меня есть мое дело — коммуна!

Она затихла, точно прислушиваясь к ударам молота в кузнице.

Ощущение нежности, незатейливой и простодушной, у Федора исчезло совсем. Он испугался: Окся так легко позволила то, чего он долго ожидал, предвкушая полное счастье.

Снова перестали биться молоты в кузнице, и снова Окся мятежно целовала Федора.

«Девочка-то, выходит, нестрогая»,— мелькнула в голове Федора обидная мысль.

Лицо ее казалось бесстыдно обнаженным. Веки трепетали, рот был напряжен.

Смутно понимала Окся, что Федор больше бы дорожил ею, если бы всего этого не произошло. Но она не хотела торговаться со счастьем.

— Почему ты молчишь, Федя, говори что-нибудь! Почему молчишь?

Он отстранился, становясь все более чужим.

С берега послышались крики, стрельба.

Федор начал торопливо одеваться.

Окся выбежала в предбанник, схватила его за руку, потянула обратно:

— Не отпущу... мой...

В маленькое окно забрезжил розовый неровный свет. Ворвались тревожные сигналы набата. Предчувствие беды сжало сердце Федора. Окся загородила дверь, словно хотела отрезать его от внешнего мира.

— Еще немного... Не уходи, Федюша, милый... подожди до утра... Сегодня ваших убивают... Не уходи... Я спасла тебя... спасла... Завтра ты убежишь, а сейчас отсидись здесь... а потом мы будем жить... вместе!

Федор слышал ее торжествующий голос. Сердце его пустело.

Она продолжала, цепляясь за него:

— Все погибнут... все... Я ночью слышала. А ты будешь жить... со мной... хозяином станешь...

«Ой, ой, вода дно унесла!» — вспомнил Федор когда-то слышанные слова.— Она — враг, чужая. Предала!» Он не знал, думал ли это, говорил ли вслух.

Гулкие набатные звуки, торопливые и страшные, не прекращались.

— Вот и пой теперь: «От худой славы-напраслины никуда млада я не ушла!» — со злым смехом бросил он. И когда Окся снова повисла на нем, грубо и сильно оттолкнул ее так, что она упала, стукнувшись головой о скамью.

Федор побежал мимо бревенчатого сруба, перепрыгивая через гряды. Стояла непривычная тишина: не слышно было даже собак. На камнях он рассмотрел лежавшего человека. Склонился, перевернул мертвеца на спину. Это

был Кузьма, уже охолодевший, с отверстыми глазами. Кузница догорала.

Невдалеке пасся серый конь. Федор вскочил на него и помчался берегом к тракту. И слова о том, что дно унесла вода, пронеслись в голове.

14

Василия Рыжова мучили сомнения. Он не пошел в эту ночь в Никольское, долго бродил по незнакомому селу. То и дело останавливался против халупы, где жили Кришанины. Ему хотелось узнать, как сейчас, в эту немую полночь, в эту минуту поглядели бы на него Катерина и Вера, плачут ли они и поняли ли, кто выдал коммунаров?

Ему казалось, что случилось это неожиданно для него самого. Еще в ту ночь, когда принимал роды у Палаги Висловой, хозяин, угощая его самогоном, спросил:

— Ну, а охотники среди вас есть?

— Найдутся,— ответил Рыжов тогда.

— Здесь зверей видимо-невидимо. Только ведь ружья нужны. С палкой на волка не пойдешь.

— Есть у нас винтовки, как же. Весь Питер собирал,— бесхитростно выпалил Рыжов. И много позднее понял, что выдал коммуну именно в эту минуту. Потом все шло уже без желания. Его спрашивали, и он отвечал. Он подтвердил, что винтовки у коммунаров есть. Несколько ящиков привезли они в лагерь, на берег Бухтармы. А куда спрятали, он не знал.

Спрашивали, кто члены правления. И он назвал фамилии, сказал, между кем поделили порох и патроны, сколько медикаментов вывезли коммунары из Питера и где сейчас аптека, перечислил тех, кто ходил к Ленину говорить о коммуне.

В окнах было темно, и это чем-то обрадовало Рыжова.

— Уснули. Вот это нервы!

Ему захотелось войти в дом, зажечь свет и посмотреть в глаза этой женщины, которую считают непогрешимой. И он вошел, не удивляясь тому, что изба открыта, и сказал в темноту:

— Спите или нет?

Он радовался тишине и хотел, чтобы спали.

С кровати послышался шорох.

Чиркая спичкой, Катерина в одной нижней юбке подошла к столу, зажгла лампу.

У стола, безучастная ко всему, сидела Вера, вперив невидящие глаза в пустоту.

— Еще кого-нибудь привел? — сурово спросила Катерина.

— Да ведь не я в тот раз привел, меня привели,— начал почти весело оправдываться Рыжов, не спуская взгляда с Веры Степановны, словно хотел проникнуть ей в сердце.

Вера не проронила ни слова, только глаза ее расширились, углы нежного рта дрогнули.

Он жадно смотрел на нее.

Ее лицо умело мгновенно менять выражение, из кроткого становилось жестким и твердым. Сейчас оно было одеревеневшим, тупым. И Рыжов испугался: отупевшие люди злы.

Он шагнул назад, к двери. С постели пристально следили за ним детские глаза.

Вера Степановна поднялась. Трагическое лицо, спутанные русые с проседью волосы, деревянное выражение злобной энергии испугали предателя.

Она шла к Рыжову, не сгибая коленей, опустив руки. Подошла, остановилась перед ним. У него безвольно покривился рот.

— Что уж вы так, Вера Степановна, ровно исхудали за час? — заискивая, спросил он.— Нагулять здоровье нелегко.

Неожиданно Вера плюнула ему в лицо.

Рыжов закрыл глаза ладонью и выбежал из избы.

Лежа в сухой траве на берегу, он будто заново все переживал.

«Да, меня спрашивали, и я отвечал. Но ведь мог и не отвечать... А что я спас бы этим? Все равно все они приговорены».

Рыжов вскочил, испугавшись собственной неискренности.

Сутулые волны ходили по реке. И вспомнил он, как Аркадий Пискунов в воду этой реки бросил охапку цветов и сказал: «У нас цветов много. Пусть плывут туда, где их нет».

И сейчас, как тогда, в майский день, этот поступок

парнишки возмутил и обидел Рыжова. Только он не мог понять, почему обидел.

— Вишь ведь: «Пусть плывут туда, где их нет». Расщедрился...— Ворча, Рыжов снова лег на засыхающую траву.

Смутные мысли тревожили его.

«Не кровью же матери я торговал»,— не сразу понимая, откуда взялась эта мысль, думал он. Но и она не успокаивала. Перевернувшись, фельдшер уткнул лицо в землю. Хотелось зарыться, утонуть, убежать от себя, от пугающих мыслей.

«Им легче,— думал он о коммунарах,— их убьют, и все. Они сохранили свои тайны.— И ужаснулся тому, что завидует несчастным, приговоренным к страданиям людям.— А как поступить, если на имени запеклось позорное пятно? Мне надо жить... жить... чтобы искупить...»

Показалось ему, что ветром разодрало его, разнесло в разные стороны и теперь он старается собрать себя по лоскуткам.

«Каждый живет так, как умеет. И потом... потом... Они все теплые местечки захватили! Председатель! Комиссар! Задавили! Меня даже в правление не выбрали... а я не хуже их... Про Саньку сказал, правду сказал, что бездельницу кормили,— выговор... Оружье от меня спрятали... Нет, чужие они. Нечего и мучиться. И верно, не кровью матери торговал...»

И снова вскочил, и снова лег в ужасе, уткнувшись в землю.

«А вдруг красные победят? Какая со мной будет расплата?»

Ноги его замерзли. Идти домой, в другое село, ночью он не решался: по дорогам шныряли то белые казаки, то партизаны. Лучше отсидеться на берегу.

На землю навалилась темная ночь. Теперь уже не видны были волны, только слышен был их плеск.

Подвернув ноги, Рыжов задремал со смутным чувством вины перед коммунарами и все-таки радуясь, что останется жить.

Рыжов все чаще думал в последние дни о том, что коммуна — неумная затея, что ею не просуществуешь.

Однако проснулся он рано утром с чувством непоправимой беды.

Река лежала тихая, смирная. Береза над ним чуть ше-

велила листьями, покрытыми легким желтоватым налетом. Мокрая от холода рябина сползла к берегу по откосу.

Рыжов снова закрыл глаза: не хотелось видеть ни реки, ни слабой розоватой полоски на глубоком небе.

Замерзшие ноги понемногу согревались. Он снова забылся. В полусне видел он поляну на берегу. Над увядшей травой за ночь выбросился пучок морщинистых листьев, собранных у корневища. Из середины этого пучка вышла безлистая стрелка, на верхушке которой, как золотая звезда, зонт желтых цветов, поникших в одну сторону, к реке. Цветок выходил из зеленого пятигранного колокольчика — околоцветника. Вздутая беловатая чашечка зева венчалась пятнистыми лепестками.

Рыжов хорошо знал этот благородный цветок, не раз собирал его по лугам, кустарникам и по краям дорог, врачевал его настоем простудных больных.

Это был золотой первоцвет.

Рыжов и во сне вспомнил слова мальчишки Пискунова: «Пусть плывут туда, где цветов нет». И во сне эти невинные слова чем-то рассердили его.

Он вырвал в гневе цветок, будто тот содержал все зло на земле.

Бледно-бурые корни с засохшими на них комочками земли качались у него в руках.

Отбросив цветок в сторону, он вдруг увидел, что вся поляна зацвела золотистым первоцветом. Рыжов топтал цветы ногами, пинал, а они выпрямлялись, качали золотыми колокольчиками и, казалось, нежно звенели.

Тогда он побежал, как от кошмара, не оглядываясь, кустами. Постаревший шиповник с рдеющими ягодами цеплялся ему за брюки, раздирал одежду. Повилика оплетала ноги.

Сон был так отчетлив, что, проснувшись, Рыжов сразу вскочил и огляделся, ища глазами золотые цветы.

Бледные солнечные лучи освещали холодную землю. Синица взлетела на ветку и стала сердито и испуганно кричать.

Минуя дороги, жилые дома, Рыжов бежал и молился:

— Господи, спаси мою душу!

Утром в предбаннике вынули из петли Оксю, на рогоже внесли в просторную избу.

Обезумевший Прохор, увидя ее неразгаданное опухшее лицо, истошно, по-бабьи взвыл.

В малухе также истошно выла Анна Полозкова.

Елизавета Пискунова не могла видеть убитого Кузьмы, внесенного в дом, ушла.

— Может, сгорели мои парнишки? А вдруг сгорели?

Слухам о том, что детей взяли вместе с мужем, она не верила: за что брать детей?

Берег оглашался ее криками:

— Арканька! Мишутка!

Почему-то о Федоре и о муже она не беспокоилась: все вытеснили думы о младших сыновьях.

Пройдет-то зима студеная,
Настанет-то весна красная.
Распадутся речки быстрые,
Распоются чисты пташеньки.
Разревутся малы детушки,
Что нет у них родимого батюшки.
Уж как час-то да час тепереча
Ты оставил нас, милый ладушка,
Молоды-то мы, молодехоньки,
Зелены-то, зеленохоньки,
Недорослые в поле травоньки,
Недозрелые в пору ягодки...

Причитания Анны то замирали, то раздавались воплем, надрывали душу. Елизавета не знала, куда скрыться.

Вслед ей неслись слова:

— Понаехали сюда... Загубили девку... Она ведь, говорят, на Федькином ремне...

Наперерез Елизавете двинулся Прохор. Она увидела его серое, искаженное злобой лицо и остановилась.

— Где твой Федька? — хрипло спросил он.

— Не знаю... Ничего не знаю... младшеньких ищу, — без страха ответила женщина и не отступила, когда старик поднял тяжелый кулак.

От малухи бежала к ним Анна. Опухшее лицо, искусанные губы, поседевшая в ночь голова испугали Елизавету.

— Где мои парни? Где? — спросила она с гневным накалом в голосе и, задохнувшись, схватилась темными пальцами за грудь.

Анна поймала Вислова за руку и быстро зашептала:
— Опомнись, хозяин! Чем баба виновата?
Тот выругался и побрел в избу. Анна обхватила плечи Елизаветы и сдавленно сказала:
— Уезжай, Лиза... Убьют тебя: злости много накопилось, всю на тебя изольют. Нельзя тебе здесь... Может, и ускользнешь.
— Куда?
— Уезжай в Гирево, к Кришаниным.
— А ребята?
— Появятся — спрячу. Мысей тебя отвезет, говорила я с ним.
— Дети мои... Арканечка, Мишенька... Что с ними?
— Не бай... Собирайся, милка. Не до тебя мне. У моего Кузьмы тоже лета больше не будет! — Вспомнив, как виновата она перед мужем, Анна заплакала: — Катанком я его лечила! Ножек он мне больше не укутает... Уезжай... Свое горе у меня... Мне вон Кузьма оставил красных деток на черное житье. Пойдем, помогу собраться.
Подвода стояла у малухи. Вытащили сундук, взгромоздили на телегу.
Сентябрь стоял звонкий, сухой.
Елизавета не замечала ничего, трясясь на телеге, и, оглядывая кусты, ждала: вот мелькнет среди зелени светлая голова Мишки или свистнет лихо Аркадий.
Ветер неистово подпрыгивал, подхватывал опавшие листья.
— Все думаю, Елизавета, — скучно говорил Мысей. — Трудно коммунией жить. — Он крутил над головой длинную петлю веревочных вожжей. — Для меня бы хорошо. А вы как же так, лишились своего добра, все отдали обществу. Перемывку просили у общества! Ну, бабы... они у каждого своя, люди врали, что бабы всехние. Это так. Но добро-то! Добро! Вот эти вожжи... Я раньше домом жил. У меня раньше упряжь была. И как я вожжи наживал? Вначале из мочала свил. Лошадь справил, а на упряжь не хватило. А что мочальные? Раз съездил — их и перетерло. А потом... Хозяйство потерял, а все о вожжах тосковал. Заведу, думаю. Этим себя и успокаивал. Постоянно имел на уме, что рано или поздно, а я увижу в руках вожжи настоящие. — Тусклые глаза Мысея тупо осматривали дорогу.

И не говорил бы он этого всего, если бы мог завыть от горя громко, на все ущелье. Но завыть ему нельзя было при этой женщине: ее горе и так велико.

Его растерянность злила Елизавету. Бороденка Мысея свалялась, длинные патлы на голове торчали во все стороны. Елизавета смотрела на руки старика с набухшими синими венами.

«Может, ребятишки опята собирать ушли, да и заблудились... Или на рыбалку, озорники... Не спросятся...» — думала она. История о вожжах шла мимо нее. До сознания доходили отдельные слова:

— Кожаные-то лучше... Да я их, к примеру, и отдай в общее служение. А сам опять начинай с мочальной веревки! Это когда ничего нет, так в коммунии выгодно, а если добро есть? Его, добро-то, наживать тяжело...

«Ой, попали бы вы мне сейчас, я бы вот вожжой-то вас этак перепоясала! Не пугали бы мать!» От страха за детей у Елизаветы звенело в ушах.

— А вы,— все продолжал Мысей,— вы добра не пожалели... Теперь вот детьми расплачиваетесь... Вот твоих увели...

— Увели? Ты знаешь? Ты видел?

— Сам не видел. Бабы видели... Вывели, говорят, их из кузни. Били твоего-то. Аркашенька за плеть схватился: не смей, значит, отца бить... У Аркашеньки-то большое сердце. А Мишка казака укусил. Тот аж взвился. Ну и забрали их. А в ту пору на лодке Кузьма подъехал за пиками, значит. Он ввязался. С пикой на казаков пошел. Его и стрелили. А тех увели...— И вдруг затрясся Мысей всем телом и простонал: — Аркашенька! Сынок... В лодке меня катать хотел... Чем я день теперь проживу? Забыл меня бог...

Елизавета не понимала: какие пики?

— Пики, значит, они в кузне-то ковали,— всхлипывая и размазывая по лицу слезы, рассказывал Мысей.— Руки мастеровые. На Колчака, значит, оружию ковали. А тот вот не кует, ему готовенькая оружия есть. Вот и смотри, кто кого одолеет...

Глаза Елизаветы словно покрылись пеплом.

Он добавил, чтобы утешить:

— Рухнет у Колчака держава, на крови долго не постоит... А я думал, сила моя по ручейкам истекла, так хоть под старость в большую реку вольется...

— Детушки мои! — завыла Елизавета, обращая к небу руки.— Ведь забьют их до смерти, Мысей! О, что делать мне? Да гони ты скорее. Может, в Гиреве я их вызволю.

Ее голос стучал, бился Мысею в виски, отдавался в груди. Привычное к страданию лицо женщины, черное от морщин, пугало.

Дома́ в Гиреве притаились.

Мысей знал адрес Кришаниных. Сразу, не расспрашивая никого о дороге, подогнал подводу к низкому распластанному двору на окраине, кнутовищем постучал в ставень. Из-за задернутой белой занавески выглянула Катерина, тотчас же исчезла, а через минуту показалась на крыльце. Невесело поздоровалась. Не глядя на Елизавету, кивнула Мысею:

— Берись.

Сундук втащили в калитку, поставили под навес. Мысей долго стоял перед Елизаветой, мял в руках кнут.

— Аркашенька-то...— Махнув рукой, он вскочил на телегу.

Катерина безмолвно обняла Елизавету за плечи, повела в избу. От участия, от надежды ли Елизавета совсем потеряла силы. В избе ноги подвернулись, и она повалилась на пол.

Катерина села рядом, гладила поседевшие волосы, шептала:

— Ну, что ты, Лиза? — но ей не удалось пробить ее тупое оцепенение.

Елизавета воспитывала детей в уверенности, что предохранит их от всех несчастий.

— У тебя нет детей... Ты не знаешь! — Она бросила на Катерину недобрый взгляд.— Где мои заступники? Я согнулась, когда их поднимала.

— Твой Федор в партизанском отряде. Я точно знаю. И этих, может, успеем выручить. Говорю тебе: восстание подготовлено... Отряд коммунаров «Горные орлы» наступление готовит. Руководитель — Никита Тимофеев. Может, выручим, успокойся... Вера Степановна в отряде... Она за своих в огонь пойдет...

Елизавета хватала ее руки, верила, успокаивалась.

— Где они сидят?

— Вчера здесь, в Гиреве, были. Человек сто... Наших — двадцать девять с твоими... Сегодня угнали наших

одних этапом... В Бухтарминскую станицу гнали... Нельзя нам распускаться...

Необъяснимая жестокость — арест детей — оглушила мать.

— Никто так до нас не страдал,— прошептала Катерина и умолкла: перед ней на полу сидела почерневшая женщина с ясным взглядом, в котором застыло горе. Свинцовые губы жестко сжаты.

На улице прошел дождь. Сквозь стекло сочился мокрый вечер. Звонили на церкви. Казачьи сотни дробили копытами дорогу. Эти звуки с улицы пугали, страшила и тишина в домах. Никому, казалось, не было дела до того, что случилось.

Елизавета посмотрела на иконы и прошептала:

— Выручат...

Катерина про себя тоскливо думала:

«Выручат ли? Успеют ли? Какими муками отплатят враги за наши муки?»

Горло Катерины судорожно сжималось. Устремив застывший взгляд на часы, она спрашивала себя: зачем живут на земле люди? Глаза ее тяжело смыкались. Сердце, казалось, стояло в горле. Лицо, опухшее от волнения, подергивалось.

Она закрыла рот рукой, чтобы не вырвалось жалобы. Она качалась взад-вперед. Сидела и качалась. И Елизавета тоже сидела и качалась.

16

Их не кормили. Руки им казались легкими, головы словно отрывало ветром. Спали они мало. Как только вталкивали на ночь в какой-нибудь сарай, они начинали двигаться. Никто не мог стоять на месте. В круглые дыры, просверленные в дощатых дверях, то и дело заглядывали безжалостные глаза.

Каждый держался особняком; если двое заговаривали, то тут же кто-то из них замыкался и отходил в сторону. На лицах у многих застыла угрюмая растерянность.

Детей не били. Аркадий и Мишутка, оглядываясь как затравленные, шли между Кришаниным и Пискуновым. Отец, сдвинув клочковатые брови, старался не глядеть на ребят.

Белая дорога уходила вдаль. На деревьях появились желтые пряди. Запыленные, они бросали на землю пеструю тень. Качались лопухи. В пазухи их широких листьев тоже набилась пыль.

В тишине гулко раздавались нестройные шаги. Казаки заглядывали арестованным в глаза.

У заключенных ничего нет, кроме глаз. У них есть глаза, чтобы выдать то, что делается в сердце.

Кришанин избегал вспоминать.

«Не думать! Не думать ни о чем, что может ослабить. Вот мы вышли из ущелья. Вот стоит клин неубранной пшеницы. Ее затянула паутина. Не думать... Небо сияет... Любимое и радостное небо! Ленин. Знает ли?.. Не думать. Не думать. Готовиться.... Ян вмешался в жизнь таловцев. Мог ли Ян остаться в стороне? Он правильно поступил. Надо было уничтожить... совсем уничтожить кулаков».

Вразброд звучат унылые шаги. Угрюмо сторонятся друг друга коммунары, как будто каждому стыдно за то, что происходит.

«Ты, Владимир Ильич, не страдай за нас. У тебя много забот. Восстание подготовлено... Еще шесть дней. Шесть дней. Дожить. Выдержать...»

Кланверис тоже старался не думать.

Нежно, тонко кричала какая-то птица. Вспоминалась музыка Сани, когда казалось, что с каждым звуком он становился лучше, тверже и чище, что-то приобретал.

«Саня! Девочка моя белая! И почему я с тобой тогда за черемухой не пошел?»

Он оглядывал лица товарищей.

«Не показывать боли! Вот с дороги свернула арба, груженная снопами. На возу крестьянин в шляпе с широкими полями смотрит на нас... Смотри, дорогой, передай!»

Узкое длинное ущелье. Солнце заглядывало сюда робко, лиловые тени расширялись. Конвоиры шли сзади, громко смеясь.

Вырвались из каменной щели, шагали узкой тропой. Одну сторону замыкала скала. С другой — пропасть. Оттуда веет холодом.

Аркадий тоненько всхлипнул. Кланверис поймал его взгляд и подумал:

«Не отвернусь. Пусть верит. Пусть надеется».

Но смотреть в полные слез, молящие детские глаза было трудно.

Конвойные — старые знакомые казаки из Таловки. Все вооружены. У каждого обрез и сабля.

Вперив вперед холодный взгляд, весело закричал сзади один из них:

— Стой! — перебежал и встал перед колонной.

Усталые люди остановились. Кришанин посмотрел в небо. Мишутка, обманывая свой страх, с любопытством оглядел камни, взглянул вниз в овраг, и сделал шажок назад. Обдало струей сырого холода.

«Дед Мысей обещал нас свести на охоту, показать звериные следы».

— Молитесь, коммунары! — кричал тот же веселый голос.

Старый Пискунов рухнул на колени, забормотал:

— Боже милосердный...— Слова сопровождались булькающим звуком.

— Пошто низко кланяшша? — огрел его плетью казак.

Пискунов вскочил: доброта господня не согласовалась с возможностью чудовищного злодеяния. Его охватила дрожь.

Кто-то из заключенных звонко запел:

Отречемся от старого мира!..

Снова пал Пискунов на колени.

— Берегись меня, господи! Ты оставил меня...— И вдруг ослабел старик от мысли: «Все разговоры о боге — ложь. Его нет».

Аркадий плакал, по-детски всхлипывая и трясясь; лицо его побледнело, губы распухли.

— Ты чего? — тронул Мишутка за руку брата.

Аркадий попытался улыбнуться и не смог. Ему трудно было объяснить, о чем он плачет. Не потому, что боится, нет. Просто вспомнилась старая сосна над рекой, изъеденная гусеницами, обвитая космами серого лишайника. И эта сосна, и тихая около нее река были так хороши, будили в его сердце что-то большое и важное...

Раздался новый приказ:

— Пли!

В толпе на краю обрыва некоторые стояли на коленях. Конвоиры стреляли мимо.

Кришанин резко повернулся назад и крикнул:

— Глумитесь? Хотите натешиться? Коммуну не убьете! То, что не удалось нам, сделают наши братья, жены!

В ответ нестройно закричали казаки:

— Это ты телушку мою зарезал?

— А шубу с сушила у Силуевых ты взял? Признавайся, гад, нам Истигней говорил! — Казак будто захлебнулся злостью. — Это тебе, чтобы знал: имеешь краюшку — не гонись за блином! Встать! Шагом арш...

И снова шли коммунары, взявшись за руки. Каждый чувствовал, что так он сильнее, словно черпал силу у товарища.

Когда вышли на широкую площадку, к Кришанину подбежал брыластый казак, широко размахнувшись, ударил его плетью по лицу.

Синий кадык, казалось, дрожал от злобы.

С залитым кровью лицом, пошатнувшись, Кришанин сказал:

— Бесчинствуй! Меня не унизить. Душу веревкой не связать! У меня два сына! Правнуки мои кудрявые счастье увидят! — И подумал: «Не вскрикну! Ни за что не вскрикну от боли, не ослаблю людей!» Эта мысль придала ему сил.

Его начали избивать плетью наотмашь, приговаривая:

— Это тебе за телку! Это за то, что от родины отказался!

— Нет, мы не отказались от родины, как это делаете вы! — спокойно возразил Кришанин.

Мишутка спрятал лицо на груди отца и, всхлипывая без слез, в страхе ломал пальцы.

Кто-то простонал:

— Смерть милосердная!

Кришанин был босиком, но не замечал камней на дороге. Холодный ветер раздувал рубаху. Оглядел нестройную колонну: «Для бессильного нет милости. Сомнением заразить легче, чем верой. Нужно укрепить подорванную волю». Он закричал:

— Считайте шаги! Веселее идти! — Голос его был как бы порван, то хрипел, то начинал звенеть.

В скорбных глазах товарищей засияла от его слов дерзкая надежда: «Может, Костя знает, что нас сейчас выручат?..»

Нагретые днем скалы в бурных кудрявых лишаях к вечеру остывали.

Пахло водой. Мишка оторвался от отца.

«Наверное, рыбы жиру-то нагуляли»,— подумал он невольно. И обрадовался тому, что он прежний и все, пережитое им в эти дни, бред.

Прошмыгнула цад его головой какая-то птица с плачущим криком.

Любимое небо сияло, радостное и светлое. Этот кусок жизни снова чем-то испугал Мишку. Он не хотел ни о чем думать, кроме того, что находится в странном нескончаемом сне.

Кришанин что-то шептал пересохшими губами.

«Молится, наверное!» Мишутку потрясло, что дядя Костя начал молиться.

Мальчик ошибался: Кришанин шептал дорогое имя, беседовал с женой:

«Ведь ты поддерживала Ивана? Да, поддерживала. Вам с ним тогда было ясно, что должны были делать коммунары. А мне это открывается только сейчас. Да, только сейчас, дорогая Вера. И если бы мне вырваться отсюда, они не увидели бы от меня пощады! А теперь мне придется умереть! Да, Вера, ты была права. Вот как все случилось. За ошибки свои плачу́, Вера. Да, за ошибки!»

Их остановили на берегу реки, около широких тесовых ворот старой казачьей крепости. Коммунары строго переглядывались.

Открыв замок, конвоиры втолкнули их за ограду.

Когда сели под забранное решеткой окно, Кланверис сказал:

— Эх, охота скоро начнется! — и подума́л: «Нужно одолеть время, одолеть время!»

Кришанин поддержал шутку:

— Утром собираешься?

Ян внимательно посмотрел на него, неожиданно обнял. Глядя ему в глаза, проговорил:

— Ты знаешь, Костя, я ведь перед тобой виноват: я всю жизнь любил твою жену.

Взглянув на друга, Кришанин растерялся. Пожалуй, лучше будет не сообщать ему, что они с Верой давно знали о его чувстве, но надеялись, что все пройдет.

Пусть он тешится мыслью, что очень скрытен.

— Любил Веру? Да как же я ничего не заметил? — воскликнул Кришанин.

— Да, любил,— повторил Кланверис.— И она об этом, кажется, догадывается.

— Нет, дорогой... И Вера ничего не замечала. Она бы поделилась со мной... На что же ты надеялся?

— Ни на что. Только чтобы быть около нее.

— И в коммуну ты поехал из-за нее?

— О нет. В коммуну я поехал бы и без нее...

— А Саню любил?

— И Саню любил, только по-другому. Ее нежить хотелось. Вера же — добрый друг. Саня — отличная маленькая девочка. Теперь я тебе сказал все. Теперь мне не страшно и умереть.

Кришанин долго молчал, лежа на утрамбованной земле двора, заложив под голову руки.

— Я тоже виноват перед тобой...— сдавленно начал он.— И перед тобой, и перед всеми.

— В чем, Костя?

— Не мог отличить сразу черного от белого...— Неожиданно Кришанин приподнялся: — Жил в одиночку. Сыновьями занимался... Только Вера с жизнью и связывала. Вера моя с большевиками. Но, надо сказать, она митингов со мной не устраивала, говорила, как со всеми, как со своим... Это меня и спасло... да, видно, не совсем... В коммуне мою оторванность от жизни и ты чувствовал... Вот за это и прости. Может, мы умрем, Иван... Так ты знай: большевик я! Большевик! Так ты и знай, комиссар. Прав ты был во всем: надо было сразу в борьбу с кулаками... Скорее бы и беднота с нами была! — Кришанин весь сник, высказав наконец все, что мучило его эти дни. Сердито ныли мухи. Коммунары молчали, подавленные. Только Кланверис весело и растроганно поглядывал на всех. Кришанин думал: «Надо сделать так, чтобы не кружилась голова... чтобы не ускользнула основная мысль...» Казалось ему, что над землей индевеет сумрак, зябнут мысли, зябнет сердце.

Неожиданная мысль заставила Кришанина вздрогнуть: «Так я и не успел Вере шубку новую сделать...»

Застонал Пискунов. Ян склонился к нему, зашептал:
— Что с тобой?

— Вспомнил, что не отдал ключи от кузницы Федору...

Шли часы. Шли часы.

17

А на другой день опять ущелья, овраги, подъемы да спуски. Сырость пропитала тело. Запыленная береза тянула вверх ветви, как руки. Тонкие тени от нее переметнулись через безрадостную дорогу. В стороне кучкой стояли неподвижные ели, опустив шатром лапы. Коммунаров сопровождал утроенный конвой. Пахло похолодевшей за ночь травой, пылью.

Аркадий думал:

«Посидеть бы на берегу у трескучего костра с дедом Мысеем». Он задохнулся, вспомнив берег со следами голых ребячьих пяток. Ни убежать, ни крикнуть...

На шее отца выступали сухожилия, как веревки. Он показал Аркадию большой ключ и, как вчера, простонал, запинаясь от волнения:

— Забыл Феде отдать...— И смолк, увидев по-новому лицо сына: в эти несколько дней Аркадий приобрел какие-то необычайные черты. Все было завершено. Перед отцом стоял взрослый человек со всепонимающими глазами.

Красный диск солнца медленно поднимался над ущельем. Края облаков повисли клочьями.

Неожиданно колонна остановилась: с тропы наперерез арестованным двигался серый ком, словно камень медленно скатывался с угора или ползла большая бескрылая муха.

— Стой! — закричал долговязый конвойный.

Ком подполз ближе. Это была женщина с окровавленными руками, в разорванной одежде. Видимо, долго пробивалась она ущельями и тайгой, чтобы встретить здесь арестованных. Не распрямляясь, она хватала конвоиров за ноги, целовала запыленные сапоги и твердила:

— Милые, хорошие, сыночки здесь у меня... Их-то за что? Их-то за что?

— Встать! — приказал конвоир в отороченной мехом шапке. У него дергались губы.

Женщина подняла голову. Помутневшие бесцветные глаза, бесцветное, стертое лицо.

Мишка закричал:

— Мама!

Елизавета поползла от конвоира на крик мальчика, но

сыновья успели пробраться к ней, силились ее приподнять. Глаза их загорелись надеждой.

Как слепая, ощупывала она ребят цепкими руками, что-то бормоча. Конвоиры опомнились, подбежали к ней, засвистела плеть.

На Елизавету не действовали удары. Она снова приникла к ногам казака, поднимая время от времени лицо, ловя взгляды, твердила:

— Сынов-то за что? Маленькие ведь... Спасите... Дайте их мне... Сынов-то за что? Отпустите...— И снова метнулась к ногам, теперь уже к босым, мальчишеским.

— Ну, выбирай, сука, одного! Отдадим!

Слова конвойного словно воскресили женщину. Она вскочила, окинула ребят взглядом. Снова, снова, будто и в самом деле выбирала, кого спасти.

И сыновья глядели на нее. У старшего черные глаза. Синие у младшего. В глазах у обоих надежда, мольба, отчаяние. И в глазах матери отчаяние.

— Ну торопись! А то и тебя поведем! — закричал брыластый.

Уже, не глядя на сыновей, Елизавета мяла плечи младшему.

— Маленького-то за что? Маленького-то...

И она ли, кто ли со стороны помог, Мишутку вытолкнули... Он и мать оказались на обочине тропы.

Колонна арестованных прошла мимо.

Отец, уходя, бросил:

— Живи, Мишка, у тебя в запасе молодость!

Аркадий шел не видя дороги. Ему стало все безразлично: и скалы, и орлы в вышине, и камни, попадающие под ноги. Отец поддерживал его и с надеждой шептал:

— Ничего, сынок, может, вызволят? Не перечеркнут же твои пятнадцать лет... Все мечты твои... А не вызволят, люди перед нами в долгу останутся...— Но на лице его была растерянность.

Сосна у ущелья упирается в песок. Дрожат над крапивой лазоревые мотыльки. Сухо трещат кузнечики. Жизнь полна зелени и звона.

В темном, узком мшистом ущелье Аркадий упал. Отец склонился над ним. Мальчик все видел, все слышал, а подняться не было сил. Один из конвойных ударил его несколько раз. Он вздрогнул, но не поднялся. Арестованные зароптали:

— Что над парнишкой издеваешься?

Аркадия на время забыли. Поднявшийся шум, отражаясь от плотных стен ущелья, метался, удваивая вопли. То, что здесь происходило, казалось чудовищным наваждением. Аркадий открыл глаза, сел.

Конвойные с двух сторон (две другие замыкали пропасть и узловатые камни) рубили, кололи коммунаров. Лица их были искажены ненавистью.

Кланверис кричал:

— Мужайтесь, товарищи! — Он был бледен.

Конвойные дышали учащенно, сбрасывали людей в пропасть, стреляли. Фигуры казаков множились, повторяли друг друга. Аркадий тихо отполз к стене ущелья. Его тошнило. Привалился к мокрому камню.

Головокружение прошло сразу, как только он увидел Кришанина. Залитый кровью, тот стоял, широко расставив ноги, и кричал:

— На земле места и для ваших могил хватит! Нас всех не убить! — Положив руку на поникшее плечо Пискунова, Кришанин прошептал: — Ты сильный, Матвей, смотри прямо!

Аркадию вдруг стало жалко тех, кто избивал: «Ведь они останутся жить... Как же они будут жить?!»

Он увидел отца: тот ползал в ногах конвойного и говорил что-то о ключах от кузницы. Это единственное, что привязывало его к жизни.

Конвойный перешагнул через него, размахивая саблей.

Увидел Аркадий, как к отцу снова приблизился Кришанин, склонился, приподнял голову, что-то сунул ему в рот.

— Сейчас тебе будет легко! — сказал он громко.

Отец вскочил и тут же повалился на Кришанина, соскользнул на землю и затих.

«Сейчас тебе будет легко!»

И почему дядя Костя сказал так? И что он сунул папе в рот?

Аркадий уже ничего не видел. Кровь, кровь залила и людей, и небо, и скалы. И вдруг его словно осенило: «Яд сунул Кришанин отцу. Подарил легкую смерть. А сам? И почему он подарил смерть отцу, а не мне? Я еще маленький... Мне бы без боли...»

И еще одна страшная догадка заставила Аркадия насторожиться:

«Это он, чтобы отец не унизил звание коммунара, чтобы умер без позора... Он не дал эту смерть даже мне, хотя я и моложе всех. Значит, верил, что не посрамлю... Отцу не верил, а мне верил... И я не посрамлю!»

Аркадий почувствовал легкость, потерял вес. Послышалось журчание ручья. Он даже видел, как ручей набухал, прибывая, захлестнул ущелье. Вскочил, рассмотрел над скалой яркое синее небо. Большой черный ворон, почти не двигал крыльями, проплыл вверху. Аркадий вскинул голову и пошел на человека, взмахнувшего саблей.

Елизавета и Мишка услышали крик в ущелье. Мальчик крадучись приблизился, постоял и опрометью вернулся к матери, дрожа, уронил голову ей на колени. Стояла окаменелая тишина.

Елизавета прислушивалась. Мишутка посмотрел на нее, когда прозвучал тихий ее смех.

Мать перестала смеяться, вперила в его лицо застывший взгляд. В тусклых глазах ее пробивалось какое-то старое воспоминание.

— А куда ты девал черные глаза? Ты куда их спрятал? А-а, вон они! — Она ткнула рукой в дорогу: — Лови!.. Мне без них нельзя...— Там, на кромке дороги, кровавыми каплями дрожал шиповник.— Нет, вон они! Убегают...

Елизавета вскочила и начала прыгать по дороге, хлопая руками, как бы ловя невидимую муху.

Мишка озяб, заткнул уши, прижал к груди колени.

Мать снова села, устало сообщила:

— Ушли. Ты мне эти глаза найди...— Вдруг новая мысль потрясла Елизавету: — Ты во всем виноват. Ты. Я тебя ненавижу. Я тебя задушу. Ты виноват.

Мишутка уставился на мать потерянным взглядом, отодвинулся дальше, но она цепко схватила его.

Мальчик испуганно дернулся, но мать так крепко держала его за плечо, что оторвала рукав.

Он был один перед ненадежным, необъяснимым миром.

С воплем страха вырвался наконец от матери и, не оглядываясь, побежал в сторону Гирева.

18

Серое марево стояло над селом. Ветер рвал его, нес запах засыхающей травы, задирал листву берез в палисадниках. В выбитой до звона дороге были впечатаны пули,

порох блестел вокруг, как бисер. В стороне, на траве, валялась мертвая лошадь. Красная сосна на берегу отражала закат, казалось, таяла, как восковая. Река ластилась волной к вербам, которые забрели в воду.

Сережа и Мишутка печально сидели на крыльце. Мишу Пискунова недавно к Катерине привела Саня. Он был оборван и голоден и все молчал, боязливо жался в углы, глядя на всех большими испуганными глазами.

Саня шепотом рассказала о том, что Елизавету стоптали на дороге конники, арестованных же коммунаров казнили. Катерина пошатнулась. Саня усадила ее и простонала:

— Заплакать бы! И куда мои слезы девались? Заплакать бы! — Нервные руки ее трепетали.

Катерина сказала:

— Молчи.

Весь вечер они сидели тогда без слов, без мыслей. Дети уснули. Вползла в окно темнота. А женщины все сидели и молчали.

На коньке крыши шелестел засохший сноп желтой рябины.

Из проулка выскочил верховой на взмыленной серой лошади и промчался мимо. Калитка была сорвана, каждый мог войти. Во дворе хозяйничали колчаковцы. У поленницы стоял на коленях парень в измятой кепке, рыл пальцами землю. Набрав ее полную горсть, поднялся, подержал землю на ладони и посмотрел в небо.

— У вас и земля по-другому пахнет,— сказал он хрипло. Глаза его неожиданно стали мягкими.

Парень в бескозырке и в широких штанах растроганно говорил маленькому бородатому старику в черной косматой папахе:

— А какая у нас радуга бывает! Яркая, всех цветов. Сколь воюю, а пуля меня пока не задела: видно, еще поживу... радугу родную увижу.

Старик в папахе рассмеялся:

— Ты бы штаны на другие сменил, а то они шириной пулю притянут.

— Это у меня клеш, «соединенными штатами» называется,— ответил колчаковец и направился в избу.

У печи спали под шинелью два колчаковца. Лицо одного было закрыто полой, другой разметал по подушке рыжий пушистый чуб. За печью снопом стояли винтовки.

Настя металась по двору, обращалась к мальчишкам, прося о помощи:

— Сак, сак потащили, окаянные. Все снасти рыболовные у Серафима испарят.

Мимо окна прошел старик в черной косматой папахе, неся на плече сак, похожий на перо птицы.

Парень в «соединенных штатах» вызвал Катерину из избы.

— Пеки, хозяйка, блины!

Та, думая о своем, переспросила:

— Что?

— Пеки, говорю, блины.

Катерина побледнела, безмолвно пошевелила синими губами. Наконец хмуро проговорила:

— Дай мне масла да мучицы, а сковородку найду...

Колчаковец знал, что в этой не один раз обшаренной ими хибаре ничего нет. Он исчез, а через некоторое время, красный и негодующий, вернулся с маслом и мукой.

— Проклятые,— сказал он.— Все от нас спрятали! Затопляй печь!

Катерина кивнула парнишкам:

— Несите дрова.

Не доверяя Катерине, колчаковец ни на минуту от нее не отходил.

— У нас уже тропочка-то вот какая осталась,— говорил он и показал ладонь. Толстая негнувшаяся шея его покраснела.

— Как вы к нам-то попали, от тракта почему отошли?

— А что — тракт! На тракту обозы в пять рядов идут, не продерешься. Все — железная дорога и тракт — нашими забито. Нету у нас больше армии... Нет над нами хозяев. Все драпают... Вот мы стороной всю кашу и обойдем! Бежим, гимнастерки от пота дымятся...

— Гребешки подмерзли, так и головки вянут...— проворчала Катерина.

— Ты это к чему?

В избу вошел солдат в измятой кепке, сел на лавку и замер, свесив голову на грудь. Блины вкусно пахли. Мишутка подошел поближе к столу.

Парень, потрясая клешем, подскочил, схватил блин и сунул его мальчику.

Катерина испуганно посмотрела на него, неожиданно села к столу и заплакала.

— О чем ты ревешь? — раздраженно спросил колчаковец.— О своих?

Всхлипнув, Катерина медленно проговорила:

— Да и о вас реву, мне уж заодно.

— Ну обо мне ладно, пореви. Меня ведь силой к Колчаку погнали. Всех погнали. Кто не шел — нагайка агитировала.

Катерина перестала плакать, достала с углей готовый блин, шлепнула его на стол и залила раскаленную сковородку тестом.

Масло затрещало, зашипело и умолкло.

С полу, откинув шинель, поднялся рыжий веснушчатый колчаковец, подошел к столу, сграбастал несколько блинов и скрылся в сенях.

Солдат вскочил, сбросил с головы измятую кепку и быстро заговорил:

— Красные нас с апреля жмут. Мы ведь уж у Волги были.

— Сваренной рыбе вода не поможет,— непонятно для чего произнесла Катерина.

Мимо окон снова проскакал верховой на серой взмыленной лошади. В избу вбежал старик в папахе, начал разбирать винтовки. Колчаковцы кричали, по очереди выхватывая винтовки у старика, выбегали из избы.

Парень в клеше взял несколько блинов и сказал Катерине:

— Реви о нас. Реви и молись,— и тоже скрылся в сенях.

Трещали в печи на углях блины. Кричали во дворе и под окнами колчаковцы.

В избу вошел высокий стройный солдат и остановился у порога, оцепенело глядя на Катерину.

Та, посмотрев на него, тяжело опустилась на табурет. Это был Тарас Соколов, обросший, с испитым лицом.

«Это конец»,— подумала Катерина и хрипло окликнула:

— Парнишки, идите ко мне.

Мальчики подошли и встали рядом, вопросительно глядя на нее.

— Стойте здесь,— сказала она и обхватила их руками.

А Тарас все стоял в дверях, глядя на старуху. Лицо его вспыхнуло радостью. Он хотел крикнуть что-то, но губы шевелились беззвучно.

Медленно подошел к Катерине и мальчикам. Катерина поднялась.

— Ну, убивай, колчаковский солдат! — хрипло сказала она.

Тарас схватил ее за руки.

— Тетя Катя! Тетя Катя! — наконец выдавил он.— Теперь я все узнаю, обязательно узнаю... Где Саня?

Катерина чуть было не сказала: «Только что ушла от меня!», но вовремя остановилась.

— Ни за что! — крикнула она.— Девку и без этого сломали. Да я тебе ее выдам?!

Сережа и Мишутка только тут узнали Тараса, оба хотели броситься к нему, но Катерина крепко держала их за руки.

— Не сметь!

Тарас сел и долго тяжело дышал, точно задыхался.

— Почто боишься меня, мать? Да я к Колчаку-то ушел, чтобы Саню найти. Не буду я тебя выдавать. Только скажи, где она.

— Не знаю.

— Ищу ее везде. Узнал в селе, что Щербаков ее увез. Я к Щербакову в сотню ушел — там нет. Я к другим метнулся. Нигде нет.— Он опустил голову.

Катерина успокоилась.

— Коль ты с добром ее ищешь, могу сказать: Саня жива и теперь у своих. А где — не знаю...— Помолчав, спросила: — Убивал небось?..— И отодвинулась от него дальше.

Парень сказал сердито:

— Раз офицер велел пленного убить. Я и в бою-то шутя стрелял вверх, а тут — пленного. Кудряшки белые. А служба: порешил. Говорю ему: «Иди, Тронька, вперед». Тронька, Трофим, значит. Ну... и...

— Отгорел синь огонек! Бессмертная гибель им всем,— вздохнула женщина.

— Вот и отгорел. Ничего. Храбро отгорел. Одни березы стопали.

— Славой воскреснет.

— Во все эти месяцы могилы набухли... В ту же ночь я к красным убежал. Да ненадолго: скоро в плен попал к колчаковцам. Опять воевать за себя заставили. Никуда вот и не убежал.

— Часто сворачиваешь, так далеко уйти и не можешь.

Тарас зашептал:

— У них дела плохи... Молодые к правительству Колчака доверия не имеют. Сама посуди, с запада — красные, а вокруг — партизаны... Спрячь меня, тетя Катя... У наших хочу остаться...

— Это у чьих — наших-то? — сурово спросила та.— А если бы у Колчака дела лучше шли, ты запросился бы к нашим-то?.. Уходи. Земля велика.

Тарас низко поклонился Катерине и вышел.

Настя во дворе кричала:

— Сак-то, сак-то где бросили, охальники?

Катерина, выскочив в сени, цыкнула на нее:

— Голову спасай, а не сак!

— Так ведь разорили, окаянные! — Настя заплакала, вся трясясь.— Сани увезли... Сено скормили... С чего жить начинать? Серафим мой где-то шатается, а нам еще эту вон пигалицу, Проску-то, поднимать надо.— И повторила: — С чего жить начинать?

Прозвучало несколько выстрелов. На какой-то час улица опустела. Катерина продолжала печь блины, говоря мальчишкам:

— Наедайтесь досыта: когда еще теперь поедим.

На улице задребезжали телеги. Новые отряды колчаковцев нестройно проходили по селу. На одной из телег везли знамена. Золотые кисти, свесившись, мели дорогу. Промчался отряд верховых. Катерина отметила:

— Какой-то главный у них, видно, скачет. Вишь, на голове-то кокарда с мертвыми костями.

Помолчав, поглядела на детей внимательно и печально:

— Ну, ребята, как, переживем? Гонят их наши, а загнанный зверь лютее...

19

В избу вошли Настя и Проска, за ними тотчас вбежала Саня, по обыкновению вся в черном.

— Сегодня у тебя ночуем...

Забившись на печь, дети следили за женщинами. Те закрыли дверь на крючок, вставили ухват в скобу. В ведра и тазы набили взятой из печи золы.

— Ладом запирайтесь! — учила Настя.— Как полезут

в окна, так золой им в глаза и бросайте, чтобы ослепли... По пальцам рубите...

Каждая взяла в руки кто сечку, кто нож или топор.

Настя шепотом рассказывала:

— Слышала я, Катерина, как Агния Зайчиха донесла: «Тут, говорит, коммунары живут» — да на дом наш указала.

— Кто это Зайчиха? — спросила Саня.

— Агния Плотникова. Зайчихой ее все зовут, жена умершего писаря, баба неопрятная, злая. Она за всем шибко поглядывает, сплетничает и сквернословит, мужикам под стать. Ей ведь и в аду будет отказано.— Глаза Насти были печальны, как у провидца.

— Надо было нам в лесах у партизан схорониться... Избушка не спасет...— проговорила еще Саня.

Настя оживилась:

— Придут наши: у счастья-то дна не увидим! Раны запекутся... И ночи будут короче, и дни длиннее.

А войска шли и шли мимо. Ржали кони, скрипели седла, свистели нагайки. Кричали, ругались люди.

В окно с печи видели дети, что наступила ночь. Высыпали звезды, словно небо было прострелено.

— Чешут, грешники, не оследятся! — с ненавистью прошептала Катерина.

Женщины точно окаменели в ожидании. Ребятам было жутко и интересно. Мишутка сполз с печи, взял в углу у порога секач для себя и ухват для Сережи. В темноте все казалось пустым. Сердце билось, точно трепетал во всем теле пульс. На улице длинно пугающе завизжали, кто-то пробежал, бухая по сухой земле сапогами. Тени стали жаться к углам. В окна видна была река, затянутая розовой зорькой, но скоро зорька исчезла, словно утонула.

На улице стало тихо.

— Вот сейчас...— прошептала тетя Катя.

Громко прокричал где-то рядом петух, и стало как будто еще тише. Все вздрогнули, когда в отяжелевшем от тишины воздухе внезапно раскололся густой колокольный звон. Гудели все колокола, как на пасху.

Саня осторожно сняла с двери ухват и шепнула:

— Узнаю... закройтесь,— и исчезла.

Крючок и ухват снова водрузили на место.

В окна лился утренний свет. Колокола звонили победно, торжественно.

Наконец в дверь торопливо и громко застучали. Саня в сенях кричала:

— Откройте! Наши вошли... Наши! — Она вбежала в избу, светлая, прозрачная вся, с мягкой улыбкой: — Партизанская Красная Армия! Вот она! Вышла из-под шапки зеленой! — Саня оглядела всех теплыми бездонными глазами и снова кинулась к двери: — Пойду село оберегать от белых... Митинг проводить будем...

Мальчики скатились с печи. Женщины обнялись. Обе словно оглохли, у обеих глаза казались в полумраке утра слепыми. Они вынесли на улицу жбан с квасом, хлеб, горку блинов. С толпой учеников вернулась Саня. Каждый нес охапку пихтовых лап. Кто-то раздобыл мочало.

Дети сидели над душистой хвоей и вязали длинные гирлянды. На улице, против дома, водружалась арка, под которой пройдут партизаны. Саня, оставив детей за работой, снова исчезла.

Село начало быстро меняться. Исчезла вывеска с лавки. Над воротами домов кое-где трепыхались красные флажки.

По дороге двигались отряды партизан. Люди были пестро одеты. Тут и черные промасленные куртки, и шинели, и кафтаны из домоткани, зеленые гимнастерки, цветные рубахи, кепки, шапки, платки — все перемешалось. Проезжали конники, везя пушки, повозки с ранеными. Легкораненые с окровавленными повязками на руках, на головах шли вместе со всеми. Кто-то охрипшим голосом кричал:

— Митинг собрать в школе... Обращение Ленина прочитать надо!

Но митинг возник здесь же, когда на один из возов поднялся высокий человек в длиннополом пальто и громко заговорил:

— Товарищи партизаны! Велики ваши заслуги перед революцией. В тылу врага мужественно подняли вы знамя восстания против кровавого диктатора!

Воз, на котором стоял оратор, медленно уходил. Двигались повозки с ранеными. За ними среди партизан шли Кришанина и Таня, махали своим руками:

— Придем скоро! Раненых разместим и придем!

Кришанину трудно было узнать в седой ссохшейся женщине. Она бежала дальше, кому-то крича:

— Сюда раненых можно... Занимайте все большие дома...

Звучали слова о Ленине, о победах.

— Не допустили все-таки, чтобы Колчак с Деникиным соединился! Ленин первый увидел, сколь опасно будет это для нашей республики. Ну, ты, двигай!

Телеги, телеги с семьями партизан, гурты скота, обозы с огнеприпасами и продовольствием...

В руках Катерины — жбан с квасом, на завалине — поднос с блинами и белыми ватрушками. Партизаны на ходу брали ватрушки, блины, запивали квасом, благодарили:

— Спасибо, тетка!

Она спрашивала то одного, то другого:

— Не встречал ли, сынок, высокого такого, чернявого, Федю Пискунова. И кудрявый... беленький Геннадий Кришанин. Оба молодые...

— Не встречал, тетка...

— Придут...

— Скоро-то не жди. До дому дойдут, ноги у порога вытрут, да снова в поход...

— Мы ведь тоже здесь не задержимся... Гнать их надо, пока не опомнились! Гнать, чтобы не поганили землю!

Пьянящее чувство освобождения заполняло сердце. Люди выскакивали из домов, угощали партизан кто чем мог; некоторые плакали: не было больше несправедливости, войны, смерти, не было белых. Вся Россия — одна семья, одна республика. Жизнь полна смысла, и начата она вот с этой минуты. Люди плакали, целовались.

Сережа удивленно теребил Катерину за рукав:

— Я и не знал, что в Гиреве так много людей! Откуда они?

Кто-то из отряда машет рукой. Кто-то свой, очень свой, высокий и смуглый, с черным чубом, выступившим из-под солдатской фуражки. Неулыбчивый и строгий.

— Федя! — бросился за отрядом Мишутка, узнав брата, и вернулся к Катерине в слезах: Федор прошел мимо.

— А ты не плачь. Жив, вот что ясно. А он придет. Куда он денется, придет!

Над селом все лился торжественный звон. Гудела и звенела земля, гудело, раздвигалось небо, обрушивая на людей волны сияния и блеска.

Колокола, переливаясь, продолжали возвещать о правде и справедливости, о радости, о вечной, неиссякаемой силе народа.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

В основу романа «Первоцвет» положены исторические факты. Однако к героям нельзя подходить как к личностям историческим: имена и характеры их вымышлены.

Приношу глубокую благодарность всем, кто оказал мне внимание и помощь по сбору материала для книги.

С особой признательностью вспоминаю любезность и благожелательность М. Д. Розанова, который и в личной беседе, и своей книгой «Обуховцы» многое открыл для меня; бывшего секретаря Алтайской коммуны Г. А. Курбанова, Дмитрия и Германа Грибакиных — сыновей геройски погибшего председателя коммуны В. С. Грибакина.

От души благодарю также Р. И. Маркову за консультацию.

В работе над романом я пользовалась материалами ленинградского партийного архива, обращалась к статьям Н. К. Крупской «О собирании материалов к 20-летию Советской власти», А. Дымшица «Алтайская коммуна».

Ольга Ивановна Маркова

ПЕРВОЦВЕТ

М., «Советский писатель», 1977, 272 стр.
План выпуска 1977 г. № 101

Редактор *А. А. Ланда*
Худож. редактор *Е. И. Балашева*
Техн. редактор *Т. С. Казовская*
Корректор *Б. Ш. Котт*

ИБ № 762

Сдано в набор 1/IV 1977 г. Подписано к печати 27/VI 1977 г. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага тип. № 1. Печ. л. 8¹/₂. Усл. печ. л. 14,28. Уч.-изд. л. 14,76. Тираж 100 000 экз. Заказ № 274. Цена 91 коп. Издательство «Советский писатель», Москва Г-69, ул. Воровского, 11. Тульская типография «Союзполиграфпрома» при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, г. Тула, проспект им. В. И. Ленина, 109

91 коп.